

ОСКАР ШЕРВИН

8и (Англ)

Ш 49

ШЕРИДАН

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ»





ОСКАР ШЕРВИН

ШЕРИДАН

ВЪВЕДЕНИЕ
КЪ ШЕРИДАНА
И ЕГО ПЬЕСЫ

ПРЕДМОВАНИЕ
ИЗДАТЕЛЯ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИСКУССТВ»

8И (Англ)

III 49

OSCAR SHERWIN

UNCORKING OLD SHERRY
THE LIFE AND TIMES OF
RICHARD BRINSLEY SHERIDAN

TWAYNE PUBLISHERS, INC.
NEW YORK 1960

*Перевод с английского
В. Воронина*

III $\frac{80105-002}{025(01)-78}$ 227-77

© Перевод на русский язык, «Искусство», 1978 г.

Ты настоящий друг, и я прошу тебя лишь об одном:
Люби меня по-прежнему, люби со всеми недостатками.
И не слишком строго за них осуждай.

Шеридан, «Писарро»

КНИГА ПЕРВАЯ ЭПОХА

Шеридан жил в век ораторов и актеров. Палата общин была театром для всей страны. Кулуары парламента, где люди просиживали до пяти утра в надежде услышать монолог одного из главных героев, выполняли в этом театре роль артистического фойе, так называемой «зеленой комнаты». Не только репортеры, но и сами парламентарии записывали выдающиеся речи, а сиятельные леди с нетерпением ожидали исхода парламентского спектакля. Леди Чэтам, леди Темпл, герцогиня Ратлендская и еще две-три знатные дамы дневали и ночевали в комнате по соседству с залом заседаний, набрасываясь на каждого вошедшего члена палаты с расспросами: «Как вы думаете, сударь, что произойдет дальше? А кто выступает сейчас?»

Англия переживала тогда эпоху несдержанных чувств и экспансивных выходов, эпоху заглавных букв, курсива и восклицательных знаков. Слезы считались хорошим тоном вплоть до 1808 года, когда в моду вошли сюртуки и кончился восемнадцатый век. На протяжении сорока лет слезы рекой лились в обеих палатах и были в парламентской практике таким же обычным явлением, как латинские изречения. Берк проливал слезы умиления, когда Фокс пел ему хвалу в 1790 году, а год спустя рыдал Фокс, когда Берк бесповоротно порвал со своим другом и учеником. Впрочем, в моменты политических потрясений Фокс всегда плакал как дитя. Обильные слезы текли по толстым щекам этого пятидесятилетнего баловня судьбы, когда в 1799 году, покинув Сент-Энн, эту Аркадию, где он коротал дни в добровольном изгнании, Фокс, подстегиваемый тщетной надеждой свалить наконец Питта, спешил в Лондон. Фокс и Берк — натуры эмоциональные, но и Питт, невозмутимый Питт, тоже плакал, «надвинув па глаза шляпу», когда палата проголосовала за привлечение к суду его любимца Дандаса, лорда Мелвилла. Чопорный Эллиот (впоследствии лорд Митч) иной раз всхлипывал, растрогавшись

чьим-нибудь красноречием, а однажды (когда произнес скучнейшую речь против Уоррена Хейстингса в связи с делом Импея) — своим собственным, которое, по его уверению, «имело честь вызвать слезы на глазах некоторых слушателей». Дженкинсон (лорд Ливерпул), прозванный «фигурой за треном», тоже частенько проливал слезы, поднося к глазам платок. Даже сухарь Барре уронил слезу, слушая обличительную речь Берка о притеснениях индейцев во время американской войны ¹. В 1789 году надменный, насупленный лорд-канцлер Тэрлоу (Фокс однажды сказал о нем: «Любой мудрец покажется рядом с глубокомысленным Тэрлоу глушцом») со слезами в голосе лживо клялся с вулсэка ² в своей верности королю. А осенью предыдущего, 1788 года величественный лорд-канцлер разразился истерическими рыданиями при виде потерявшего рассудок монарха.

Пламенные речи великих ораторов неизменно вызывали потоки слез. Жена Шеридана и миссис Сиддонс обе лишились чувств, потрясенные обвинительной речью Берка против Уоррена Хейстингса. Слушая эту речь и речь Фокса, плакали, громко всхлипывая, все присутствующие. Шеридан тоже не стеснялся слез — он расплакался на виду у всей публики на представлении «Дуэньи», заведя в зале своего отца (с которым он тогда еще не примирился) и сестер. Наследник престола так разволновался во время тяжелого объяснения с Фоксом по поводу своих взаимоотношений с миссис Фицгерберт, что, потеряв всякое самообладание, катался по ковру. Стараясь покорить сердце упомянутой особы, наследный принц, словно языческий жрец, кололся кинжалом и угрожал покончить с собой. А когда впоследствии ему пришлось вступить в брак со злосчастной Каролиной Брауншвейгской, он в прямом смысле слова рвал на себе волосы в саду Карлтон-хауса. В довершение картины и сам его августейший родитель рыдал на плече у невозмутимого герцога Портлендского, жалуясь на тиранию коалиции.

В театре слезы не удивительны, но тут они лились водопадами. Гаррик должен был прервать свою прощальную речь при расставании с театром Друри-Лейн из-за подступивших к горлу рыданий. Когда миссис Сиддонс вернулась на подмостки Друри-Лейна, отец Шеридана, актеры и зрители растроганно плакали навзрыд. Все тот же Фокс, садившийся в оркестре, чтобы быть поближе к этой знаменитой трагической актрисе, однажды оросил слезами инструменты оркестрантов.

Ни в какую другую эпоху жесты не были столь театральными. Достаточно вспомнить сцену с кинжалом, разыгранную Берком в

¹ Имеется в виду война за независимость в Северной Америке 1775—1783 гг.

² Вулсэк — набитая шерстью подушка, на которой, по традиции, сидит лорд-канцлер, председательствующий в палате лордов. (Здесь и далее — примечания переводчика.)

палате общин в 1792 году, когда, чтобы показать всю свою ненависть к якобинцам, он швырнул на пол бирмингемский клинок. На одном званом обеде Берк многократно пожимал руку Эллиоту, выражая восторг и восхищение по поводу его речи; Берк не раз демонстративно заключал в объятия ораторов после удачного выступления, причем подобным образом он поздравлял не только Шеридана, но также и Эллиота, чем значительно подпортил удовольствие Шеридану. Когда Берка подвергли в палате критике за то, что он восстановил в прежних должностях продажных чиновников, это привело его в такую ярость, что Фоксу и Шеридану пришлось силой усаживать его на место. Берк, как никто другой, был необуздан в своем гневе (а может, он просто больше, чем другие, переигрывал, изображая гнев?). Так, в 1778 году он запустил в членов кабинета, восседавших на скамье министров, проектом государственного бюджета — увесистая книга опрокинула свечу и больно ударила Уэлбора Элліса по ногам. Два года спустя, когда Берк помогал Фоксу проводить предвыборную кампанию в Вестминстере, он вознегодовал на избирателей, высказавших оскорбительное предположение, что он католик, и в ответ на возгласы: «Пусть поклянется на Библии, что он не папист» — поцеловал Библию, а затем швырнул ее в толпу.

Пристрастие к драматическим эффектам находило свое выражение и в сценах иного рода. Небезызвестная герцогиня Киингстонская (выведенная Футом в комедии «Поездка в Кале» под именем Китти Крокодайл) день-деньской фланировала по главной аллее Бата, щеголяя пышным нарядом и разглагольствуя о своих болезнях, а вечером ее, кричащую и брыкающуюся, на руках относили в гостиницу. Знатные леди, туго затянутые в корсет, то и дело падали в обморок. А некая мисс Бейн умерла во время похорон Нельсона от истерики (правда, это уже более поздняя эпоха).

В 1773 году «макарони» — так называли тогда щеголей, следовавших европейской моде, — устраивали воскресными вечерами пышные карнавалы в парке Кенсингтон-гарденс; дамы наряжались молочницами, казаками, а некоторые из них, переодевшись в мужскую одежду, отправлялись послушать бурные дебаты в палате общин. Кавалеры не отставали от дам: секретарь наследного принца Джек Уиллет-Пейн явился однажды на бал-маскарад загримированным юной девицей — для лучшего правдоподобия «девицу» сопровождала миссис Фицгерберт.

Фривольность поведения не являлась в тот век исключительной привилегией молодых, безрассудных или праздных. Так, герцог Графтонский, пренебрегая приличиями, появился на эскотских скачках в обществе потаскушки, подобранной на улице; он не постеснялся открыто беседовать с ней в опере, когда в королевской ложе находился король с семьей. Впрочем, Георг III охотно позволял гер-

цогу Графтонскому приводить кого угодно под одну крышу с королевой — лишь бы он не пускал в кабинет министров таких людей, как Рокингам, Берк и Ричмонд.

Это была поистине хмельная эпоха. «Послушайте, сэр Джон, — обратился Георг III к одному из своих фаворитов, — говорят, вы любите опрокинуть стаканчик». «Те, кто говорил это вашему величеству, оболгали меня: я пью бутылками!» — отвечал тот.

Пьянствовали и стар и млад, притом, чем выше был сан, тем больше человек пил. Без меры пили почти все члены королевской семьи, за исключением самого короля. Считалось дурным тоном не напиться во время пиршества. Умные хлестали вино, чтобы блеснуть в беседе на серьезные темы; глупые бражничали, спасаясь от одиночества. Фокс пил как бочка, хотя иные считали его чуть ли не трезвенником; Шеридан — слишком много, а Грей — больше их всех. В магазинах на фешенебельной Бонд-стрит продавалась гравюра «Страдания любителя наслаждений», на которой был изображен в карикатурном виде наследный принц в расстегнутом жилете, задыхающийся от переизбытка и восседающий за столом, сплошь уставленным бутылками мараскина и других ликеров. За любовь к крепким напиткам приходилось дорого расплачиваться. Многие современники Шеридана мучились подагрой, распространившейся в тот век как никогда до и после; герои этого столетия были как на подбор толстяки, которых, по выражению Конгрива, «не своротит с места и потоп».

Шеридан называл пристрастие к вину «скверной, непростительной привычкой»; дважды в жизни ему почти удавалось избавиться от нее, но потом она быстро брала над ним верх, так что под конец он, подобно Гудибрасу ¹, мог совершать свои подвиги только под хмельком. Доктор Бейн — врач, пользовавший Шеридана в течение последних двадцати пяти лет его жизни, — рассказывал, что однажды утром его позвали к Шеридану и он нашел у больного сильный жар; когда он спросил у дворецкого, не выпил ли чего-нибудь такого его хозяин накануне вечером, тот ответил: «Нет, ничего особенного — лишь пару бутылок портвейна». А задолго до этого случая, когда Шеридану случилось растянуть связки ноги, Тикелл, подозревая подагру, рекомендовал ему «покой и бордо». Надо сказать, что привычка к вину, жертвой которой стал Шеридан, считалась своего рода символом мужественности во времена, когда крепко запибал молодой Веллингтон, когда «Протестант» герцог Норфолкский, упившись, валялся на улице, так что его принимали за мертвеца, и когда спикер Корнуолл сидел в палате общин за баррикадой из кружек с портером — председатель, достойный своих багроволицых подопечных. Эта привычка к вину сохранялась еще долго после того, как

¹ Гудибрас — герой одноименной сатирической поэмы Сэмюэла Батлера (1612—1680).

шло из обыкновения проливать слезы, которые, бывало, дождем капали на бумагу, смешиваясь с винными пятнами. И уже много лет спустя, когда одна благочестивая дама спросила Теодора Хука, знает ли он, о чем говорится в памфлете «Два слова, обращенные к пьющему», Хук, не задумываясь, ответил: «Два слова к пьющему? Дай отхлебнуть!»

Судьба рано свела Шеридана с Фоксом, который мог перепить флегматичного Дандаса, а затем углубиться в Гомера, или сыграть по крупной у Брукса, либо сразиться в кости у Крокфорда в компании других кутил, способных пить не пьянея. Но Шеридан, тонкая натура, не мог пить наравне с этими лужеными глотками и уступал пальму первенства таким выпивохам и пьяницам, как Дандас или Питт, у которых в жилах вместо крови текло красное вино. Однажды Питт, вообще-то имевший обыкновение пить в одиночку, возвращался домой из Холлвуда в компании Дандаса; после обеда в одной харчевне на Кентской дороге он уплатил по счету за семь вышитых бутылок вина. Вот что сообщала газета «Морнинг кроникл»: многие видели, как Питт, «направляясь к своей карете после банкета, устроенного в сентябре 1792 года Кентерберийским муниципалитетом, шатался подобно его собственным законопроектам». Все с тем же Дандасом он был частым гостем на званых обедах, где вино лилось рекой, языки развязывались, а застольная беседа принимала весьма веселый характер. После одной такой попойки эти двое, в обнимку и пошатываясь, ввалились в палату общин, будучи явно не в состоянии заниматься государственными делами:

«— Куда наш спикер скрылся?

Его ты видишь, друг?

— Ты, старина, напился:

Я ясно вижу двух!»

В другой раз Питт должен был поспешно ретироваться за кресло спикера, где его и вывернуло наизнанку.

Государственные дела Великобритании вершились над океанами спиртного и континентами снеди. Эрскин постоянно носил в кармане небольшую флягу с мадерой, к которой прикладывался, произнося речь. Государственный казначей вооруженных сил Ригби говорил, что у него есть одно-единственное достоинство, которым он может гордиться, — умение пить. Это полезное качество очешь ему пригодилось, когда, попав в опалу, он стал секретарем герцога Бедфордского в Ирландии: свое недовольство он топил в потоках вице-королевского бордо. Правда, Ригби не соблюдал при этом, пользуясь выражением Берка, «принципов географической морали». В Дублине он пил столько же, сколько в Лондоне, а в Лондоне — столько же, сколько в деревне.

Дандас и Тэрлоу пили портвейн, Фокс — шампанское и бургундское; Шеридан начал с бордо, затем облюбовал портвейн, потом отдал дань увлечения сцеженному пуншу, горячему негусу, бренди, после чего опять вернулся к портвейну. Один только Уилкс отдавал предпочтение крепкому немецкому пиву (впоследствии к этому пиву пристратился Босуэлл, то пьянствовавший, то каявшийся); что касается Берка, то он, начав с рюмочки бордо, кончил большими порциями горячей воды, хотя было время, когда он жаловался спикеру: «Мне нездоровится. Я слишком много ем, слишком много пью и слишком мало сплю». Питт под конец перешел на разбавленный водицей портвейн; вообще в большинстве своем эти бражники, становясь старше, пили все меньше, но Шеридан (увы, увy!) с годами все чаще прикладывался к бутылке. Если непьющий король любил иногда «запить грушу глотком воды», то принц Уэльский глушил все без разбору, пока не опустился, пресытись, до кюрасо и цедрато.

Лорд Уэймут пьянствовал до утра, а днем отсыпался. Во время званого обеда у лорда Клермонта граф Карлейль жаловался, что у него разламывается голова: он выпил все вино, до которого мог доттинуться. Кембл, чей крутой нрав с годами смягчался, а облик приобретал величественность, хлестал бордо бочками. Однажды он швырнул в Шеридана графином, после чего сразу же примирительно протянул ему руку. Сэра Филиппа Фрэнсиса не раз развозило к концу послеобеденной беседы, хотя он пил наперстками, тогда как его собеседники осушали полные стаканы. А Порсон, ученейший человек своего времени, был так привержен крепким напиткам, что однажды выпил бутылку денатурата, приняв его по ошибке за джин.

Духовенство тоже не было оплотом трезвости. Герцогиня Девонширская писала, что священника, приглашенного в Чэтсуорт, пришлось выставить вон, ибо он прибыл в нетрезвом виде и стал грубо приставать к леди Элизабет Фостер и ее подруге.

А как любвеобильны были англичане под действием винных паров! Вот один пример. Одна весьма почтенная дама, вдова, занимавшая высокое положение в свете, вызвалась отвезти генерал-майора Пилле в своей карете домой после званого обеда. По обычаю того времени обед сопровождался обильными возлияниями. На задних сиденьях кареты поместились вдова и ее дочь, девушка лет восемнадцати, а на передних — генерал и возлюбленный этой девушки. Никогда, ни в одной другой стране целое сборище гусаров или гренадеров не вело бы себя, по словам Пилле, столь возмутительным, скандальным образом, как этот милый поклонник. Генерал не смог ни сдержать свое поговование, ни скрыть свою неловкость при виде того, как мать спокойно приводит в порядок растерзанную одежду своей дочери. В ответ на его замечания достойная леди лишь растерянно повторяла: «Не обращайтесь внимания, бедняга просто выпил лишнего».

Или возьмем случай на обеде у миссис Кру, когда трое молодых людей так перепились и «заговорили с такой откровенной развязностью», что леди Фрэнсис и леди Пальмерстон вынуждены были поспешно выйти из-за стола; миссис Шеридан пыталась последовать за ними, но ее удерживали силой, так что, когда ей все-таки удалось вырваться, все руки у нее были в синяках, а передник разорван.

Миссис Фицгерберт не ложилась спать, не дождавшись, когда вернется домой ее высокородный супруг. Услышав на лестнице пьяные голоса принца и его собутыльников, она не раз пробовала избавиться от их общества, спрятавшись под диван. Увидев, что гостиная пуста, принц шутовым жестом извлекал из ножен шпагу и принимался обыскивать комнату, пока не вытаскивал дрожащую жертву из ее укрытия.

Жены не видели ничего зазорного в том, чтобы поведать миру, как их благоверные возвращаются домой под утро «в крепком подпитии, продрогшие и злые как черти» или как им всю ночь не дает спать «доносящееся из буфетной громкое хлопанье пробок, извлекаемых из бутылок с ужасным пятишиллинговым бордо».

Впрочем, женщины всех сословий старались, насколько это возможно, не отставать от мужчин. К моменту, когда в гостиную подавали чай, дамы находились в том состоянии, которое принято называть «слегка навеселе».

Хотя омаров леди обычно запивали портвейном или даже портером, они, стремясь к разнообразию, воздавали должное и многим другим колоритным напиткам, имевшимся в большом выборе, таким, как Венерин бальзам, Шафрановая настойка, настойка корицы, настойка горицвета, Померанцевый цвет, Мятная настойка, настойка пижмы, Ирландский коньяк с пряностями — зеленый, желтый и белый, Кофейный напиток, Шоколадный напиток, Ночная красавица, Турецкая наливка, Ландышевая наливка, мараскин, Флора граната, О кордиаль де Женев, О дивин, О де мильфлер, О д'ор, Оранжасс, Линет дез Инд, Цедра — красная и белая, Бергамотовая настойка, Айвовая — красная и белая, Жакомонуди, Шамбери, Нейи, не говоря уж об ароматичных лечебных водах, спасающих от разлития желчи, ожирения и чумы.

Зато каждый чистокровный и благонамеренный английский джентльмен свято веровал в превосходство портвейна над всеми другими винами. «В какой университет посоветовали бы вы мне определить сына?» — спросила одна дама у известного своей рассудительностью доктора Уоррена. «Насколько мне известно, сударыня, — ответил он, — в каждом из них пьют портвейн примерно одного и того же качества».

Впрочем, национальным напитком, потребляемым и утром, и днем, и вечером, оставалось пиво. В 1760 году пивоварни Лондона

приготовили 35 107 812 галлонов пива, это составило по 47 галлонов на каждого горожанина, включая детей, или же по 70 галлонов на каждого взрослого лондонца. Простой народ налегал на обычное пиво, крепкое пиво — баб, христианский баб, первосортный баб, могучий баб и шипучий баб (ласкательное название эля), а из более крепких напитков отдавал предпочтение сладкой яблочной наливке, жженке, джину, флипу, пьяному элю, крепкому портеру, бренди, Барбадосскому рому, виски — чистому и цополам с водой, яблочной водке, шерри-бренди, янтарному пиву, Старому фараону, «сногшибательной», пиву с бренди, ромовому шрабу, всевозможным посsetам и кружонам. Исключительной популярностью пользовались также эль доктора Батлера, эль доктора Куинси и кресс-салатовый эль — лекарственные средства, обладавшие несомненной дополнительной привлекательностью для пациентов в силу того, что, лечась, они одновременно и напивались.

В описываемые времена в Лондоне насчитывалось 17 тысяч пивных и над дверью чуть ли не каждого седьмого дома красовалась пивеска, зазывавшая бедняков и гуляк из мира богемы выпить на пенни, напиться на два пенса и проспать на соломе задаром.

Что касается людей богемы, то они вечно ожидали, что подвернется какой-нибудь счастливый случай, произойдет какая-нибудь счастливая встреча, а время ожидания заполняли ссорами и примирениями в бесчисленных клубах и кабачках, самым диковинным из которых была жуткая таверна «Два пополуночи», куда приходили на свои кошмарные сборища, смахивавшие на пляски смерти, дряхлые понесы и кутилы. Всех их сблизало вино сердечности. Ведь добрый стакан вина почти с такой же легкостью тушит вспыхнувшую ссору, с какой вызывает ее:

«Глоток вина хороший
Мирит людей не плоше,
Чем судьи и святоши.
Полней стакан налей
И станешь веселей»¹.

Азартные игры пользовались не меньшей популярностью, чем горячительные напитки. Они наносили такой же ущерб кошельку, как спиртное — здоровью. Вся фешенебельная Англия азартно играла на деньги, и обнаружить свое незнакомство с модной карточной игрой значило уронить себя в глазах света. Аристократы, юристы, врачи, офицеры армии и флота, актеры, политики, даже священники — все они систематически и крупно играли. Играли при дворе, играли в

¹ «Дуэнья». — Ш е р и д а н Р.-Б. Драматические произведения. М., «Искусство», 1956, с. 176.

самой захудалой корчме. Вся страна представляла собой один громадный игорный дом.

Стоило сойтись вместе нескольким людям из общества, и, что бы ни собирались они делать — музицировать, танцевать, заниматься политикой, пить лечебные воды или угощать друг друга вином, — тотчас же раздавался стук игральных костей и треск распечатаваемых колод.

Страсть к азартной игре не мешала игрокам добиваться успеха у женщин, ибо вернейший способ завоевать расположение прекрасной дамы состоял в том, чтобы прослыть человеком, который играет рискованно и крупно проигрывает. Приехав как-то в Лондон, Хорас Уолпол отправился с визитом к леди Хертфорд — не успел он опомниться, как проиграл 50 гиней. Летним вечером в открытые окна дома герцога Бедфордского зазывно лились звуки валторн и кларнетов из сада, где на главных аллеях играли музыканты, но гости были глухи ко всему, кроме карточных терминов, выкрикиваемых игроками. В азартную игру вовлекся и прекрасный пол. Светские дамы всех возрастов, одинокие и замужние, регулярно встречались вечерами за карточным столом. Когда одна за другой ставятся на кон и проигрываются дорогие безделушки и драгоценности, в опасность, несомненно, попадает и драгоценнейшая из жемчужин, блистательнейшая из женщин. Принцессе Амелии было позволено играть в «мушку» только по маленькой, зато у герцогини Графтонской игра шла по крупной, и вот, как было замечено, едва только на приеме во дворце появлялись музыканты, а мебель сдвигали, освобождая зал для менюэта, ее высочество, пользуясь минутным замешательством, убегала от своих гостей на вечер к герцогине.

Во время длительных и бурных прений по делу Уилкса, когда голоса в палате общин разделились почти поровну (для обеспечения нужного исхода голосования пришлось подкупить двух голосующих, обещав им звание пэра, и доставить в зал заседаний больных парламентариев, одетых в теплое белье и закутанных в одеяла, так что палата общин приобрела некоторое сходство с лечебницей курортного города Бата), семь-восемь знатных дам, ярых сторонниц партии вигов, будучи не в состоянии найти свободное место на галерее, откуда они отлучились, чтобы уютно пообедать, преспокойно уселись за пультку в одной из служебных комнат спикера.

Джорджиана, герцогиня Девонширская, играла по большой и чувствовала себя несчастной, делая долги; когда Шеридан однажды помогал герцогине войти в карету, ее буквально сотрясали рыдания — так расстроил ее очередной крупный проигрыш.

Миссис Ламм проигрывала по две-три сотни фунтов за вечер, а миссис Фицрой чуть не лопалась от досады, что не ей достается выигрыш. И вот эта невезучая дама решила предпринять практические

шаги, чтобы воспротивиться злым козням фортуны: села играть в «мушку», заранее припрятав пару трефовых валетов в кармане. Впрочем, дамы, жульничавшие в картах, были в конечном счете менее опасными партнершами, чем дамы, неспособные уплатить свой карточный долг. Ведь каждый порядочный человек отлично понимал, что его прекрасная должница, прося денег у разгневанного супруга, подвергает себя гораздо более трудному испытанию, чем он сам, обращаясь за деньгами к угрюмому банкиру или несговорчивому управляющему имением. Сколько ни играл Чарлз Джеймс Фокс, он не мог приучить себя быть неумолимым к хорошенькой должнице, которая горько плачет при мысли о том, что по возвращении домой она должна будет сознаться мужу, что просадила за один вечер втрое больше, чем было отпущено ей «на булавки».

Всю страну охватило повальное увлечение вистом. Вист объединил за одним карточным столом лояльных придворных и мятежных патриотов. Эдмунд Хойл написал трактат об игре в вист, который за один-единственный год выдержал семь изданий. Англичане восприняли эту книгу как откровение. Она вызвала бурю восторгов. Ее листали за едой, читали в постели, носили с собой в парламент и в церковь. Игроки в вист сделали ее своим евангелием. Они преклонялись перед ее автором, в котором видели второго Ньютона. Вокруг этой книги вертелись все разговоры, с ней ознакомились даже члены кабинета. После 1783 года в моду вошла новая игра — «фараон», затем — ЭО.

Но какой бы игре ни отдавали предпочтение англичане, они играли всегда азартно. С утра до ночи у Кайта, у Брукса, у Будля игроки испытывали свою судьбу; многие проигрывались в пух, обрекая себя на нищету и голод. Даже в артистических уборных театров велась большая игра. Случалось, актер или актриса проигрывали тысячи фунтов за вечер: кольца, броши, часы, жалованье на месяцы вперед, туалеты, корсеты. Для отцов лондонского света азартная игра во всех ее видах стала скорее профессией, чем приятным времяпрепровождением. Этим пресытившимся любителям острых ощущений азарт политической борьбы казался пресным, а выигрыш в политической игре ничтожным; то ли дело игра на деньги, когда от резвести лошади или от расклада карт сплошь и рядом зависят суммы, превышающие годовой доход министра. Сэр Джеймс Лоутер выиграл за вечер семь тысяч фунтов, Мейнелл — четыре тысячи, Пиго — пять тысяч. На одном пышном балу лорд Клермонт сорвал и еще больший куш. На другом балу герцог Нортумберлендский проиграл под звуки котильона ни много ни мало 20 тысяч фунтов. В азартные игры играли и Питт, и Джордж Селвин, и Шеридан, и Фокс, который, конечно же, сражался в карты как одержимый и вечно проигрывал. За ночь Фоксу случалось проигрывать по 20 тысяч фунтов. Однажды он

просидел за картами двадцать четыре часа кряду, просаживая по 500 фунтов в час. В другой раз, сев за карты после обеда, он играл всю ночь и утро следующего дня и проиграл за это время 12 тысяч фунтов; к пяти часам дня он просадил новые 12 тысяч фунтов, а вечером — еще 11 тысяч фунтов стерлингов.

«Казнит игроков незадачливых рок.
Вот Фокс, он поистине горе-игрок.
Едва лишь коснется он карт иль костей,
Как мигом расстанется с сотней гиней».

(Надо сказать, что и на политической арене Фокс оставался все тем же азартным игроком: годами он вел рискованную политическую игру, ставя на карту свою карьеру и судьбы своей партии.)

Игра у Олмака, куда перенесли свои сборища картежники, собиравшиеся ранее у Уайта, представляла собой картину, достойную заката империи. Игроки ставили на кон по 50 фунтов — столбик золотых, а всего на карточном столе обычно лежало тысяч на десять денег звонкой монетой. Поражали своим своеобразием манеры и даже одеяния игроков. Усаживаясь за карты, они первым делом снимали с себя расшитые камзолы и облачались в грубошерстные кафтаны, причем иные надевали их — для везения — вывернутыми наизнанку. Затем, чтобы не помять гофрированные кружевные манжеты, они натягивали на руки кожаные нарукавники (подобные тем, которыми пользовались слуги при чистке ножей), а на голову надевали высокие и широкополые соломенные шляпы, украшенные цветами и лентами, чтобы ни резкий свет, ни падающие на глаза волосы не отвлекали их от игры. Играя в «пятнадцать», картежники к тому же надевали маски из опасения, как бы противники не разгадали их мысли по выражению лица. Рядом с каждым из игроков стоял аккуратный столик с высокими бортами, предназначенный для чая и для монет, которые стопками складывались в специальную деревянную чашу с позолоченным ободком. Проигравшие занимали огромные суммы денег у евреев-ростовщиков под чудовищные проценты. Чарльз Фокс называл прихожую, в которой эти ростовщики дожидались, когда он встанет ото сна и выйдет к ним, своей иерусалимской палатой. Это он, Фокс, утверждал, что ничто другое в жизни — кроме, конечно, выигрыша — не доставляет такого большого удовольствия, как проигрыш. О его невезении в игре ходили легенды, а Уолпол иронически вопрошал, что же, интересно, будет делать Фокс, после того как промотает поместья своих друзей.

«Чу! Битвы гром. В бою сошлись полки.
На модников войной идут ростовщики.

Вот щеголей, галдя, теснит евреев рать,
Уж Фокса взяли в плен и тянут обрезать».

Увы, Фокс оказался в лапах ростовщиков задолго до того, как, покинув свет, он поселился в сельской тиши местечка Сент-Энн, где мирно наслаждался красотой роз и просодических стихов и где Фицпатрик нашел его сидящим на кошке сена с открытой книгой в руке и задумчиво наблюдающим, как сойки таскают его вишни.

С этим самым Фицпатриком Фокс, засев у Брукса за карты, сражался с десяти вечера до шести вечера следующего дня, причем у их столика неотступно находился официант, подсказывавший, кому сдавать, когда на партнеров наваливалась дремота.

Здесь, у Брукса, не играли, а священнодействовали, и разговоры не поощрялись. Сэр Филипп Фрэнсис, награжденный по ходатайству Фокса орденом Бани, появился у Брукса при новой орденской ленте.

«Итак, вот каким образом вознаградили наконец вас за все, — заметил Роджер Уилбрахэм, подходя к столу, за которым шла игра в вист. — Вам повесили на шею красную ленточку, и вы уже счастливы, но правда ли? Интересно, что дадут мне? Как вы думаете, сэр Филипп, что получу я?» «Веревку на шею, и катитесь к черту!» — взревел выведенный из себя игрок.

Из-за крупных проигрышей многие кончали жизнь самоубийством. В 1755 году именно по этой причине пустил в себя пулю из пистолета лорд Маунтфорд. Просадив в карты огромные деньги и страшась нищеты, его светлость обратился к герцогу Ньюкаслскому с просьбой выхлопотать для него должность губернатора Виргинии или чего-нибудь в этом роде. В глубине души он решил поставить на карту жизнь: все будет зависеть от ответа герцога. Узнав, что в просьбе ему отказано, лорд Маунтфорд посоветовался с друзьями насчет того, каким способом легче всего уйти из этого мира. Вечером под Новый год лорд Маунтфорд поужинал в кофейне Уайта, после чего до глубокой ночи играл в вист. Назавтра он послал за адвокатом и тремя свидетелями, в присутствии которых составил завещание. После того как завещание трижды зачитали вслух пункт за пунктом, лорд спросил, будет ли оно действительно в случае, если он лишит себя жизни. Получив заверение, что и в этом случае завещание сохранит законную силу, он вежливо извинился перед присутствующими за то, что вынужден покинуть их, и, выйдя в соседнюю комнату, тихо покончил с собой — никто даже не услышал звука выстрела.

Впрочем, немало тогда было и таких игроков, которые не унывали, спустив целое состояние. В эпоху, когда играли все и большинство оставалось в проигрыше, способность не отчаиваться представляла собой незаменимое качество. Лорд Карлейль (который жаловался на

cette lassitude de tout et de moi même qu'on s'appelle ennui¹⁾), генерал Фицпатрик, лорд Хертфорд, лорд Сефтон, герцог Йоркский и многие другие просаживали в карты астрономические суммы. Крупно выигрывали считанные счастливицы. Одним из таких счастливицев был герцог Портлендский, другим — его тесть генерал Скотт. Этот последний выиграл 200 тысяч фунтов — правда, как презрительно утверждали злые языки, только благодаря своей пресловутой трезвости. Повезло и полковнику Обри, имевшему репутацию лучшего среди современников игрока в вист и пикет. Он дважды наживал состояние в Индии и дважды спускал его, а в третий раз составил состояние за карточным столом, начав игру с пятифунтовой ассигнации, взятой займы.

Рассказывались легенды об игре в «фараон» у Брукса, когда банк держали лорд Чолмондели, Томпсон с Гровнор-сквер, Том Степни и еще один игрок. Банкометы разорили полгорода; некий господин Пол, вернувшийся на родину из Индии, где он сколотил состояние, ставил против банка и проиграл за один вечер 90 тысяч фунтов, после чего немедленно отбыл на Восток за новым состоянием.

Иностранцев принимали в почетные члены главных клубов. Во время визита союзных монархов Блюхер, заядлый игрок, проиграл 20 тысяч фунтов. Зато граф Монтрон оказался в выигрыше. «Кто такой, черт побери, этот Монтрон?» — спросил у Аптона герцог Йоркский. «Говорят, сэр, это милейший из негодяев и самый большой распутник во Франции». «Да неужели? — воскликнул герцог. — Надо немедленно пригласить его к обеду».

Монтрон отличался остроумием. Байи де Ферретти постоянно носил штаны до колен, треугольную шляпу и шпагу, такую же тонкую, как его ноги. «Послушайте, дорогой мой Байи, — сказал однажды Монтрон, — никак не возьму в толк: это у вас три ноги или три шпаги?»

Герцог Филипп Эгалите Орлеанский загребал огромные куши. Этот француз был крайне непопулярен. Леди Банбери называла его не иначе, как «гнусный Эгалите». Это о нем было сказано: «Paresseux sur mer, poltron sur terre, polisson partout»²⁾. Принц Уэльский познакомился с герцогом Орлеанским в клубе и стал частенько появляться с ним на людях. Принц даже изъявил желание нанести ему визит в Париже, но король благоразумно не дал необходимого разрешения, предложив вместо этого принцу съездить в Ганновер. Принц ехать в Ганновер отказался. Ганновер — не Париж.

Жажда выигрыша не знала жалости к неопытной и незащищенной младости, не щадила ни родственников, ни благодетелей, ни

¹ Эту усталость от всего света и от самого себя, которая зовется скукой (франц.).

² «Бездельник на море, трус на суше, повеса везде» (франц.).

350497

хозяев, ни гостей. Если в какой-нибудь из лондонских клубов случилось зайти юнцу прямо со школьной скамьи, о котором известно, что любящие родители раскошелятся, чтобы спасти его от бесчестия, на него смотрели с деловитостью мясника, собирающегося потрошить телянку. Молодые люди спускали по пяти, десяти, пятидесяти тысяч в один вечер. Несовершеннолетний лорд Стейвордейл проиграл как-то раз 11 тысяч фунтов, но потом отыгрался, поставив все на одну карту. Дав зарок никогда больше не играть, он с сожалением говорил: «А ведь, займись я игрой, я, быть может, выиграл бы миллионы».

Опасным партнером за карточным столом был герцог Куинсберийский. Удачно играл он и на скачках, зная всю подноготную про ездоков и лошадей. Кроме того, он любил биться об заклад, особенно когда был почти наверняка уверен в своем выигрыше. Человек смекалистый и находчивый, он выигрывал не столько благодаря своему велению, сколько благодаря своему изобретательному уму. По определенным дням на столик в кофейне Уайта клали книгу для записей пари, куда заносились условия всех пари, заключенных в стенах этого заведения, и имя герцога то и дело появлялось на страницах книги. «Герцог Куинсберийский спорит с сэром Джоном Лейдом на тысячу фунтов стерлингов, что он представит едока, который съест за один присест больше, чем едок, выставленный сэром Джоном». Герцог не смог присутствовать на состязании лично, но о результате его оповестил доверенный. «Не имея времени для описания подробностей, спешу сообщить Вашей светлости главное: Ваш едок опередил соперника на поросенка и яблочный пирог».

(Распутство «старинны К» стало притчей во языцех; он искал все новых утех и наслаждений до конца своих дней. Построив дворец в Ричмонде, он устраивал там бесчисленные оргии, но потом эта резиденция наскучила ему, подобно тому как надоело ему рано или поздно почти все на свете. «Не понимаю, что особенного находят в этой скучной Темзе? Мне она опостылела. И течет, и течет, и течет себе, вечно одна и та же». В старости он часто сиживал на балконе первого этажа своего особняка на Пиккадилли и бросал нежные взгляды на проходивших мимо женщин; при этом один слуга держал у него над головой зонтик от солнца, а другой стоял рядом, готовый пойти следом за первой же хорошенькой девицей, которая приглянется герцогу, и узнать, где она живет. Но при всем том «старина К» отличался остроумием, любил музыку, неплохо разбирался в литературе и живописи. Одним из ближайших друзей герцога был Джордж Селвин; между прочим, каждый из этих двух считал себя отцом Марии Фауэяни, но ни тот, ни другой не был уверен в этом до конца.)

Босуэлла спас от «одержимости игрой» Томас Шеридан, одолживший ему денег для уплаты карточных долгов при условии, что он пи-

когда больше не будет играть. Впрочем, впоследствии страсть к игре охватила Босуэлла с новой, непреодолимой силой, и он день и ночь проводил за картами.

Заключение всевозможных пари стало настоящей манией.

«Ставится 50 гиней, что лорд Илчестер при ближайшем голосовании проголосует против и что он подстрелит шесть из первых десяти фазанов, которые попадутся ему на охоте».

«Пять гиней наличными против сотни, которая должна быть уплачена в том случае, если герцог Куинсберийский отдаст богу душу до половины шестого пополудни 27 июня 1773 года».

«11 марта 1775 года. Лорд Болингброк дает гинеею г-ну Чарлзу Фоксу и получит с него тысячу, как только государственный долг Англии достигнет 171 миллиона. Г-н Фокс не должен выплачивать тысячу фунтов, пока он не станет членом кабинета Его величества».

«29 января 1793 года. Г-н Шеридан спорит с г-ном Бутби Клоптоном на 500 гиней, что не позже чем через три года с момента заключения пари будет произведена реформа системы представительства английского народа».

«29 января 1793 года. Г-н Шеридан спорит с генералом Фицпатриком на 50 гиней, что в ближайшие два месяца после заключения этого пари в Голландию будет направлен британский экспедиционный корпус».

«Г-н Шеридан бьется об заклад с генералом Тарлтоном, ставя сотню гиней против пятидесяти, что на 28 мая 1795 года г-н Питт будет первым лордом казначейства. Г-н Ш. держит такое же пари с г-ном Ст.-Э. Джоном, ставя пятнадцать гиней против пяти. Еще одно такое же пари заключает г-н Ш. с лордом Сефтоном, ставя сто сорок гиней против сорока».

«Лорд Мейдстон заключает шесть пари с лордом Келберном, на 50 фунтов каждое, что в настоящее время у него в конюшне стоят шесть лошадей и что верхом на каждой из них он перепрыгнет пятифутовую стену на скаковом круге в Лите (Линкольншир)».

«Лорд Адольфус Фицкларенс держит пари с г-ном Джорджем Бентинком на 10 фунтов стерлингов, что в течение года в Лондоне не будет произведен ни один выстрел по причине раздражения».

«Г-н Ф. Кавендиш спорит с г-ном Браунригом, ставя два против одного, что он ляжет спать, не убив за день ни одной трушной мухи».

Об заклад бились по любому поводу, и не было для любителей пари ничего запретного. В одно прекрасное утро 1750 года как раз напротив кофейни Уайта внезапно упал навзничь какой-то человек. Завсегдагаи кофейни Уайта тотчас же принялись держать друг с другом пари насчет того, выживет этот несчастный или испустит дух. Кто-то предложил, чтобы бедняге пустили кровь, но держащие пари стали

громко протестовать, утверждая, что применение ланцета нарушит справедливое соотношение ставок.

Г-н N, поспорив на 1500 фунтов, что человек может прожить двенадцать часов под водой, нанял какого-то отчаянного малого, посадил его ради эксперимента в трюм корабля, а корабль затопил. Ни о корабле, ни о человеке с тех пор больше никто ничего не слышал.

Ну и конечно же, заключались пари о том, какая из двух незамужних леди первой произведет на свет ребенка или какой из двух мужчин первым женится. С одинаковым жаром спорили о том, долго ли продержится министерство, много ли еще проживет министр, какая лошадь придет первой на скачках, чья собака окажется резвее, чем кончится состязание кулачных бойцов, кто выиграет партию в бильярд или какой петух победит в петушином бою. В общем, ставки были высокие, чаши глубокие, и каждый развлекался, как мог.

В ту же пору началось повальное увлечение лотерей. Оно охватило все слои общества, начиная от аристократа, который мог позволить себе приобрести целый лотерейный билет, и кончая служанкой, сумевшей всеми правдами и неправдами (например, воруя по мелочам) скопить сумму, необходимую для покупки шестнадцатой части билета. Сами законодатели стали жертвой лотерейной горячки. Народу, рассуждали они, лотерея пришла по душе, так почему бы и не поддержать ее? Разве не по жребию разделили племена землю Хананскую? Разве не по жребию был выбран царем Саул?..

И вот приближается долгожданный день, когда должны решиться судьбы тысяч. Жизнерадостный владелец лотерейного билета, наперед убедивший себя в том, что выиграет 20 тысяч фунтов стерлингов, считает ниже своего достоинства идти к месту своего предвкушаемого торжества пешком; на ближайшей стоянке он нанимает шестиместный экипаж, запряженный парой лошадей, или на худой конец — портшез — кожаное кресло, в котором его доставят к лондонской ратуше. Что? Пешком?! Он, владелец билета, на который вот-вот выпадет выигрыш? Как бы не так! Эй, карету! Карету! К ратуше! Да поскорей! Не беда, что за проезд запрошено втридорога, — торговаться не будем. До экономии ли теперь? Главное — чтобы побыстрее: нашему оптимисту не терпится получить состояние, которое само идет ему прямо в руки. Как людно сегодня в зале ратуши, какие вокруг возбужденные, взволнованные лица! На одних написана надежда, на других — смешение надежды и страха, на третьих — глубокая сосредоточенность. Сразу видно, люди гадают, скоро ли начнется розыгрыш; скоро ли разыграют их номера; выигрышным или пустым окажется их билет; если выпадет выигрыш, то на какую сумму; если выйдет пустой билет... Смотрите, смотрите! У приютского мальчишки, который будет вытягивать номера, завертывают рукава. Спрашиваете зачем? Чтобы не спрятал под манжетой выигрыш —

однажды его чуть было не застучали за этим делом. Глядите, колесо закрутилось. Выпал выигрыш! Что, что? Нет? Ах, вот как. Тише там! Перестаньте шуметь! Ба, возможно ли? Да, сомнений нет. Вон та толстуха служанка, которая то бледнеет, то краснеет от волнения, стала счастливой обладательницей 12 тысяч фунтов стерлингов, шестнадцатой части выигрыша. В дальнем конце зала шум и гомон. Наконец водворяется молчание. И снова завертелось колесо фортуны. Все напрягают зрение и слух, вытягивают шеи — может, мне повезет на этот раз? — увы и ах, пустой билет.

Долги — характернейшая примета того века, поистине «золотого века» для должников. Считалось, что долги никоим образом не бросают тень на репутацию человека. Был популярен тост: «За длинные пробки и длинный кредит». Обрушиваясь с критикой на законы о долгах, Берк горько сетовал на то, что эти законы исходят из презумпции о кредитоспособности каждого человека — презумпции, которая, по его словам, совершенно не соответствует реальным фактам. В среде богемы, как в низших, так и в высших ее слоях, залезать в долги было чем-то само собой разумеющимся. Двое известных драматургов, ученых и остроумцев того времени, Мерфи и Камберленд, были в долгах по уши, причем Мерфи расплачивался (без намерения обмануть кредитора) векселями, которые отказались акцептовать, и уже запроданными авторскими правами. Даже беднягу Тикелла, по уверению его жены, «изводят займодавцы, требующие денег, которых у нас, бог видит, вовсе нет». Знатным дамам из общества иной раз приходилось занимать пять фунтов у своих лакеев, потому что эти бесконечные бутоньерки и шелковые чулки были сущим разорением. Родни так запутался в долгах, что выпутаться ему удалось только благодаря щедрости французского фельдмаршала. К 1773 году Фокс задолжал 100 тысяч фунтов, и девять раз в течение этого года к нему приходят на дом взыскивать долги по исполнительному листу. Союзник Фокса генерал Бергойн вынужден был, прежде чем отправиться воевать в Америку, скрываться от кредиторов во Франции. Даже Питту не было покоя от судебных приставов, а что касается наследного принца, то в 1786 году заместитель шерифа целых два дня фактически оккупировал его резиденцию, Карлтон-хаус, хотя дело шло о взыскании незначительной суммы порядка шестисот фунтов. Одни несостоятельные должники брали займы у других, таких же неплатежеспособных; вот самый поразительный пример: накануне отъезда в Ньюмаркет на скачки Фокс обратился к Шеридану с просьбой ссудить ему денег.

Огромные долги Фокса оплатил не только богат отец, но также и друзья, собравшие деньги по подписке, что обеспечило Фоксу безбедное существование. За много лет до этого у Брукса уже проводился сбор взносов на погашение долгов Фокса. (Обсуждая этот шаг,

один из членов клуба деликатно осведомился у Селвина: «Как примет все это Чарлз?» «Не мешкая», — услышал он в ответ.) Кроме того, в 1802 году герцог Бедфордский оставил Фоксу по завещанию не меньше 10 тысяч фунтов стерлингов.

В свою очередь и друзья Питта уплатили за него долги, собрав подписные взносы, причем этот добровольный заем в размере 12 тысяч фунтов так никогда и не был погашен, хотя после смерти Питта государство выделило 40 тысяч фунтов на оплату его долгов. У Шеридана не было богача отца. Его богатым друзьям в голову не пришло избавить его от долгов, собрав для этого средства по подписке. Единственное, сделанное ему в частном порядке, предложение о денежной помощи было отклонено. Шеридану не оставлялись никакие наследства, ни пенсия не получал он от власти имущих. И вместе с тем все долги Шеридана были сполна оплачены оставшимися в живых наследниками, в то время как долги Берка были погашены лишь в половинном размере, Питта — в шестой, а Фокса и того меньше — в тридцатой части.

То была эпоха поклонения золотому тельцу. Для прожигания жизни, удовлетворения честолюбивых замыслов, занятий политикой требовалось золото, много золота. Все и вся отдавалось на откуп, даже Америка, и сам «откущик Георг» должен был выкладывать по 12 тысяч фунтов каждый раз, когда производились выборы. Голоса членов парламента приобретались в обмен на пенсии, и Шеридан утверждал, что на эти цели растранижируются «такие громадные суммы, на которые можно было бы обеспечить средствами к жизни всех трудящихся бедняков». А сын лорда Норта тем временем выражал негодование по поводу того, что за три недели он не получил ни одной синекуры. Влиятельный лорд Чэтам вынужден был прибегать к раздаче пенсий как к средству избавиться от не устраивавших его искателей теплых местечек. Возвратясь из Франции, где он жил в изгнании, Уилкс не постеснялся потребовать в качестве «компенсации» круглую сумму в пять тысяч фунтов плюс годовую ренту. Когда в 1811 году кто-то сказал, что «наш Катон» лорд Гренвилл (чья добродетель была ненасытна в своей жажде вознаграждения) едва ли сможет прийти к власти из-за огромных трудностей, с которыми он столкнется при распределении государственных должностей, одна остроумная дама ответила, что никаких трудностей не будет, поскольку лорд Гренвилл с превеликим удовольствием займет все должности сам. Гренвилл и его брат Бекингем никогда не упустили случая поживиться.

Архисовместителем был Дандас, занимавший сразу три государственных поста. Благоволивший к Дандасу Питт изобрел специально для него третью министерскую должность, по поводу чего Шеридан, выступая в 1795 году, заметил: «У нас, разумеется, имелось поисти-

не джентльменское правительство, а г-н министр Дандас был трижды джентльмен в сравнении с остальными членами кабинета, так как занимал в нем три места».

Впрочем, сам Питт, так же как Фокс, Грей и Шеридан, был совершенно неподкупен. Подобно своему отцу, он гордо презирал материальную выгоду. Так, он отверг предложенные городскими властями 10 тысяч фунтов в год и не принял подарок европейских властителей в размере 100 тысяч фунтов стерлингов; картины, присланные ему в дар иностранными монархами, разворовывались бесчестными слугами или покрывались плесенью в подвалах таможни. После того как Питт отказался стать у кормила власти в марте 1783 года, Дженкинсон, он же лорд Ливерпул, заявил, что благородство и принципиальность Питта «совершенно несовместимы с нравами, обычаями и наклонностями тех, через чье посредство только и можно управлять нашей страной». Несмотря на то, что Питт отменил многие sineкуры, он был вынужден сплачивать ряды своей партии с помощью системы косвенного подкупа.

В открытую продавались и покупались дворянские звания. Бойкая торговля титулами началась еще при Якове I, но во времена Шеридана она приняла бесстыдный, разнузданный характер и велась в колоссальном масштабе. За первые тринадцать лет своего правления Питт пополнил палату лордов восьмьюдесятью тремя новоиспеченными пэрами. За всю же свою жизнь он ухитрился пожаловать званием пэра ни много ни мало сто сорок человек. К моменту, когда он выпустил из рук бразды правления, чуть ли не половина всех пэров, заседавших в палате лордов, были его ставленниками. Питт создавал плебейскую аристократию, возводя в звание пэра неизвестных сквайров и богатых скотопромышленников. Он вылавливал их в коридорах банкирских домов Ломбард-стрит или вытаскивал из недр бухгалтерий Корн-хилла — рынка зерна. Одного такого толстосумаскотопромышленника рекомендовали как человека достойного носить титул баронета, однако Питт, которому представили этого кандидата, пришел в ужас от чудовищного диалекта будущего баронета и в титуле ему отказал.

В передней министров толпились всевозможные ходатаи и просители. «Да ведь это же, любезная, — говорит торговец теплыми местечками Надменный Джек ¹, — не больше как простой обмен. Мы каждый день оказываем друг другу услуги и поважнее... Вот предположим, сударыня, что вы — первый лорд казначейства; у вас есть должностешка, нужная мне, а у меня имеется местечко, нужное вам; ну и рука руку моет, оба мы — стороны заинтересованные, сказали друг другу пару слов — и дело с концом».

¹ Персонаж комедии Голдсмита «Добрячок».

И не без основания за сорок лет до этого Свифт начертил на окне пестибюля дома лорда Картрета следующее двустишие:

«Как скучно сидеть здесь и ждать Вашей милости
Тому, кто не ищет подачек и милостей!»

Что же касается награждения орденами, то злобный отступник Филипп Фрэнсис получил-таки орден Бани, а Шеридану так и не повесили на грудь это украшение, которое, по его словам, «втершиеся в милость пэры носят круглый год, а трубочисты — только первого мая».

То был век надменности и высокомерия, век кастовой замкнутости, когда все общество сводилось к каким-нибудь трем сотням лиц, а численность кабинета (вплоть до 1801 года) — к семи министрам. Престарелая леди Олбемарль однажды заявила джентльмену, общаться с которым считала ниже своего достоинства: «Вам наболтали, будто я злословила на ваш счет, но это неправда, потому что я никогда не взяла бы на себя труд говорить о вас; однако если бы я все же удостоила вашу персону каким-нибудь замечанием, я сказала бы, что в будни вы похожи на прохиндея, а по воскресеньям — на аптекаря». Даже Джорджiana, герцогиня Девонширская, которая, познакомившись с Шериданами, была совершенно очарована ими, колебалась, не зная, прилично ли будет пригласить к себе певицу и сына актера.

Вот анекдот, метко характеризующий ту эпоху. Дама, завидев в реке утопающего, умоляет сопровождающего ее денди, прекрасного пловца, спасти бедняге жизнь. Ее кавалер с флегматичным видом (это было непременным требованием хорошего тона) подносит лорнет к глазам, внимательно вглядывается в лицо несчастного тонущего, чья голова в последний раз показалась над водой, и спокойно отвечает: «Но это невозможно, сударыня. Меня не представили этому джентльмену».

И еще это был век острословов и говорунов, как и всякий другой век, отмеченный влиянием женщин и Франции. Остроумие и красноречие отпирали двери знатных домов, хотя золотой ключик к ним, надо сказать, изготовляли по политическому шаблону. Подобно враждующим партиям гвельфов и гибеллинов, сторонники Фокса, почти все время пребывавшего в оппозиции, и сторонники Питта, неизменно стоявшего у кормила правления, были вечно на ножах. Первые собирались в доме герцогов Девонширских, в салонах миссис Кру и миссис Бувери, последние были частыми гостями у герцогини Гордонской, известной своим тонким умом, а также у герцогини Ратлендской и леди Солсбери, блиставших зрелой красотой. В дальнейшем леди Эстер Стэнхоуп, всегда отличавшаяся деспотизмом, стала генералиссимусом армии приверженцев ее «дядюшки Питта». Впрочем,

большинство остроумцев того времени держало сторону вигов. (Любимой темой разговора английских дам была политика. Сплошь и рядом на обеде или в опере только о политике и говорили. Дело дошло до того, что лорд Э. жаловался, что из-за увлечения политикой жена будит его по ночам — только он начинает засыпать, как она вскрикивает во сне: «Устоит премьер или падет?»)

Напротив, «синие», то есть сторонницы старых тори, — миссис Трейл, взявшая под свое крылышко доктора Джонсона, миссис Чалмондели, миссис Монтегю и им подобные — проявляли больше терпимости и широты при подборе своих гостей. В их домах блистали такие остроумцы, как Шеридан, Фокс, Латрелл, Джордж Селвин и «Хейр (заяц), имеющий многих друзей»; но и скучных зануд, конечно, тоже хватало. У них даже был свой собственный клуб «Приставал». Так же как и в век классической литературы, авторы надоедали друзьям с чтением своих рукописей, а каждое удачное произведение собратьев по перу объявляли плагиатом. Один из таких горелитераторов, некий Джордж Дайер, отчаявшись найти где бы то ни было добровольных слушателей, отправился читать свои творения в грязелечебницу доктора Грэхема, пациенты которой, погруженные в грязь по пудренные парики, не могли спастись бегством.

Помимо всего прочего, это была эпоха злословия. Газеты уподобились шепчущимся сплетницам — их страницы пестрели пасквилями и инсинуациями, не щадившими ни маститых старцев, ни прекрасных дам. Пасквин — так именовал себя Уильямс — возвел клевету в степень изящного (вернее, как раз не изящного) искусства: его грубые карикатуры были развешаны в каждой лавке гравюр и эстампов. Неприкосновенность частной жизни стала привилегией бедняков. Когда миссис Трейл, презрев доктора Джонсона, вышла замуж за Пиоцци, это событие породило обширную пасквильную литературу, полную злобных сплетен и домыслов.

Резкие личные выпады омрачали парламентские прения. Холодное равнодушие Питта к прекрасному полу часто служило поводом для язвительных шуток. А сам Питт за каких-нибудь два года до своей смерти избрал в качестве объекта для грубых насмешек красные щеки Шеридана. Берк, постоянно переходивший все границы, называл лорда Шелберна «этот Борджиа и Катилина». Не пощадил его язык и самого монарха. Когда в 1788 и 1789 годах Георг III впал в безумие, Берк возгласил в палате общин, что господь бог низринул короля с трона. А когда Тэрлоу, совсем было собравшийся, как крыса, сбегать с тонущего корабля безумного монарха на утлое суденышко Фокса и наследника престола, торжественно заверял пэров: «Пусть покинет меня бог, если я покину моего короля», Уилкс, присутствовавший при этом, воскликнул: «Не только покинет — пошлет жариться в ад!» Стоявший рядом Берк добавил: «И чем скорее, тем

лучше». Услышав про одного нового члена парламента, что он хорошо порекомендовал себя как автор труда по грамматике и книги о добродетели, Тауншенд заметил, что палата общин — неподходящая ярмарка для подобных товаров.

Век Шеридана благоприятствовал расцвету литературы. Со времени Дефо литература шла в самую гущу жизни, в народ. Обретая свободу, она становилась демократичной. Так, Шеридан отличался от драматургов эпохи Реставрации тем, что не старался выводить в своих пьесах аристократов. Его герои — не вельможи, а горожане, занимающие, правда, высокое общественное положение, но все же простые граждане, чуждые преклонения перед древними реликвиями и освященными веками традициями.

При всем том этот век любил рядиться в живописные, пышные костюмы. Ведь именно тогда лорд Вильерс, спустивший в погоне за модой все свое состояние, мог появиться при дворе в бледно-лиловом бархатном кафтане с оторочкой лимонного цвета, расшитом вензелями из жемчуга, крупного как горошины, и украшенном многочисленными медальонами из чеканного золота в виде фигурок Купидона, а Уоррен Хейстингс явился на суд, устроенный над ним, в камзоле из красновато-коричневого атласа и при шпаге, рукоять которой была усеяна бриллиантами; именно тогда фореиторы лорда Эгмонта каждый день надевали новые белые ливреи, обшитые муслиновыми оборками; у молодых франтов вплоть до восьмидесятых годов были в моде белоснежные атласные муфты (такие муфты обожал Фокс в пору своего увлечения дендизмом, за такими муфтами посылал Шеридан после побега с возлюбленной); а дамы носили столь высокие и пышные прически, что их называли «красавицами в шапке облаков», и в театре Друри-Лейн с успехом шла пантомима: Арлекин взбирается по лестнице, чтобы добраться до верха этих сооружений. Мода того времени объявляла осиную талию чуть ли не мерилом женской красоты: чем сильнее удавалось женщине стянуть свою многострадальную талию, тем больше ее фигура приближалась к совершенству. Многие несчастные подорвали свое здоровье, пытаясь превзойти тонкостью стана герцогиню Ратлендскую, ухитрявшуюся стянуть свою талию до объема полутора апельсина. По утрам дамы носили кринолины с узкими обручами, а одеваясь к выходу, облачались в широкие кринолины колоколом. В моде были накидки и газовые шейные платки, отделанные тонким кружевом. Что касается сильного пола, то непременными атрибутами благовоспитанного мужчины были пудренный парик, шпага, складной цилиндр, расшитый камзол, красные каблуки, кружевные гофрированные жабо и манжеты и пальмовая трость; чтобы иметь успех в обществе, мужчина должен был хорошо танцевать, хорошо фехтовать и сдобривать беседу понюшкой табаку.

Нюхательный табак ввела в моду королева Шарлотта, но во времена Шеридана эта мода пошла на убыль. Георг III не расставался с табакеркой, но нюхать табак не любил. С величественным видом брал он щепотку табаку большим и указательным пальцами, но старался рассыпать табак, не донеся до носа. Он отказался от обыкновения предлагать собеседникам понюшку табаку, а привычка залезать без приглашения в чужую табакерку стала рассматриваться как нарушение правил хорошего тона. Между тем, когда после смерти лорда Питерсхэма стали распродавать с аукциона его табачные запасы, трем работникам пришлось не покладая рук трудиться три дня, чтобы взвесить их, а выручка от продажи составила три тысячи фунтов стерлингов.

Стремление выставлять напоказ свои богатства и таланты находило отражение в устройстве домашних театров. Лорд Бэрримор, заплатив 60 тысяч фунтов за здание, в котором могли разместиться его зрители, исполнял на сцене шутовские танцы и играл Скарамуша. Лорд Вильерс разыгрывал «Пигмалиона и статую» в сарае неподалеку от Хенли. В глазах простого народа пары все еще хотели выглядеть полубогами; так, злосчастный лорд Феррерс (осужденный на смерть судом пэров за убийство своего старого верного дворецкого) со всеми онерами прибыл на эшафот в вышитом серебром свадебном костюме и был торжественно повешен на шелковом шнуре.

Если Шеридан любил показную пышность, то показную пышность он видел повсюду вокруг себя. Он жил в эпоху утонченную и грубую, деликатную и буйную в одно и то же время. Миссис Монтегю была хозяйкой Салона Купидона, обходившегося ей во многие тысячи фунтов; целые ночи напролет разглагольствовала она о Шекспире и музыкальных стаканах ¹ перед избранным кружком, составленным из дрезденского фарфора (герцогиня Девонширская) и чугунного литья (доктор Джонсон). Тем временем ее бедняга муж, утомленный занятиями математикой и всеми забытый, вкушал заслуженный отдых. Его каменноголовые копи покрывали любые расходы супруги. Стены ее гардеробной были украшены фресками, изображавшими розы и жасмин. «Зачем это понадобились немолодой женщине купидоны, — негодуяще вопрошала миссис Делани, — если только она не воображает себя женой старика Вулкана и матерью всех этих амурчиков?»

Знатные дамы хихикали во время представления трагических сцен «Ромео и Джульетты», смеялись над страданиями Монимии или Бельвидеры ², а короля Лира провожали со сцены дружным хохотом.

¹ Музыкальные стаканы — примитивный музыкальный инструмент, в котором звуки извлекались из стаканов, наполненных водой до разного уровня.

² Героини трагедий английского драматурга Томаса Отуэя «Сирота» и «Славенная Венеция».

Зато к дуэлям относились тогда с полной серьезностью. Джентльмен, который убил человека, защищая свою жизнь и честь, только выигрывал в мнении света: раз уж на дуэли убивают, то джентльмен просто не имел другого выбора. Мало кто из выдающихся людей того времени не получал вызова на дуэль. Мания драться, так же как и страсть к азартной игре, вышла за рамки какого-либо одного класса или сословия и стала поголовным увлечением. На улице дубасили друг друга носильщики портшезов и факельщики; в городских закоулках подстерегали прохожего бандиты и головорезы — подонки общества, выплеснувшиеся на поверхность во время гордоновского мятежа.

Душным майским вечером молодые члены парламента могли проголосовать вразрез со своими убеждениями из боязни, что от жары у них потекут румяна и завянут букетики цветов в петлице. А на галереях над ними громко похрапывали закоренелые пьяницы. Берк поднимался, чтобы произнести пространную речь, но грубые нечестивцы кашлем заставляли его замолчать. Годы спустя лорд Элленборо при виде парламентария-вига, зевающего во время скучнейшей речи вига-оратора, заметил, что, хотя зевки свидетельствуют о хорошем вкусе зевающего, вряд ли справедливо посягать подобным образом на то, что является прерогативой соперничающей партии.

При четырехчасовом сне современники Шеридана ухитрились сохранять крепкое здоровье, приятную наружность и хорошее настроение. Пороки взрослых людей сочетались у них с детской жизнерадостностью, и атлетически сложенные члены парламента могли поднять возню, словно мальчишки. Великие гении засиживались до полуночи, играя в вопросы и ответы, в мнения и отгадывание мыслей. Ни в какой другой век компания веселых остроумцев не породила столько чепухи. Фокса можно было застать ревящимся в поле или затеявшим шумную игру в коридорах своего дома в Сент-Энн. Питта можно было увидеть играющим в жмурки в Уимблдоне или пытающимся обрести достоинство после того, как секретари застигли его врасплох с лицом, вымазанным жженой пробкой. Лорд Бэрримор выряжался пшютом в Сент-Джеймсе и индейцем в Сент-Джайлсе, а на охоту выезжал скорее в обличье короля Франции и Наварры, чем английского джентльмена, между тем как его трубач-негр исполнял в лесу музыкальные фантазии. Разборчивые дилетанты покупали поддельных Тицианов и собирали коллекции редкостей, немало говорившие об окружающей их самих обстановке. Один из таких знатоков, воинственно размахивая «подлинным» зубом Сципиона Африканского, клялся, что вставит его себе в челюсть, а Джордж Селвин поражался, «как такая идея могла прийти кому-то в голову».

Светские люди рано обедали, ехали в оперу или театр и возвращались оттуда к позднему ужину, за которым остроумцы и государ-

ственные деятели, явившиеся прямо из палаты общин, где ломались копыя по поводу доктрин свободы, просиживали в обществе первых красавиц страны долгие часы, пока не начинали оплывать и гнуться свечи в позолоченных канделябрах, а за окнами проступали в пред-рассветных сумерках силуэты портшезов да скучающие фигуры франтоватых носильщиков и лакеев во внутреннем дворе.

Жизнь людей из высшего общества состояла главным образом из приятного ничегонеделания. Большой свет пробуждался не раньше двух часов пополудни. Любознательный иностранец, который пожелал бы ознакомиться с великосветской жизнью во всех ее оттенках и проявлениях, едва ли выдержал бы лондонский сезон. На столе у себя он нашел бы более сорока приглашений, то есть по пять-шесть приглашений на каждый день. (Разумеется, всем этим любезным хозяевам надо будет нанести утренний визит, а ведь это дело нелегкое.)

Чувствительность уживалась с погоней за сенсациями. Всеобщее увлечение воздушными шарами позволило воздухоплатателю Лунарди ухаживать за герцогиней, а мода на животный магнетизм побуждала весь высший свет толпиться в приемной доктора Мэндюка. Одно время в моде были ужины-амбигю (наполовину обеда). Потом началось глупое увлечение разряженными куклами, с которыми светские люди обоего пола, хвастая друг перед другом, прогуливались в парке. Наряду с этим распространено было жестокое увлечение зрелищем смертной казни — знатные особы с утра посылали к эшафоту слуг, чтобы те заняли для них местечко с хорошим обзором. А в ближайший вечер эти же бездельники с одинаковой беззаботностью танцевали на балу или, надев домино, отправлялись на маскарад в Пантеон¹. Ньюгейт или Тайберн, Рэнели или Воксхолл, Фоли или Мерилбон-гарденс² — все было сплошной рождественской пантомимой.

В свете вращалось множество престранных личностей. Удивительной фигурой был Субиз, чернокожий паж (было время, все помешались на пажах-негритятах), усыновленный герцогиней Куинсберийской, воспетой поэтами Геем и Прайором. Сорвиголова и чуточку позер, этот молодой Отелло писал стихи, покорял сердца, прожигал жизнь и свернул себе шею, объезжая арабских скакунов в Индии. Еще более удивительной личностью был шевалье д'Эон, великая загадка своего времени; друг Шеридана, Уилкса и генерала Паоли; бывший драгун, который и впоследствии с гордостью носил свой красный мундир с зелеными отворотами и серебряными галунами; остро-

¹ Пантеон—здание в Лондоне, где устраивались празднества, маскарады и увеселения.

² Ньюгейт — знаменитая лондонская тюрьма; Тайберн — место, где совершались казни; Рэнели, Воксхолл, Фоли, Мерилбон-гарденс — названия увеселительных садов в Лондоне или его окрестностях, где устраивались гулянья, маскарады и концерты.

умец и образованный человек; воин, в совершенстве владевший любым оружием и искусством верховой езды; наемный агент, состоявший на содержании у французского правительства, а, может быть, также и у британского министра; тот самый д'Эон, который так умело скрывал свои политические симпатии и... свой пол; д'Эон, который жил как солдат, а умер в юбке. Не менее эксцентричным субъектом был и лорд Стэнхоуп, отец леди Эстер Стэнхоуп, аристократ-якобит с лицом итальянского кардинала. Этот чудак шокировал своих друзей тем, что спал с открытыми окнами под дюжиной одеял и изучал естественные науки в доме, который король называл Демократическим собранием.

Век Шеридана явно не отличался благонаравием, хотя, надо сказать, его беспутство было вызвано не изнеженностью упадка, а полнокровностью избытка сил. Похищения, побег, дуэли, интриги сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой. В высшем свете царили весьма низкие вкусы: фешенебельный Мейфер, ввозивший из Франции буквально все, за исключением ее тонких манер, ухитрялся соединять нравы эпохи Ришелье с «элегантными» замашками голландского буржуа. Герцог Йоркский выставил герцогиню Гордонскую из обеденного зала Пантеона за то, что она сказала грубость по адресу леди Тирконелл; герцогини — сторонницы вигов и герцогини — поборницы тори шипели друг на друга, входя в гостиную; про Фокса в девяностые годы говорили, что его манеры значительно улучшились по сравнению с той порой, когда он плевал на ковер в доме лорда Шелберна. (Скучная благопристойность воцарилась лишь в следующем веке, после эпохи Регентства. Величайшими из всех мыслимых нарушений английских правил хорошего тона стали считаться следующие три преступления: есть с ножа, брать сахар или спаржу рукой и, самое страшное, плевать в помещении. Последнее из вышеперечисленных преступлений преследовалось с такой педантичной последовательностью, что во всех лондонских домах едва ли сыскалась бы хоть одна плевательница.)

Идеи Руссо носились в воздухе, а вольность прав доходила до крайности. В эпоху, когда, по словам Честерфилда, «сыновья сильных мира сего женились на дочерях выскочек», красота и талант пускались во все тяжкие. Откуда ни возмись, появлялись дети загадочного происхождения, которых матери обменивали, возвращали отцам или тайно отдавали на воспитание в подходящую семью. Амурных историй было великое множество, но любовь стала редкостью, и порыв подлинной страсти вскоре вдребезги разбивал фарфоровых пастушков и пастушек. Семейные радости влекли современников Шеридана куда меньше, чем их предков с полсотни лет назад; впрочем, герцогиня Девонширская, заполнявшая свою жизнь литературными и сердечными увлечениями, подала смелый пример —

кормила грудью своих детей; в дальнейшем этому последовала миссис Сиддонс, чем навлекла на себя дружные насмешки всего актерского состава Друри-Лейна.

Женщины играли видную роль не только в сфере искусства и литературы, но также и в сфере филантропии и политики. Французская революция возвестила эру женщины, эру женского взгляда на вещи, так что «Права женщины», вышедшие из-под пера Мэри Уоллстонкрафт Годвин, стали в один ряд с «Правами человека» Томаса Пейна.

Каков бы ни был этот век, но, начавшись с Болингброка, он перед своим завершением подарил миру Шелли. Тем не менее георгианская эпоха представляла собой карнавал необузданной плоти, среди главных участников которого мы видим Шеридана и его друзей.

КНИГА ВТОРАЯ ШЕРИДАН-ДРАМАТУРГ

ГЛАВА 1

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Первым в нашей галерее идет его преподобие Томас Шеридан, доктор богословия и друг Джонатана Свифта. Каламбурист, шутник, скрипач и балагур, человек безнадежно непредусмотрительный и начисто лишенный такта, охотник, лингвист и любитель розыгрышей, переводчик классиков, насквозь пропитанный книжной премудростью, но совершенно не знающий людей, он положил начало литературной традиции Шериданов.

Сей учитель из Драмлейна являл собой фигуру совершенно в духе Рабле, хотя при этом он прежде всего был большим любителем научных знаний и, по словам Свифта, «несомненно лучшим наставником юношества в наших краях, а может быть, и во всей Европе, а также непревзойденным знатоком греческого и латыни». Все тот же Свифт называл его «человеком здравомысленным, скромным и добродетельным, обладающим лишь одним большим недостатком — женой с четырьмя детьми», недостатком, имеющим себе одно-единственное оправдание: школьному учителю положено быть женатым.

Ветеран Свифт был многим обязан человеку, который освежал его познания в области древних языков и литературы, дружески утешал его, когда на него находили приступы черной меланхолии, и напоминал ему — опрометчиво согласившись делать это — о его скупости, что дало язвительным насмешникам повод утверждать, будто Шеридан играет при Свифте ту же роль, которую играл Жиль Блаз при архиепископе Гранадском. Бродягой вроде Жилия Блаза он и был, любителем побездельничать и приложиться к бутылочке, у которого никогда не было настоящего дома.

Шеридан скитался из школы в школу, из прихода в приход, вечная жертва своих собственных причуд и «коварства» друзей, переманивающих у него учеников (многих из которых он учил бесплатно) и злоупотребляющих его гостеприимством. Однажды его назначили

было на должность священника при вице-короле Ирландии, но тут же и отрешили от этой должности, притом не без причины. Удостоившись чести произнести в Корке проповедь по случаю празднования годовщины со дня восшествия на престол Брауншвейгской династии (1 августа), он избрал в качестве темы своей проповеди библейский текст: «...довольно для *каждого* дня своей заботы»¹, после чего ему пришлось поставить крест на своей карьере священника. Свифт мягко упрекал его: «Вы явно не наделены таким талантом, как избыток такта, иначе вы остереглись бы этого текста, как мореплаватель — скалы», ибо, повторяя слова Дон Кихота, обращенные к Санчо, «с какой стати было говорить о веревке в семье повешенного?».

Томас Шеридан лишился кормушки, и для него навсегда закрылись все пути к повышению. Но невзгоды не повергли его в уныние. Он оставался все тем же каламбуристом, шутником, скрипачом и балагуром. Ребусы, анаграммы и мадригалы сыпались из него, как из рога изобилия. Его перо и смычок не знали покоя. Вступая в жизнь, он зарабатывал 1200 фунтов стерлингов в год; закончив свой жизненный путь, он оставил после себя больше детей, чем банкнот.

Сущей погибелью оказалась для Шеридана родня. Его жена, уроженка Ольстера Элизабет Макфэдден, сварливая фурия, которую супруг ласково именовал «Понси», а Свифт называл «Ксантишной, самой большой стервой в Европе», «грязнейшей из нерях, ленивой, нерадивой, расточительной, злобной, завистливой и подозрительной бабой», поселила в доме мужа целую ораву бедных родственников во главе со своей матерью; ненасытные родственники вскоре проели все ее приданое, дававшее 500 фунтов в год, проели и еще столько же. Понси экономила на содержании учеников мужа и расточала его состояние. Собственные дальние родственники довершали разорение Шеридана, который как-то раз признался Свифту, что его полностью «обесшериданили». Но он по-прежнему со смехом гнал от себя заботы, сочиняя мадригалы, или же топил эти заботы в круговой чаше.

«Бывало, пригласит он к обеду, — рассказывал о своем друге Свифт, — человек шесть, а то и больше, гостей, все людей из общества, а сам забудет о приглашении и в назначенный день исчезнет из дому. Когда же ему пеняют на это, он только радуется, полагая, что такая рассеянность аттестует его как человека гениального и ученого».

При всем том Свифт и Стелла доверяли своему любимцу, «второму Соломону», больше, чем кому бы то ни было. Невзирая на сварливую супругу Шеридана, именно в его уединенном поместье Килка Свифт жил месяцами, создавая свои «Путешествия Гулливера». В 1726 году,

¹ Евангелие от Матфея, гл. 6, ст. 34.

думая, что Стелла умирает, именно Шеридану излил Свифт свою сердечную скорбь в одной горькой фразе: «Кажется, прекраснейшая в мире душа рассталась со своим телом». А год спустя, когда Стелле оставалось жить месяц-другой, тому же Шеридану адресовал Свифт слова: «Последний акт жизни — всегда трагедия, если не хуже». Перед самой своей смертью Стелла поручила заботам Шеридана личную переписку Свифта, и он воспрепятствовал немедленному ее опубликованию. Стелла любила Шеридана больше, чем остальных друзей Свифта, и назначила его одним из своих душеприказчиков. Несмотря на полное расстройство своего состояния, Шеридан отверг предложение Стеллы включить его в число своих наследников, подобно тому как за несколько лет до этого он отклонил предложение Свифта назначить его директором школы в Арме. «Заговорить в его присутствии о том, сколь беззаботен он во всем, что касается его материального интереса и состояния, значит сделать ему самый большой комплимент», — утверждал Свифт.

Зато Шеридан осмеливался говорить в глаза Свифту неприятную правду, которой тот, одолеваемый тяжкими духовными и физическими недугами, не мог больше переварить, и между друзьями произошел временный разрыв. Следует привести здесь последние слова доктора Шеридана. Услышав, как кто-то из присутствующих сказал, что ветер дует с востока, наш доктор прошептал: «Пусть себе дует с востока, запада, севера или юга, бессмертная душа полетит прямо к месту назначения».

Человеком совершенно иного склада был сын доктора Шеридана. От начала до конца он производил впечатление педанта среди людей искусства и человека искусства среди педантов. Имея перед глазами обескураживающий пример отца, он отказался от мысли стать педагогом и решил посвятить себя реформе театра. А театр, похоже, отчаянно нуждался в коренном преобразовании. Политические скандалисты и светские дебоширы вызывали в зале общественные беспорядки, хорошим вкусом пренебрегали, актеры завидовали друг другу. Шеридан был исполнен честолюбивых замыслов. Себя он считал человеком, как нельзя лучше подготовленным для того, чтобы упорядочить царящий здесь хаос и превратить театр из балагана в академию. Большой знаток филологии, он вознамерился преобразовать сцену в духе классических образцов; как актер он отличался точной игрой, но при этом сухой и однообразной. Сильный, глубокий голос и четкая размеренность жестов делали его идеальным исполнителем роли Катона из одноименной трагедии Аддисона.

В январе 1743 года роль Ричарда III исполнил в дублинском театре Смок-элли некий «молодой джентльмен». Играл он с таким ус-

нехом, что вскоре на театральных афишах появилось его имя — Томас Шеридан. Когда через некоторое время в Дублине с триумфом выступал Куин, ветеран литературы уехал из города, возмущенный успехом этого любимица публики. К 1745 году — году кончины Свифта — молодой Шеридан стал полновластным руководителем Королевского театра.

Затем Шеридан отправился в Лондон и играл на подмостках театров Ковент-Гарден и Друри-Лейн. Он ухитрился вызвать зависть Гаррика и оскорбить его гордость. Приглашая знаменитого актера и владельца театра в Дублин, он настаивал на том, чтобы их договор строился на основе совместного участия в прибылях. Тем не менее Гаррик явился в Дублин, а тогдашний вице-король Ирландии Честерфилд оказал поставленному ими спектаклю высокое покровительство и, ища популярности, превозносил игру Шеридана.

Но слишком стремительно взошла звезда Шеридана. Пасквилянты уже потешались над его претензией рядиться в пышную тогу при исполнении роли Катона. На протяжении каких-нибудь восьми лет ему дважды пришлось сталкиваться с организованным противодействием, причем если в первом случае он вышел из испытания с укрепившейся репутацией, то в результате второго инцидента он практически разорился.

Одним январским вечером 1746 года, когда в зале театра блистало целое созвездие прославленных красавиц, собравшихся посмотреть Шеридана в роли Горацио из «Красивой грешницы»¹, некий Келли, молодой джентльмен из Голуэя, горячий по натуре да к тому же хвативший горячительного, взобрался на сцену и с площадной бранью погнался за сентиментальной авантюристкой Калисто, роль которой исполняла мисс Беллами. Актриса успела спрятаться от преследователя в своей уборной и заперла дверь на засов. В дело вмешался Шеридан, который, вместо того чтобы привычно закрыть глаза на эту милую шалость, приказал служителям препроводить нарушителя порядка к его месту в партере. Келли, взяв у продавщицы корзину с апельсинами, принялся швырять ими в Шеридана и обзывать его подлецом и негодяем. Шеридан в полном соответствии с истиной ответил: «Я не меньше джентльмен, чем вы». Это заявление привело Келли в ярость. Он проследовал за кулисы, где вновь обругал Шеридана последними словами и получил публичную взбучку. Тут началось столпотворение. Дали занавес. Публика раскололась на два враждебных стана: «келлиты» и «шериданиты» схватились друг с другом, словно современные Монтекки и Капулетти. Какое-то время жизнь Шеридана находилась в опасности. Келли удалился со сцены, клянясь жестоко отомстить актеру, который осмелился быть джентль-

¹ Пьеса английского драматурга Николаса Роу (1674—1718).

меном. Возбудив против Шеридана дело об оскорблении личности, Келли заявил на суде, что ему довелось видеть джентльмена-солдата и джентльмена-портного, но что он ни разу в жизни не видел джентльмена-актера. В ответ на это Шеридан, поклонившись, сказал: «Надеюсь, сэр, вы видите такового теперь». Оправданный под громкие аплодисменты публики, Шеридан отомстил обидчику вполне поджентльменски: после того как смутьяна привлекли к суду и приговорили к большому штрафу, Шеридан обратился к властям с просьбой освободить виновного от уплаты и стал в результате самым популярным человеком в Дублине.

В тот вечер, когда произошел скандал в театре, среди публики находилась темноволосяя и черноокая юная леди двадцати одного года от роду по имени Фрэнсис Чемберлен, уже прославившая себя как писательница и одна из «трех литературных граций». (Двумя другими были миссис Каули и миссис Гриффитс.) Доктор Парр, знававший мисс Чемберлен до того, как он стал преподавателем в Харроу, называл ее «поистине небесным созданием».

Достойное поведение Томаса Шеридана в трудную минуту сделало его в глазах мисс Чемберлен настоящим героем. Она незамедлительно выступила в печати с памфлетом, способствовавшим резкому повороту общественного настроения в пользу Шеридана, и опубликовала вдобавок поэму «Совы», в которой этим ночным птицам крепко доставалось от Аполлона. В скором времени они познакомились в доме сестры Шеридана и были помолвлены.

Весной 1747 года они обвенчались и поселились в Дублине на Дорсет-стрит. Супруги были приняты в высшем обществе и подружались с такими именитыми семействами, как Лейнборо, Чарлемонты, Оррери и Кэнинхемы. Шеридан основал дублинский Биштекс-клуб, где мир Дублинского замка — резиденции вице-короля — общался с миром богемы, и усадил на председательское место, бросив дерзкий вызов общественному мнению, разбитную Пег Уоффингтон. При всем том он слыл придиричвым руководителем, сторонником строгой дисциплины и человеком педантичных религиозных привычек, который никогда не опаздывал к семейной молитве. Правда, он частенько сдабривал молитву хорошо взбитой смесью бренди с сахаром и водой, может быть, и не такой крепкой, как излюбленная принцем-регентом диaboлина, но все же достаточно сильно действующей для того, чтобы сбросить Шеридана со стула на пол как раз в тот момент, когда он читал своим двум сыновьям проповедь о вреде пьянства.

Единственный недостаток своей жены Шеридан усматривал в том, что она слишком уж просто одевалась. Она обычно носила коричневые шелковые платья, а дома надевала скромный чепец, приличествующий, скорее, почтенной матроне. Вместе с тем, по признаниям современников, ее фигура, шея и руки были редкой красоты.

Она не любила рисоваться, выставлять свою красоту напоказ, вызывать восхищение. Как и многие другие дамы той эпохи, начиная с самой королевы, она имела привычку понюхивать табачок. Один попутчик в почтовой карете, курсировавшей между Лондоном и Уиндзором, восторженно заметил, когда миссис Шеридан сняла перчатку, чтобы взять понюшку табаку: «Немногие леди, сударыня, так долго прятали бы от нас столь прелестную руку».

Шериданы растили детей и счастливо жили в Дублине вплоть до того момента, когда второй публичный скандал в Королевском театре вынудил отца семейства покинуть свой родной дом и пределы королевства.

На учрежденный Шериданом Бифштекс-клуб смотрели в Дублине с подозрением, видя в нем политическую опору для непопулярного правительства, а когда в феврале 1754 года на подмостках Королевского театра возобновили постановку вольтеровского «Магомета», некоторые строки из этой трагедии, которые были восприняты как обличение правителей Ирландии, вызвали бурю аплодисментов. Зрители потребовали, чтобы Диггс, джентльмен-актер, произносивший по роли эти строки, прочел их вторично. Шеридан распек Диггса за то, что он ответил на вызов, и прочел членам своей труппы скучнейшую нотацию на тему о том, сколь постыдно домогаться популярности с помощью политических намеков или какого бы то ни было выделения чуждых поэзии моментов, будь то голосом, жестом или взглядом. Диггс спросил, что ему делать, если публика потребует повторного исполнения, и получил отрывистый ответ: «Поступайте, как сочтете нужным». Диггс, возмущенный тем, что его посмели отчитывать, искал случая отомстить. И этот случай представился ему 2 марта 1754 года на очередном представлении «Магомета».

Когда его вызвали на бис, требуя повторения не столько поэтических, сколько злободневных строк:

«О боги, боги!

Если вам дано вершить людские судьбы в нашем мире
И подлых призывать к ответу, то раздавите, боги, этих гадин,
Которые, поклявшись пред народом
Блюсти его права, бесстыдно их продают врагу
За горсть металла или должностишку, —

Диггс, ничтоже сумняшеся, объявил зрителям, что Шеридан запретил бисировать эти строки. Оглушительные крики: «Директора! Директора!» — сотрясли воздух. Шеридан, убежденный в том, что публика замышляет недоброе против него лично, незаметно ускользнул домой, и злоумышленники целый час дожидались его возвращения. Потом снова стали криками вызывать директора. Директор

все не являлся. Верноподданнический возглас: «Да здравствует его величество король Георг! Ура! Ура! Ура!»— вызвал среди националистов взрыв несдерживаемой ярости. Не успело еще отзвучать последнее «ура», как начался погром. Зрители переворачивали скамьи, крушили канделябры; лавиной вкатившись на сцену, они исполосовали шпагами дорогой занавес, опрокинули каминную решетку в кассе театра, рассыпали по всему полу пылающие угли — в общем, разнесли в театре все, что могли.

Но на этом несчастья Шеридана не кончились. Четвертый ребенок, появившийся в его семье, умер в конвульсиях, не прожив и трех месяцев. Герцог Дорсетский предложил своему разоренному протеже пенсию в размере 300 фунтов в год, но Шеридан, гордый стоик, от нее отказался. Весь девятилетний труд пошел прахом. Нашему незадачливому директору ничего не оставалось, как сдать свой театр в аренду и отбыть в Лондон.

Там Шеридан начал было играть Гамлета поочередно с Ричем в театре Ковент-Гарден, но предприятие это успеха не имело, и его провал лишь способствовал процветанию театра Друри-Лейн. Если все эти испытания подорвали здоровье Шеридана, то они не смогли сломить его неукротимый дух; он увидел в них перст судьбы, указующий ему иную стезю, пойти по которой он, кстати, собирался с самого начала. Не теряя времени, он предуготовил себя к выполнению высокой педагогической миссии и за три недели сочинил эссе, посвященное доказательству того, что безнравственность, невежество и дурной вкус берут начало в несовершенной системе образования, исправлению которой могло бы способствовать «возрождение искусства правильной речи и обучение нашему собственному языку». Итак, Шеридан вознамерился совершенствовать род людской с помощью риторик.

По приезде жены с детьми, которых Шеридан теперь вызвал к себе, все семейство поселилось в доме на углу Бедфорд-стрит и Генриетта-стрит, близ площади Ковент-Гарден, где и проживало, когда находилось в Лондоне, вплоть до 1768 года. Здесь Шериданы стояли вечерами у открытого окна, дожидаясь прихода знаменитого лексикографа, тогда еще трудившегося над своим словарем. «Возьми-ка свой театральный бинокль,— говаривал Шеридан жене.— Вот идет Джонсон, его можно узнать по походке».

Летом 1756 года супруги Шеридан решились вновь попытать счастья в Дублине. Шеридан помирился со зрителями, пригласил Фуа (который впоследствии вывел его в сатирическом виде в комедии) и итальянских танцовщиков, но все было тщетно. Новые враги ополчились против его славы. Шерри устарел, вышел из моды. И тогда он опять вернулся к своим планам «усовершенствования человеческой природы». В декабре 1757 года Шеридан, заручившись покро-

вительством герцога Бедфордского, устроил в концертном зале на Финчэмбл-стрит званый завтрак, в завершение которого произнес торжественно-скудную речь о наставлении юношества, послужившую прелюдией к созданию нового Ирландского общества. Пожертвования полились рекой. Дело возрождения молодежи поручалось профессорами, которых приглашали за баснословно высокое жалование, а директором нового учебного заведения был назначен Шеридан. Окрыленный успехом, он направился в Англию — содействовать осуществлению проекта. Но не успел он отплыть, как недруги, политические и театральные, разрушили его надежды. Актер, утверждали они, не имеет права руководить школой такого рода. (И с какой это стати ирландец будет обучать англичан английскому языку?) Снова была пущена в ход давнишняя насмешка Келли, и снова дублинская чернь не допустила, чтобы актер был джентльменом. С год Ирландское общество процветало без Шеридана, а затем тихо зачахло от безденежья. Шеридан же перенес свои долги и свои разглагольствования («Бедный Йорик!») из Дублина на английскую почву, в Лондон.

В Лондоне семья Шериданов вступила в спокойную полосу жизни. Глава семейства приступил к чтению публичных лекций. Ораторское искусство, утверждал он, способно исправить любое зло на земле. Декламация, произношение, ударения — вот что заполняло теперь его дни и ночи (это да еще уроки для избранных). Он с успехом выступал в залах Пьютерерс-холл, Спринг-Гарден, а затем в Оксфорде и Кембридже. Босуэлл, слышавший лекцию Шеридана, говорил, что тот читал очень хорошо, хотя и жаловался на недомогание. Эти лекции мало-помалу вошли в моду. На один из курсов лекций, прочитанных Шериданом в 1762 году, записалось не менее тысячи шестисот человек, уплатив по гинее за каждую лекцию, а печатные тексты его выступлений шли по цене «полгинеи в переплете».

Шеридан давал частные уроки; одним из его учеников был лорд Перси, другим — Босуэлл. Его известность не ограничивалась одним только Лондоном: в 1758 году оба университета страны присвоили ему почетные ученые степени. Два года спустя он вернулся на сцену и имел такой успех, что критики не знали, кому отдать предпочтение — ему или Гаррику. В начале 1761 года миссис Шеридан имела основания писать, что он пользуется «доброй славой и авторитетом, который, надо полагать, будет день ото дня расти».

В ту пору и ее собственная слава способствовала вящему прославлению ее супруга. Рукопись ее романа «Сидни Бидалф» получила одобрение самого Сэмюэла Ричардсона, который взял на себя хлопоты по опубликованию этой вещи. После того как Ричардсон выразил в письме к ней свое восхищение по поводу ее книги, миссис Шеридан ответила ему следующим образом: «По-моему, из всех личин, которые надевает тщеславие, больше всего достойна презрения притворная

скромность! Поэтому было бы смешно и глупо, если бы я принялась теперь уверять Вас, что роман, получивший Ваше одобрение, недостоин напечатания. Однако до того, как я узнала о Вашем одобрении, мне казалось, что эту вещь, написанную в манере, столь далекой от модного ныне стиля, никто не станет читать».

Но читали все. Романом зачитывался весь Лондон. Ричардсон, конечно, был в восторге, а доктор Джонсон заметил: «Не знаю, сударыня, есть ли у вас моральное право заставлять читателя столько страдать». Аббат Прево перевел книгу миссис Шеридан на французский язык; роман «Сидни Бидалф» был инсценирован, и одноименная пьеса шла в парижском театре, благодаря чему эта вещь имела во Франции двойной успех, литературный и сценический. Много лет спустя Чарлз Джеймс Фокс объявил эту книгу лучшим романом во всей английской литературе, а Джорджиана, герцогиня Devonширская, в возрасте пятидесяти одного года серьезно спрашивала у своей матери совета: можно ли ей прочесть эту вещь.

Мораль книги сводится к тому, что добродетель не всегда вознаграждается. Несчастливая героиня романа одна лишь живет по совести и обретает в сознании своей честности поддержку среди обрушивающихся на нее горестей и несчастий. Любовь низведена в романе на второстепенное, подчиненное место; главное же место занимают супружеское постоянство, семейные привязанности и домашние заботы.

Теплый прием, оказанный миссис Шеридан как писательнице, заронил в ее душу мечту прославиться на поприще драматургии, и она, не откладывая дела в долгий ящик, написала две комедии, одна из которых имела успех, а другая провалилась. В связи с провалом она получила выражение сочувствия в форме столь же редкостной, сколь и приятной. Сочувствие выразил книгопродавец Миллар, хорошо заплативший миссис Шеридан за право издать провалившуюся комедию. В своем письме он заверял писательницу, что быстрая распродажа издания «является неоспоримым доказательством высоких достоинств комедии», и прилагал дополнительный гонорар в размере 100 фунтов стерлингов. Сочувствие, выраженное в такой форме, особенно драгоценно. Миссис Шеридан сочинила «Оду Терпению», призванную показать, с каким философским спокойствием умеет она выдерживать удары судьбы. Вот самое начало этой оды длиной в шестьдесят строк:

«Угроз не страшась, не склоняясь пред силой,
Душа моя стойко невзгоды сносила,
Спокойна, покорна судьбе».

Проявлять спокойствие и покорность судьбе было много легче благодаря щедрости Миллара.

В последующие годы у Шериданов стали бывать многочисленные знаменитости того времени. К ним приходили в гости Гаррик, Бокларк, доктор Робертсон, миссис Чолмондели и миссис Маколей, великий Джонсон и его неизменный спутник Босуэлл, поджарый и энергичный молодой человек, одетый во все черное и часто поминающий в разговоре имя генерала Паоли. «Наверное, вы носите траур по Корсике?» — спросил Шеридан, и Босуэлл ответил утвердительно. Навещал Шериданов и писатель Сэмюэл Ричардсон — гость скучный, как сонная муха, тщетно пытающийся стряхнуть с себя тоскливое оцепенение.

Знаменитый лексикограф любил бывать в доме Шериданов. Как-то раз, застав свою дочь за чтением джонсоновского «Рассеянного», мать поспешила заверить доктора Джонсона, что она позволяет девочке читать только такие произведения, которые совершенно безупречно нравственно... «Вообще же, — добавила миссис Шеридан, — я старательно прячу от нее все книги, моральная тенденция которых не рассчитана со всей определенностью на восприятие юных читателей и читателейниц».

«Ну и очень глупо, сударыня! — воскликнул доктор. — Предоставьте дочери полную свободу рыться в вашей библиотеке. Если у нее хорошие задатки, она будет выбирать только здоровую духовную пищу; если дурные, то никакие ваши предосторожности не помешают ей следовать естественному влечению своих наклонностей».

Хотя доктору Джонсону была симпатична миссис Шеридан, к ее супругу он с самого начала питал предубеждение, наполовину из-за его наследственной близости к Свифту, а наполовину из-за того, что он посягал на лавры Гаррика. Босуэлл умело подливал масла в огонь, который превратился в пожар после назначения Шеридану пенсии и выхода в свет составленного им словаря. «Помилуйте, сударь, да этот Шерри глуп как пробка, — заявил однажды Джонсон в крайнем раздражении. — Впрочем, ему, наверное, стоило огромного труда стать тем, что он есть. Ведь такая чрезмерная глупость прямо-таки противоестественна! К тому же, сударь, какое влияние могут оказать жалкие потуги Шеридана на язык нашей великой страны? Да это все равно, что зажечь грошовую свечу в Дувре и надеяться, что ее свет увидят в Кале!» А когда, вскоре после того как Джонсон удостоился пенсии, Шеридану тоже назначили пенсию в размере 200 фунтов, доктор возмущенно взревел: «Как?! Ему дали пенсию? Тогда мне впору отказаться от моей!» (Между прочим, как Босуэллу стало известно от барона Лофборо, Шеридан хлопотал о назначении пенсии Джонсону.)

Шутка Джонсона вызвала «взрыв раздражения». Шеридан заявил, что Джонсон — задира, что ему этот забияка не страшен и что Джонсон только раз допустил в отношении его, Шеридана, грубость, ска-

зав: «Вы сударь, повторяли это уже трижды. Не понимаю, почему и должеп выслушивать это еще раз».

Но драка дубинками — не в характере Шеридана. Вместо того чтобы отвечать ударом на удар, он стал тихо избегать человека, чьи удары так часто валили его с ног. Впоследствии Джонсон, рассказываясь, доверительно говорил Босуэллу в своей велеречиво-категоричной манере: «Нет, сударь, Шеридан совсем не плохой человек. Если бы можно было разделить всех людей на хороших и дурных, он занял бы видное место в ряду людей хороших». Джонсон готов был ийти на мировую, но Шеридан мириться не захотел, и они больше никогда не встречались. Разрыв с Шериданом лишил доктора Джонсона возможности приятно проводить свободные вечера в кругу этой милой семьи, глава которой, человек живого ума, никогда не давал иссякнуть интересному разговору, тогда как его супруга была милейшей собеседницей — понимающей, остроумной, скромной и вместе с тем общительной.

В 1764 году Шеридан с семейством переехал жить во Францию, отчасти для поправки пошатнувшегося здоровья жены, отчасти для изучения французской системы образования, а главным образом для того, чтобы спастись от долгов. Там они счастливо жили на пятую часть тех средств, которые потребовались бы для комфортабельной жизни в Англии. Отец семейства, вздыхая по поводу того, что на родине его забыли, трудился над грамматиками и словарями, мать семейства — над своими литературными произведениями, а дети — над французским языком и гаммами. И вдруг пришла добрая весть: в Англии принят закон о несостоятельных должниках. В 1766 году влиятельные друзья настоятельно советовали Шеридану воспользоваться предоставляемым этим законом покровительством. Он колебался. Тогда друзья развернули в Дублине энергичную кампанию в его пользу. Появилась надежда, что ходатайство Шеридана, поддержанное виднейшими членами ирландского парламента, будет удовлетворено в его отсутствие. Однако из-за происков врагов такая процедура вызвала возражения. Шеридан уже совсем было отправился в Ирландию, но его удержала смертельная болезнь жены. Миссис Шеридан сгорела за какой-нибудь месяц, и ее схоронили в кладбищенской ограде одной протестантской семьи. Уже одно то, что чужие люди позволили ее праху покоиться среди могил своих близких, говорит о том, какой любовью она пользовалась. Больше того, в последний путь ее провожали (хотя похороны совершались поздно, при свете факелов) многочисленные католики, чьи сердца она завоевала, и почетный военный эскорт. Шеридан был безутешен. «Моя потеря горька и невозполнима,— писал он.— Я утратил сердечного друга, мое второе я. Дети мои потеряли... о, их утрату невозможно ни выразить, ни возместить. Но да будет, господи, воля твоя».

Похоронив жену, Шеридан вернулся в Лондон и поселился на Фрит-стрит, у площади Сохо-сквер. Здесь вокруг него собралась вся семья. В доме зазвучали веселые детские голоса; впрочем, Шеридан держал своих детей в ежовых рукавицах, добываясь от них полного послушания. Ярый сторонник железной дисциплины, он воспитывал их в такой же строгости, как труппу театра. Вообще он требовал от тех, кто от него зависел, безусловного подчинения, хотя при этом страшно обижался, если кто-нибудь из сильных мира сего требовал повиновения от него самого. На таких обидчиков он, по собственным его словам, «изливал кипящую лаву». Он вел размеренный образ жизни, был пунктуален во всех своих привычках: регулярно читал по утрам молитвы, а воскресными вечерами либо пояснял детям проповедь, которую они слушали утром в церкви, либо растолковывал им смысл того или иного текста из Библии. Он по-прежнему любил выпускаемый доктором Джонсоном журнал «Рассеянный» и частенько просил дочерей почитать его вслух, причем совершенно изводил их придирчивыми требованиями, которые он предъявлял к их дикции, декламации и произношению.

Однако на юного Ричарда Бринсли жизнь в отцовском доме произвела более благоприятное впечатление, чем можно было бы ожидать, и он долгие годы с нежностью вспоминал об этом времени. Однажды, много лет спустя, он, придя навестить отца, не застал его дома. Сестра усадила Ричарда в столовой, где как раз накрывали к обеду, и он с чувством воскликнул: «Ах, как славно перенестись мечтой в старое доброе время: я сижу за этим столом с Чарлзом и моими сестренками, а отец оглядывает нас всех и произносит свой любимый тост: «За здоровье, сердечность и домашний очаг!»

ГЛАВА 2

ДЕТСТВО

Ричард Бринсли Шеридан родился в Дублине, в доме № 12 по Дорсет-стрит, по-видимому, в самом конце сентября 1751 года. День и даже месяц его рождения с точностью не установлены. Хотя при крещении младенец был назван Томасом Бринсли, родители вскоре передумали и назвали его Ричардом в честь одного из его дядюшек.

Ричард был третьим по счету ребенком в семье. Первенец, Томас, родился в 1747 году, но в 1750 году умер. Чарлз Фрэнсис родился в июне 1750 года. После Ричарда появились на свет Алисия, впоследствии миссис Джозеф Ле Фаню; Сэкивил, родившийся и похороненный во время театральных беспорядков 1754 года, и, наконец, Эни Элизабет Хьюм Крофард, родившаяся в Лондоне в 1758 году и вышедшая впоследствии замуж за Генри Ле Фаню — брата ее зятя.

Дик¹ и Лисси начали свое образование под руководством учителя Сэма Уайта, чьим заботам поручили этих двоих родители, беспрестанно кочевавшие в ту пору с места на место. Уайт, внебрачный сын дяди миссис Шеридан, открыл на улице Графтон-стрит в Дублине школу с громким названием «Семинария для обучения юношества», куда и были определены оба ребенка, сначала как приходящие ученики, а потом как воспитанники, живущие при школе. Директор школы был давним и горячим поклонником Шеридана-отца. Стоило Шеридану заняться грамматикой, как Уайт немедленно последовал его примеру. Подражая своему патрону, Уайт устраивал литературные собрания, читал лекции об ораторском искусстве и сочинил несколько трудов, которые и издал за счет своих учеников.

За время учебы в семинарии Дик не проявил больших способностей и весело коротал время, вышучивая устно и письменно своих учителей и товарищей. Однако мальчик отнюдь не был тупым учеником: он сделал кое-какие успехи во французском, хотя и произносил французские слова на английский манер. Осенью 1759 года родители взяли его к себе в Лондон, и он три года наслаждался жизнью дома, в кругу родных. Этот сорванец обижался и негодовал, видя, как отец оказывает явное предпочтение своему любимчику — Чарльзу, чья «усидчивость и склонность к кабинетным занятиям» позволяли ему постоянно жить дома и чье прилежание уже возвело его на лекторскую кафедру отца, с которой он самозабвенно читал обращение Евы к Адаму из мильтоновского «Потерянного рая», в то время как празднично одетые Дик и Лисси слушали его из первого ряда.

В 1762 году Дика приняли в аристократическую школу в Харроу, директор которой Чарльз Самнер разделял интерес Шеридана-старшего к тонкостям английского произношения. В ту пору это привилегированное учебное заведение имело вид сельской классической школы, окруженной немногочисленными зданиями пансионов для живущих учеников. Поначалу мальчику жилось в Харроу невесело: школьники дразнили его как сына актера; он часто плакал, был уныл и подавлен. Дик почти не видел своих родителей, которые не брали его на каникулы и не снабжали карманными деньгами. Но вскоре он сошелся со своими соучениками и с жаром включился в их игры, забавы и развлечения. Его школьными друзьями были Джонс и Холхед, а также Гренвилл, Хорн и Каммингс, о которых не известно ничего, кроме их фамилий. Учился Дик с ленцой, зато блистал там, где не требовалось зубрежки; шалун и озорник, он обладал ирландским обаянием, благодаря которому завоевывал любовь приятелей и обезоруживал разгневанных учителей, понав в очередную пере-

¹ Дик — уменьшительное от Ричард.

делку. На чердаке школы он устроил склад яблок, для пополнения которого совершал набеги на все сады в округе.

В Харроу наставником Дика был Парр, тот самый Парр, который впоследствии прославится как вигский доктор Джонсон, будет писать ученые трактаты и обучать латыни леди Байрон. Парр был одним из последних столпов классической филологии, педантски полагавших, что безукоризненное знание греческой и латинской грамматики и хорошее знакомство с греческими и латинскими классиками дают право на всеобщее уважение и бессмертную славу.

Парр пытался отучить нерадивого ученика от привычки бездельничать, но познания Дика в греческом, равно как и его прилежание — увы, по-прежнему — оставляли желать много лучшего. Lentя то и дело вызывали делать грамматический разбор, причем ставили прямо у директорского стола, чтобы до него не долетали голоса подсказчиков. Удивительно, что он все же отличился в чтении наизусть одной древнегреческой речи. Речь эта, принадлежащая Демосфену, произносится от имени полководца: Демосфен участвовал в сражении при Херонее и бежал с поля боя. И вот Дик, не долго думая, заказал портному ярко-красную, расшитую золотом форму английского генерала и, облачившись в это ослепительное великоление, оказал, конечно, честь британскому мундиру. (Получив счет от портного, дядюшка Дика, доктор Ричард Чемберлен, который оплачивал расходы племянника, отчитал его за эту неожиданную расточительность.)

Тем не менее Дик зачитывался Вергилием, Лукианом, Луканом; его успехи не бросались в глаза, но вкус его мало-помалу улучшался.

Время от времени Дика навещала в Харроу одна из сестер; она торжественно декламировала у него в комнате «Оду в честь святой Цецилии» Драйдена, следуя строгим указаниям отца:

*«Смелость берет города,
Смелость берет города,
Смелость берет города.»*

Но с каким бы чувством и мастерством ни читала ему все это сестра, Ричарду были чужды ученические амбиции.

Он относился к жизни легко и весело и не испытывал ни малейшего желания чрезмерно утруждать свою голову. Когда же семнадцатилетним юношей он вернулся домой, на Фрит-стрит, во всеоружии своего ирландского обаяния и хороших манер, приобретенных в Харроу, он стал в глазах сестры воплощенным молодым героем. «Я восхищалась им, — признавалась впоследствии Алисия. — Я почти обожала его».

Школьный приятель Дика Наташиэл Брасси Холхед в письмах к нему смиренно выносил на его суд свои литературные опыты, при-

знаваясь, что самому ему недостает «здорового смысла, вкуса, тонкости и выдумки». Всеми этими качествами, по убеждению Холхеда, был в высшей степени наделен его товарищ, которого, однако, он не забывал упрекнуть за грамматические и синтаксические ошибки.

Образовав литературное содружество, они создали оперный бурлеск «Юпитер» (зародыш будущего «Критика») и сделали стихотворный перевод любовных эпистол малоизвестного и сомнительного греческого поэта Аристенета, увидевший свет в августе 1771 года. Эпистолы получили благожелательную оценку рецензентов, но не обогатили переводчиков.

Одновременно с этим Шеридан сочинил, уже не в сотрудничестве с Холхедом, а самостоятельно, несколько произведений в стихах и прозе: инсценировку-скетч по «Векфильдскому священнику», еженедельный журнал «Альманах Эрнана» в духе «Зрителя», ряд эпиграмм и две рифмованные сатиры — «Клио протестует» и «Вечер музыки и танцев в Бате». Сборник стихов на случай и томик «Безумных историй» погибли в первых набросках. Воспитанный на поэзии Горация, Теокрита и Анакреона, молодой автор увлекался сардонической прозой Лукиана, любил Драйдена и прямо-таки бредил лирикой шестнадцатого века. Миниатюрная лира Шеридана издавала мелодичные звуки, о чем свидетельствуют его причудливые любовные песни.

Парр настойчиво убеждал Шеридана-отца послать Ричарда для продолжения образования в Оксфорд, но родитель ссылался на бедность. Впрочем, из этого еще не следовало, что он не думал о будущем своего сына. Как раз тогда он тщательно разрабатывал свой план усовершенствования образования; его план был опубликован в 1769 году вместе с посланием к королю, в котором автор изъявлял готовность всецело посвятить себя выполнению этого плана, если ему будет назначена пенсия, достаточно большая для того, чтобы он мог оставить театр. Внутреннему взору этого неисправимого оптимиста ясно представлялась школа-академия, в которой он будет руководителем, а его сыновья — преподавателями, и в ожидании скорого претворения этой мечты в жизнь он каждодневно обучал Чарлза и Ричарда ораторскому искусству. В то же время некий Льюис Кер, человек напыщенный и скучный, давал им уроки латыни и математики. Завершали свое классическое образование они в расположенных по соседству школах фехтования и верховой езды старика Анджело. Дик обучал Анджело-младшего риторике, расплачиваясь таким способом за фехтовальные уроки Анджело-старшего.

Король остался глух к призыву реформировать образование, и Шеридан-отец переселился в 1771 году в Бат, где продолжал упорно трудиться над своим словарем, который в конце концов увидел свет в 1780 году.

«Помилосердствуйте, сударь, — заявил доктор Джонсон Босуэллу, который пытался защищать предложенный Шериданом метод обозначения произношения гласных, — ну посудите сами, насколько легче учить язык на слух, нежели по каким-то там значкам. Может, Шериданов словарь не так уж плох, но ведь нельзя же постоянно носить его с собой; когда вам понадобится найти слово, под рукой у вас не окажется словаря. Это все равно что вооружиться шпагой, которая не вылезает из ножен. Будь это самая замечательная шпага, вы не сможете воспользоваться ею, и противник преспокойно перережет вам горло.

Да и вообще, сударь, какое право имеет Шеридан определять произношение англичан?»

ГЛАВА 3

ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ

Субботним утром 19 января 1771 года, примерно в половине двенадцатого, на улицах Бата можно было увидеть беззаботного молодого человека, который неторопливо шагал в сторону заведения Симпсона — одного из двух общедоступных курзалов города, пользовавшихся большой популярностью. Треугольная шляпа с поднятыми полями и алый камзол, черные пронизательные глаза, румяные щеки и полные губы — вот беглый портрет нашего молодого человека. Впрочем, выражение этого лица составляет известный контраст с его юношеской свежестью: похоже, молодой человек исподтишка внимательно наблюдает за всем, что происходит вокруг. Юноша оглянулся по сторонам и ускорил шаг: еще несколько минут, и он услышит божественный голос той, кто уже стала предметом его тайного обожания и кого он предпочитает всем женщинам, всем певицам мира.

Он направляется в концертный зал, где сегодня в программе «Классические развлечения» — декламация и лекция его отца об ораторском искусстве, «читаемая с целью совершенствования человеческой природы». Бедный старина Шерри, именно так он представлял себе «классические развлечения». Его искусство, звучное и строгое, принадлежало к старой школе, а его голос, обращаемый к толпе любителей удовольствий, был гласом вопиющего в пустыне. Привлечь внимание публики к искусству красноречия помогли бы, конечно, юность, блеск, красота, и вот Шеридану повезло найти все эти качества в лице Элизабет Энн Линли, одаренной старшей дочери музыканта Томаса Линли, занимавшегося постановкой ораторий в провинциальных концертных залах, а в тот момент — устройством концертов в Бате.

Ей только что исполнилось шестнадцать лет. И хотя она вот уже четыре года пленяет публику и приковывает к себе грубые взоры мужчин, она остается «скромнейшим, приятнейшим и нежнейшим цветком» в саду Природы, как охарактеризовал ее сластолюбец Уилкс во время обеда в семействе Линли. Она шла тернистым путем, но ни капельки грязи не пристало к ней. Само воплощение чистоты и красоты, она посвящала свое искусство великому Генделю — тому самому Генделю, фразу из которого пропела ее сестра Мария в свой смертный час; которого чтил и популяризировал ее отец и в честь которого он нарек Георгом Фридрихом своего старшего сына. Ее мелодичная речь лилась как музыка, а сама она словно излучала вокруг себя сияние. Впоследствии один епископ назовет ее связующим звеном между смертными и ангелами. Видный государственный деятель, утверждавший то же самое, засиживался до глубокой ночи, слушая ее пение. Сам король ловил каждую модуляцию ее голоса. А ее чистый голос был как бы символом ее самой.

Современники дружно превозносили ее, состязаясь в гиперболах. Музыкант Джексон из Эксетера говорил, что, «когда она поет, лицо ее принимает совершенно неземное выражение». При виде этой Миранды пристыженно смирялись Калибаны¹. Постоянно злобствовавший Пасквин проникся благоговейным почтением к ее особе. Когда много позже, в 1784 году, она помогала Фоксу проводить предвыборную кампанию в Вестминстере², неизвестные пасквильянты не только пощадили ее, но и смолкли в восхищении перед ней. Чары Леоноры превращали порок в добродетель, гнусность — в благородство. Ее принимали за образец.

Элизабет излучала очарование, ее присутствие освещало все вокруг. В течение 1770 года она дважды или трижды цела в Оксфорде и совершенно покорила весь город. Само имя ее было окружено ореолом. Когда распространились слухи, будто бы она сбежала в Шотландию с мужчиной, имеющим трехтысячный доход, это повергло всех в ужас. Молодые и рыцарские сердца видели в ней небесное, эфирное создание, «звезду исключительной яркости», ослепительно сияющую среди туманов, коими окутана ее профессия. Слушатели как замороженные внимали звукам ее трогательного голоса:

«О, гармоничное созданье,
Как чужд ее душе разлад,
Как слитны голос и сознанье,
Исток возвышенных услад».

¹ Персонажи шекспировской «Бури». Калибан, плод союза ведьмы и дьявола, получеловек-полузверь, оплатил прелестной Миранде за то, что она дала ему первое познание окружающего мира, гнусным покушением на ее честь.

² Здесь — избирательный округ в Лондоне,

Автор песен Дибдин¹ утверждал, что лучше всего передают впечатление от ее пения следующие слова Комуса²:

«Возможно ли, чтоб кто-нибудь из смертных
Вселял в сердца столь упоительный восторг?
Нет, нет, в груди ее живет небесный дар.
Он ликованьем полнит звуки пенья,
Являя нам себя божественным экстазом».

В семье, все члены которой были людьми искусства, она выделялась как художественная натура. Она не только пела, но и прекрасно рисовала, как ее сестра Мэри; писала прелестные стихи, как ее брат Уильям; была виртуозным музыкантом, как ее отец и брат Томас; замечательно владела искусством мимики и перевоплощения, как ее будущий муж. Гейнсборо постоянно рисовал ее, писал с нее картины, дважды лепил из глины ее головку. Другим ее ревностным поклонником был Озайес Хэмфри — художник, живший в западной части Англии, а сэр Джошуа Рейнолдс, которого никак нельзя было упрекнуть в излишней восторженности, запечатлел на своих полотнах глубокое восхищение ею. Не говоря уж о том, что он дважды изобразил ее в образе святой Цецилии, он избрал ее в качестве модели для фигуры милосердия, украсившей окно Нового колледжа в Оксфорде, и для фигуры богородицы в своей картине «Рождение Христа».

Как некогда Пенелопу, ее осаждал рой поклонников. В нее были открыто влюблены десятки мужчин. Список влюбленных включал в себя Чарлза Шеридана, брата нашего героя, и Натаниэла Холхеда — старого приятеля Ричарда, учившегося с ним в Харроу. «Потрясенный, я оцепенел, — признавался со вздохом Холхед после ее выступления. — От восторга я лишился дара речи». С той минуты ее образ поселился у него в сердце.

Ричард, пока еще не разобравшийся в собственных чувствах, уговаривал своего столь впечатлительного друга не поддаваться чарам. Холхед кончил тем, что очертя голову уехал в Индию; очутившись наконец в этой сказочной стране, он настойчиво призывал приятеля последовать его примеру...

Чарлз, благоразумный и осмотрительный даже в двадцать два года, по зрелом размышлении решил, что его привязанность к мисс Линли навверняка принесет ему больше беспокойства, чем счастья, и, написав ей в официальном тоне прощальное письмо, уехал жить на ферму в нескольких милях от Бата. Но Холхед и Чарлз, во всяком случае, имели честные намерения.

¹ Чарлз Дибдин (1745—1814) — известный английский поэт и композитор, автор многочисленных песен.

² Комус — персонаж одноименной драматической поэмы Джона Мильтона.

В минувшем году мисс Линли оказалась замешанной в сенсационную историю, которая до сих пор волновала весь Бат. К числу ее поклонников прибавился сквайр Уолтер Лонг из Уилтшира, владелец обширных поместий и потомок древнего рода, но при этом человек старый, злой, невоспитанный и жадный. Миссис Линли убеждала дочь идти за него замуж, но Элизабет противилась ее воле. Как раз в это время у нее завязалась опасная дружба с капитаном в отставке Мэтьюзом, женатым повесой, который знал ее совсем маленькой девочкой, продававшей из корзинки концертные программы. Вплоть до достижения совершеннолетия она считалась как бы подмастерьем, находящимся в учении у своего строгого отца, которого, впрочем, она нежно любила. Ее талант уже начал приносить семье годовой доход в размере тысячи фунтов стерлингов; возросшее благосостояние позволило семейству Линли перебраться из маленького дома на Пирпойнт-стрит в один из больших особняков в новом районе Кресент. Если уж она должна будет прекратить выступления, то только выйдя замуж за богатого человека. И вот ей уже подарены в знак любви бриллианты, шьется подвенечное платье, составляется брачный контракт.

Капитан Мэтьюз допрашивает свою маленькую любимицу, la petite Rossignol¹, и та признается ему, что ее собираются заживо похоронить, выдав замуж за этого «дряхлого, замшелого, неряшливого, шаркающего, жадного до денег, лечащегося водами, омрачающего радость, влюбчивого старого сквалыжника». Миссис Линли спешит утешить дочь. Она убеждена, что в груди у той таится низкая и жалкая страстишка. «Десять тысяч в год! Такому жениху не отказала бы ни одна невеста в городе!»

«Скажи лучше — такому богачу», — парирует мисс Линли.

«Ну, и что такого? — отвечает ей мать. — Кто же в наше время не поровит выйти за богача? Разве ты отказалась бы от имени только потому, что оно заложено? Ты просто должна смотреть на жениха как на своего рода закладную». Затем мать напоминает дочери, что все ее богатство — смазливое личико да умение распевать баллады и что она к тому же обязана содержать родных...

Неизвестно, что было тому причиной: слезы и мольбы девушки, протесты и увещевания родственников Лонга или же, как утверждали, отказ невесты провести ночь в доме жениха до свадьбы, — но так или иначе эта помолвка шестнадцатилетней с шестидесятилетним внезапно расстроилась, и разъяренные родители грозились подать в суд на развратника жениха. Элизабет, которой вовсе не хотелось, чтобы ее имя склоняли на все лады, боялась теперь, как бы не получило огласки ее письмо к Мэтьюзу, к которому она не могла не питать чис-

¹ Соловушка (франц.).

той, но пылкой привязанности. Сэмюэл Фут, комедийный актер и сам сочинитель комедий, человек совершенно одиозный, для которого не было ничего святого, случайно оказался в Бате в разгар всех этих событий и сразу же почувствовал возможность обыграть их в пьесе. И вот за год он состряпал на материале всей этой истории комедию «Батская дева», в которой вывел на потеху лондонской публике невинную девушку, предприимчивую мамашу, волокиту капитана и скупердяя жениха. Дэвид Гаррик написал пролог, где сравнивал Фута с Джеком — победителем великанов¹, а Лонга — с чудовищем, вознамерившимся пожрать юную и нежную девственницу:

«Ату! Вперед, вперед — по следу лиходея;
Затравим волка мы сейчас, матерого злодея.
Коли нельзя стрелять зверье в обличье человечьем,
Хоть припугнем волков — и от беды спасем овечек».

Припугнутый Лонг заплатил большое отступное. Он позволил Элизабет сохранить его подарки и презентовал ей три тысячи фунтов, которые были положены на ее имя впредь до достижения ею совершеннолетия. От половины этой суммы она сразу же отказалась в пользу отца. Лонга клеймил весь Бат, весь Лондон; он так и остался пригвожденным к позорному столбу, как сквайр Соломон Флинт. А бедную мисс Линли, известную дотоле под такими именами, как Коноплинка², Соловей, Сирена, стали теперь повсюду величать, в соответствии с заглавием комедии, Злосчастной девой из Бата — города свлетников! И сама она и соболезнующие подружки проливали по этому поводу потоки слез; особенно часто поверяла она свои печальные сердечные тайны двум новым подругам — сестрам Шеридана: Лисси, которая была на год старше ее, и Бесси, которой шел тринадцатый год.

Несмотря на огорчения, Элизабет продолжала выступать, оказывая помощь отцу-латинисту в устройстве по четвергам и субботам «классических развлечений». Наш мастер художественного слова, как обычно, выступает с чтением, а мисс Линли поет. Сегодня, 19 января, Томас Шеридан читает отрывки из поэм Мильтона, Голдсмита и Попа, а Линли поет «Беседку из роз» Пёрселла, «Чернооую Сюзанну» и шотландскую балладу.

Но пока мисс Линли выводит трели, а ее воздыхатель зачарованно слушает, мы совершим короткую прогулку по Бату, как ни трудно нам расставаться со «святой Цецилией» и ее менестрелем.

Громкий звон колоколов аббатства оповещает всех и каждого о прибытии в Бат Хораса Уолпола и ее светлости маркизы Солсбери.

¹ Герой английских народных сказок.

² По созвучию фамилии Linley и слова linnet — коноплинка.

Больные на водах любят новости. Заслышав звон, они посылают узнать, в чью это честь ударили в колокола. Впрочем, колокольным звоном встречают в Бате всех новоприбывших, даже мистера Буллока — знатного скотовода из Тоттенхэма, приехавшего лечиться водами от несварения желудка.

Бат — это гостиница в духе восемнадцатого века. Здесь толпятся люди всякого звания: аристократы и моветоны, священники и члены парламента, вельможи в лентах и звездах, мошенники, герцогини, квакеры в темно-серых одеяниях, охотники за приданым, лакеи, гладко причесанные методисты, клерки и капитаны, ростовщики, маклеры, епископы и учительницы, граф Фердинанд Фэтом, а также милорд Огтли, леди Белластон, Джеффри Уайлдгуз, коммодор Траннион и сапожник Тагуэлл, Лисмахаго и Табита Брамбл. И уж наверняка вы повстречаете здесь миссис Кэндэр и леди Спируэл, сэра Бенджамена Бэкбайта и его дядюшку Крэбтри, ибо Бат — их родная стихия¹. Да ведь, в сущности, они — уроженцы Бата.

Люди едут в Бат лечиться от подагры, от ипохондрии, от всевозможных действительных или воображаемых болезней или же, как, например, наша курортница, чтобы не отстать от моды. Одни приезжают в почтовой карете, другие верхом, третьи в собственном экипаже.

Они прибывают в добром здравии и возвращаются домой исцеленными. Выражение «отправляйся в Бат» означает «ты с ума спятил». Обитателям Бата не нужно топить камин, разве что для уюта: их ведь согревает горячая вода бьющих из-под земли источников. Ничего другого, кроме этой воды, в Бате не пьют, причем, судя по тому, сколько ее поглощают, пить ее — сущее удовольствие.

Это поистине жемчужина среди курортов, рай земной для впечатлительных и восторженных барышень — новый мир, где царят веселье, радость и нескончаемые развлечения. С утра до вечера наванивают веселые колокола. В зале для питья минеральной воды все утро звучит музыка, перед полуднем оркестр играет котильоны, дважды в неделю задаются балы, через день устраиваются концерты, а частным сборищам и вечеринкам нет числа. Как только гости устроятся на новом месте, им напесет визит церемониймейстер — приятный, милый джентльмен, такой деликатный, такой изысканный,

¹ Фердинанд Фэтом — герой романа Т. Смоллета «Приключения графа Фердинанда Фэтома», милорд Огтли — персонаж пьесы Д. Гаррика и Дж. Колмена «Гайная женитьба», леди Белластон — персонаж романа Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденныша», коммодор Траннион — персонаж романа Т. Смоллета «Приключения Перигрина Пикля», Лисмахаго и Табита Брамбл — персонажи романа Т. Смоллета «Путешествие Хэмфри Клинкера», миссис Кэндэр, леди Спируэл, сэр Бенджамен Бэкбайт и Крэбтри — персонажи «Школы злословия».

такой учтивый и любезный, что в любой другой стране он сошел бы за принца Уэльского.

Часов в восемь утра новоприбывшая курортница в домашнем платье направляется в зал для питья минеральной воды, где народу — как на ярмарке. Знатные особы и простые ремесленники без всяких церемоний толкуются здесь бок о бок, приветствуя друг друга как близкие друзья-приятели. В первый день пребывания на водах от громкой музыки, льющейся с галереи, духоты и давки, нестройного шума голосов и гомона толпы у нашей курортницы разболелась голова и началось головокружение, но со временем все это стало для нее привычным и даже приятным. Прямо под окнами зала для питья минеральных вод расположена Королевская водолечебница — огромный бак, в котором пациенты сидят по шею в горячей воде. Под звуки музыки наша курортница переходит в водолечебницу; прислужницы вручают ей плавающую деревянную тарелочку, в которую она складывает носовой платок, табакерку, букетик цветов и несколько мушек, хотя из-за испарины мушки держатся здесь хуже, чем хотелось бы.

Водолечебница невелика и грязновата, но заполняет ее довольно веселая публика. Костюмы дам уродливы и неприличны. Они одеты в коричневые полотняные жакеты и юбки, на головах у них неказистые простые шляпки, к которым многие прикрепляют носовые платки, чтобы было чем стереть пот с лица. Но, что бы ни было тому виной — клубящийся вокруг пар, горячая вода, неприятельность одеяния или все это вместе, — у дам такой разгоряченный и непривлекательный вид, что мы невольно отводим глаза в сторону. Фэнни Бёрни была поражена зрелищем дам в водолечебнице, публично демонстрирующих себя в столь неподобающем виде; правда, головы у них покрыты для приличия какими-то капорами, но есть что-то непристойное в самой мысли о том, что всякий, кому заблагорассудится, может увидеть тебя в подобном положении.

Наша курортница — возможно, одна, без провожатых — прохаживается после ванны по водолечебнице, слушает музыку и обменивается шутками в раблезианском стиле с курортными знакомыми. Через час она посылает за своим портшезом (наглухо закрытым, если она стара, безобразна или сверх меры стыдлива, и искусно открытым для взоров, если она хорошо сложена) и возвращается домой, в свое временное пристанище. Затем наша курортница снова появляется в зале для питья лечебных вод (между прочим, все еще в домашнем платье), чтобы выпить кружку-другую минеральной, посплетничать да поиздеваться над покроем платья и наружностью разных личностей в этой пестрой, неопрятно выглядящей толпе.

По соседству с залом для питья минеральной воды находится кофейня, посещаемая только дамами, куда, однако, не допускают

юных девиц, поскольку разговоры там касаются политики, последних сплетен, философии и прочих материй, недоступных их пониманию.

Днем наша курортница может поприсутствовать на богослужении в аббатстве, потом пообедаст и выйдет прогуляться по городу. Она увидит красивые, тенистые аллеи; пруды, в которых плещется рыба, и лужайки для игры в шары; аккуратно подстриженные живые изгороди из тиса; террасы и лестницы, выложенные для оживления пейзажа красивым камнем, свинцовые вазы и садовую скульптуру. Все вокруг радует взор красотой. Город раскинулся среди крутых холмов, причем утопающие в зелени дома так тесно лепятся друг к другу в долинах меж склонов, что кое-где, перейдя улицу, можно попасть с первого этажа особняка на одной стороне прямо на чердак особняка напротив. Короче говоря, Бат выглядит поистине как город дворцов, как город на холмах, как россыпь городков.

Ценители искусства приезжают в Бат послушать музыку Линли, поэты ищут вдохновения на берегах Эйвона, а сентиментальные девицы со своими возлюбленными ищут тишины или легкого сна, которым, как уверяет Уордсворт, так легко забыться среди холмов уединенных.

К числу излюбленных и посещаемых публикой мест относятся лавки книгопродавцев, где можно сколько угодно наслаждаться чтением романов, пьес, памфлетов и газет за самую умеренную подписную плату — одну крону в квартал; именно сюда, в эти святилища общественной информации, прежде всего поступают все последние новости дня, все сообщения о частных делах жителей и посетителей Бата и подвергаются здесь подробному обсуждению. (Новости из Бата занимают в лондонских газетах больше места, чем сообщения из американских колоний или из Европы.) После лавки книгопродавца мы заглянем в лавки торговцев галантерейными товарами и игрушками и посетим кондитерскую Гиллса, где полакомимся джемом, пирожным или порцией вермишели. Если у нас есть свободное время, мы, быть может, еще зайдём в знаменитую булочную Сэлли Ланн на Лилипут-элли или же присядем к столу и напишем письмо внуку либо кузену. Затем, если мы пописываем стишки, мы отправимся в Батеастон — заведение Сафо Миллер (белокурой, полной сорокалетней дамы, несколько вульгарной и жеманной, но с добрым сердцем), где в саду, пейзаж которого должен слегка напоминать лондонскую улицу, пышнотелая Царица муз, только что вернувшаяся из поездки по Европе, проводит конкурс поэтов под названием «Парнасская ярмарка» и увековечивает победителя миртовым венком. (Весь сбор поступает в пользу благотворительных учреждений Бата.)

Вечернее время после чая можно посвятить визитам, а закончить день, как и в Лондоне, картами, танцами или театром.

«Как поживаете?» — звучит в Бате по утрам, «какие козыри?» — весь остаток дня.

Средоточием всяческих увеселений в Бате являются два курзала, в которых ежевечерне (сегодня в одном, завтра в другом) собирается курортное общество. Это просторные и высокие залы, которые выглядят при зажженных канделябрах весьма импозантно. Их обычно заполняет хорошо одетая публика; одни компании усаживаются пить чай, другие — за карты; некоторые прогуливаются, иные сидят и беседуют; в общем, каждый развлекается как умеет. Дважды в неделю даются балы, расходы по устройству которых оплачиваются по добровольной подписке среди джентльменов, причем каждый жертвователь получает три входных билета. Кого только мы не увидим здесь на балу: светских львиц всех возрастов, приехавших блистать своей красотой; девиц и вдовушек, мечтающих обзавестись мужем, и замужних дам, мечтающих вознаградить себя за то, что им достались скучные мужья; актеров, музыкантов, игроков, простаков, мошенников, неотесанных сельских сквайров и начинающих франтов. Шотландские пары толкают локтями мулатов с острова Сент-Кристофер, полковник танцует с дочерью торговца скобяными товарами из лондонского предместья, а хозяйка гостиницы из Уэппинга смущает пристальным взглядом аристократа. Паралитик-адвокат едва не сбивает с ног лорда-канцлера, а церемониймейстер принимает служанку графини за знатную леди.

«Вы танцуете нынче, милорд?— Нет, мадам, не танцую.

— Ах, вы правы: какой же резон танцевать в духотищу такую!»

Кругом царят путаница, неразбериха, полная непринужденность. Кого не видно в толпе, заполняющей галерею, так это больных; если они тут и присутствуют, то у них явно нет болезней, способных испортить удовольствие.

Общество в Бате живет дружно, как одна большая семья. Все курортники видятся каждый день, запросто общаются. Люди, которых в Лондоне разделяет непроходимая социальная пропасть, держатся здесь друг с другом совершенно на равной ноге; однако нет никакой необходимости узнавать в Лондоне, где-нибудь на Мэл¹, субъектов, с которыми вы, быть может, обменивались любезностями в водолечебнице Бата. Да и то сказать: два человека, живших в Бате или Танбридже прямо-таки душа в душу, через двадцать четыре часа так прочно забывают свою дружбу, что, повстречавшись в парке Сент-Джеймс, проходят мимо, не удостоив друг друга кивком. Взять к примеру Джорджа Селвина. Очутившись в Бате в пору, когда там почти не было курортников, он часто коротал время в обществе ка-

¹ Одна из аллей в лондонском парке Сент-Джеймс.

кого-то пожилого джентльмена, с которым водил знакомство просто от скуки. Через некоторое время, в разгар лондонского сезона, Селвин носом к носу столкнулся со своим батским знакомым на аллее парка Сент-Джеймс. Он попытался проскользнуть мимо незамеченным, но не тут-то было. «Как?! Вы не помните меня?» — воскликнул возмущенный провинциал. «Отлично помню, — отвечивал Селвин, — и, когда я в следующий раз поеду в Бат, я буду счастлив снова познакомиться с вами».

Религия, так же как и дружба, не в чести у курортников Бата. Правда, они ежедневно бывают в церкви, но при этом даже не пытаются скрыть тот факт, что ходят сюда, чтобы повидаться с возлюбленными, назначить свидание, передать любовное письмо.

В Бат приезжают, в общем-то, не за тем, чтобы поправить здоровье с помощью ванн да лечебных вод. На самом деле сюда приезжают в поисках всевозможных удовольствий. Кроме того, Бат — это ярмарка слегка поблекших женихов и перезрелых невест (французы называют таких *Pêches à quinze sous*¹), которые уже не пользуются спросом на других таких же ярмарках. Охотники за приданным стекаются сюда искать богатых невест, девицы — ловить женихов. Игра ведется честно, в открытую. Даже сам доктор Джонсон писал миссис Трейл, что Бат представляет собой подходящее место для того, чтобы ввести в общество молодую леди, и что каждый сезон в Бате обязательно приводит к заключению многих и многих браков.

Впрочем, даже больше, чем заключению браков, атмосфера, царящая на водах, благоприятствует любовным интрижкам, волокитству и вольности нравов. Никогда еще Амур не видел такого расцвета своего царства, как здесь, в Бате. Те, которых его стрела пронзила еще до приезда сюда, ощущают новый прилив нежной страсти, а те, кто, казалось бы, никак уж не настроен на любовный лад, теряют всю свою строгость и становятся другими людьми.

«Вот Ромео мой подходит.

Он меня в беседку вводит.

Там, в тиши, наедине

Шепчет нежности он мне».

Молодые люди приезжают сюда, чтобы пройти курс науки обольщения. Начинающий ловелас Джон, который в соответствии с тщательно разработанной программой уже проходил обучение в Астропе, Бери, Эпсоме, Скарборо и Танбридже, считает сезон в Бате необходимой последней подготовкой к дебюту в великосветском Лондоне.

«Был богатым юнцом макарони я,
Жить в мансарде теперь мой удел.

¹ Персики по пятнадцать су.

Промотался вконец — вот ирония! —
И совсем я, совсем поседел.

Мой портной себя держит надменно,
А хозяйка — та волком глядит,
И камзол мой, скажу откровенно,
Расползтись по всем швам норовит.

Поспешу к твоим водам я, Бат.
Здесь веселье, безделье, романы,
Много лакомств, а тем, кто богат,
До конца тут очистят карманы».

Более примечательными фигурами, чем все эти приезжие курортники, являются несколько глубоких стариков, которые любят танцевать контраданс и есть за завтраком теплые булочки с маслом. Они ухитряются жить мафусаиловы лета исключительно благодаря тому, что постоянно ведут активный курортный образ жизни; на балах они кружатся в танцах с такой удалью, что просто нельзя поверить, что они еще танцевали куранту в эпоху реставрации Карла II. За примером недалеко ходить. Вот один такой долгожитель (ему пошел девяносто седьмой год), который утверждает, что он ни разу в жизни не болел и не истратил ни единого пенса на лекарства; поистине железное здоровье ему удалось, по его убеждению, сохранить в силу полнейшего своего безразличия к общественным делам и судьбам своих друзей. Слава богу, у него всегда есть свежая пара перчаток да приличная пара бальных туфель, и посему ему мало дела до того, кто правит сейчас Англией и кого из его родственников женят или, напротив, вешают. Но чем меньше он интересуется общественными делами, тем усерднее он посещает места, где собирается общество. В мае он едет в Бат, в июле — в Таунбридж, в сентябре — снова в Бат, где и остается до конца парламентской сессии. Бледнолицые, малокровные девы души в нем не чают: уж он-то как следует потискает партнершу во время танца с поцелуями! Но не торопитесь сделать на основании этого вывод, что перед нами воплощенное великодушие или, наоборот, гнусный порок. Нет, он совершенно безобиден. Матери смело оставляют своих дочерей наедине с ним в темноте. Невинные девицы весело играют с ним, а замужние дамы советуются о фасоне кружев и палантинов. Завистники зовут его дамским угодником и злорадно шепчут ему на ухо:

«Угодник дамский, шут бесполой!
Не страшен женскому ты полу» и т. д. и т. д.

Таково батское общество. Во внутренних дворах гостиниц «Медведь», «Белый олень» и «Три бочки» не смолкает цокот копыт и грохот колес: постоянно кто-то приезжает, кто-то уезжает. Извозчий двор Скрейса, как всегда, оказывает содействие тайным побегам, а кондитер Гиллс предоставляет приют влюбленным парочкам, как постоянным, так и случайным.

Бат — это одновременно и миниатюрное отражение Лондона и репетиция его светской жизни. Оба эти города, и особенно Бат, насквозь пронизывают собой жизнь и творчество Шеридана. Ведь именно в Бате почерпнул Шеридан жизненный материал, положенный им в основу своих пьес, именно там оттачивал он на вечерах и балах свое остроумие, именно там приключились события, определившие его судьбу. Все персонажи его пьес несут на себе печать Бата. В «Соперниках» Бат изображен юмористически, в «Школе злословия» — сатирически (хотя номинально действие пьесы происходит в Лондоне), в «Дуэнье» тоже воспроизведена атмосфера Бата.

На оживленных улицах Бата будущие действующие лица комедий Шеридана встречаются нам на каждом шагу: вон злословят сплетники, покачивая головами; вон офицеры, которым случалось драться на дуэли; вон Лидия Лэнгвиш, опустошающая библиотеки. А вот, посмотрите, миссис Малапроп безбожно коверкает «всякие остроумные эпитафии», сэр Люциус ищет случая найти применение своим дуэльным пистолетам, маленькая служанка шныряет туда и сюда с «Записками Делии» и «Нарушенными клятвами» под мышкой. И уж конечно, по фешенебельной эспланаде, среди щеголей и фатов, нередко прогуливается сам Шеридан, который впитывает в себя все, что происходит вокруг.

Но в этот миг он с восторгом думает о том, насколько все-таки превосходит эту мисс Уоллер сладкоголосая Коноплянка, поющая сейчас балладу Пёрселла «Безумная Бесс», которой и завершается смешанное представление.

ГЛАВА 4

СИЛЬВИО И ЛАУРА

*Романтическая комедия
в четырех действиях
и пяти картинах*

Действие первое. Побег.

Действие второе. Дуэли.

Картина первая. Лондон. У дверей Мэтьюза.

Картина вторая. Гайд-парк и таверна «Замок». Майский вечер.

Картина третья. Бат. В гроте.

Картина четвертая. Будуар мисс Линли.

Картина пятая. Кингсдаун-хилл. Июль. Три часа утра.

Действие третье. Размолвка.

Действие четвертое. Женитьба.

Время действия: романтический век.

Место действия: Европейский континент,

Бат и Лондон.

Действующие лица

Мужчины

Герой — Ричард Бринсли Шеридан.

Злодей — капитан Мэтьюз.

Отец-латинист

(«Старый ворчун») —

Томас Шеридан

(автор «Плана усовершенствованного образования для дворянских детей»).

«Старый деспот» —

Томас Линли, музыкант.

Чарлз Сэрфес — Чарлз Шеридан.

Секунданты, врачи,

друзья

и т. д. и т. д.

Женщины

Героиня — Элизабет Линли
(Красавица в беде).

Ее поверенные —

Алисия Шеридан,

Элизабет Шеридан,

сестры героини

и т. д. и т. д.

Характеры действующих лиц

Алисия (Лисси) Шеридан. Девятнадцатилетняя девушка, на два года моложе Дика, романтическая и пылкая. Дика, младшего из братьев, любит больше всех на свете; две другие ее сердечные привязанности — сестра Элизабет, на пять лет моложе ее, и Элизабет Линли, к которой она относится с обожанием.

Элизабет (Бетси) Шеридан. Одинаково любит и свою тезку Элизабет Линли и ее сестру Мэри (впоследствии миссис Тикелл). Сильнее, чем ее братья и сестра, любит отца и больше заботится о нем. Когда отец достиг преклонного возраста, она с бескорыстием, граничащим с героизмом, посвятила лучшие годы своей молодости исполнению его тиранических прихотей.

Чарльз Шеридан. Образец благоразумия и аккуратности, человек с приятной внешностью и учтивыми манерами, уравновешенный и приветливый, но всегда вззирающий на ближних свысока. В нем, как и в Чарльзе Сэрфесе, много внешнего, показного. В молодости эти его черты не так заметны, но житейское преуспеяние способствует развитию худшей стороны его натуры. Он женится на красавице и богатой наследнице, получает по ходатайству брата доходную должность, но, чем богаче он становится, тем больше превращается в сквалыжника. Он жалеет денег для своего сварливого старика отца, который однажды писал ему: «Ты мое единственное сокровище на земле, и, если бы я утратил его, мне незачем было бы жить на свете!» Он жалеет денег для своей незамужней сестры, жалеет денег для бедной вдовы — своей старенькой тетушки Чемберлен. Он жалеет денег для родного дяди и торгуется с собственным братом. Отрастив брюшко, он начал трястись над своим здоровьем почти так же, как над своей мошной. Шеридан-отец, ухитрившийся повздорить в конце концов со всеми своими детьми, рассорился и с Чарльзом, причем этот разрыв со своим любимцем ранил его в самое сердце, тогда как примирение с Ричардом пролило на это сердце целительный бальзам. Ну, и достаточно о Шериданах.

Томас Линли. Высок, хорош собой, импозантен. Отец двенадцати детей. Житейские испытания настолько ожесточили этого тонкого, чувствительного человека и любящего отца, что на своих одаренных детей он стал смотреть как на настоящих овечек с золотым руном. Его жена Мария — это и отрада и горечь всей его жизни. Хотя она вот уже двадцать лет как замужем, ей удалось сохранить миловидность; однако ее болтливый язык и руки скопидомной хозяйки не знают ни минуты покоя. Одержимая стремлением откладывать на черный день, она экономит даже на огарках. Она любит сразиться в вист по маленькой, а оставшись в проигрыше, чувствует себя ограбленной. Мария держит мужа под каблуком, но вместе с тем любит и почитает его. Вообще почтительности у нее хоть отбавляй: она неискоренимо вульгарна в своем низкопоклонстве перед знатыми и богатыми. Все ее матримониальные замыслы в отношении своих сыновей и дочерей строятся на денежном расчете. Но, несмотря на все свои недостатки, чета Линли несет на себе отпечаток супружеской идиллии. Много лет спустя дочери будут называть своих родителей Филемоном и Бавкидой.

Осталось только охарактеризовать злодея этой пьесы.

В начале октября 1770 года газеты Бата сообщили о приезде неких мистера и миссис Мэтьюз, завершивших свое свадебное путешествие. В Бате Мэтьюзы провели два зимних сезона. Они устраивали приемы у себя и сами бывали на приемах у других, так как многим они понравились. В 1773 году в гостях у них бывал Уилкс; сами они — частые гости доктора Делакруа. Мэтьюз, родом из хорошей семьи, служил в милиционной армии. Хотя сам он, похоже, никогда не называл себя «капитаном», окружающие величали его так до самой смерти. Мэтьюз — известный сердцеед; в длинном списке его побед фигурируют дамы всякого сословия и звания, начиная от герцогини и кончая супругой сквайра. (Женские сердца всегда питали слабость к красному мундиру, и сердечко веселой Коноплянки давно уже сильнее бьется в присутствии Мэтьюза.)

Действие нашей драмы начинается в первые месяцы 1772 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. ПОБЕГ

Когда поднимается занавес, ситуация такова: Шеридан-отец отбыл в Дублин ставить свою пьесу «Капитан О'Бландер», молодые Шериданы водят тесную дружбу с молодыми Линли, а Мэтьюз назойливо преследует девушку, которая с детства находилась под гипнозом его обаяния. Элизабет Линли поет и улыбается, а сама в это время вся содрогается от страха, о котором она даже не может поведать своим родителям, потому что они посмеялись бы над ней и назвали бы ее тревоги грезами романтической барышни. Холхед — в далекой Калькутте, Чарлз Шеридан удалился на ферму в окрестностях Бата, а Дик пока еще тщательно скрывает свою растущую влюбленность. Ни одного признания в любви не срывается с его уст, хотя мисс Линли вскоре начинает догадываться об истинном характере его чувств. Оба они твердят только о дружбе, а дружеская поддержка — это как раз то, в чем мисс Линли нуждается больше всего! Ее теплые отношения с Мэтьюзом обращают на себя внимание. Мэтьюз давно уже сумел так опутать ее сердце любовными сетями, что она просто не в силах оттолкнуть его. Да к тому же она все еще обманывается относительно него, видя в нем жертву несчастной любви, столь же деликатной, сколь и безнадежной. Он представляется ей нежным обожателем, и она жалеет его. Ее тревожат его намеки на то, что он в отчаянии и готов покончить с собой. Тяжело вздыхая, он прощается со своей возлюбленной, уверяет, что никогда больше с ней не будет встречаться, а вскоре после этого со страшными проклятиями врывается к ней и, приставив к груди пистолет, клянется, что застрелится у нее на глазах, если она откажется с ним видеться. Вслед

за этой подлой угрозой он пускает в ход и другую: если она заупрямится, он очернит ее репутацию. Тут у мисс Линли наконец-то открываются глаза.

Она изливает душу сестрам Шеридан, а те открывают ее сердечные тайны любимому брату. Алисия ни минуты не сомневается в том, что ее брат самой природой предназначен для роли благородного страствующего рыцаря. И мисс Линли приветствует его в роли своего защитника.

Измотанная постоянными выступлениями и душевным напряжением последних двух лет, она жаждет отдыха и уединения. Слава принесла ей одни лишь оскорбления, и вот девушка семнадцать лет от роду, можно сказать, только вступающая в жизнь, решает уйти на покой. Любящая дочь, она хочет возместить отцу убытки, которые тот понес, лишившись такого источника дохода, как ее голос, и по сему отказывается в его пользу от своей доли суммы, выплаченной стариком Лонгом в качестве компенсации. Отец протестует и ласково упрощает дочь обещать, что она не будет больше встречаться с лицемером Мэтьюзом. Та обещает и прибегает к посредничеству Шеридана. Посредник добивается неожиданно удачного результата: доставляет мисс Линли письмо от ее мучителя, в котором тот обещал оставить ее в покое и желал ей всяческого счастья. Растроганная великодушным поступком Мэтьюза, она уже готова пожалеть обманщика, но тут он внезапно вновь появляется на сцене, размахивая перед ней пистолетом и настаивая на возобновлении их дружбы. Угрозами он вырывает у нее согласие. Несчастливая девушка, не видя выхода из этого тягостного положения, помышляет теперь о самоубийстве.

Воскресенье. Все семейство Линли в церкви, дома осталась одна Элизабет. В припадке отчаяния она составляет завещание, ставит на стол перед собой пузырек настойки опиума и выпивает какую-то часть содержимого.

Внезапно входит Шеридан, видит пузырек, уговаривает ее не совершать непоправимый шаг и умоляет дождаться его возвращения с добрыми вестями, от которых у нее станет легче на сердце. Он обещает положить конец домогательствам Мэтьюза и сразу же приводит доктора Харрингтона, который по прибытии находит девушку в одурманенном состоянии. Затем Шеридан поспешно уходит и возвращается с адресованным ему письмом Мэтьюза, являющим собой неопровержимое доказательство низости человека, из-за которого Элизабет собиралась лишиться себя жизни. В письме говорилось, что после стольких неприятностей, которые мисс Линли ему причинила, он испытывает величайшее желание отделаться от нее, но гордость не позволяет ему отказаться от нее, пока он не добьется своего. Поэтому он намерен при следующей встрече с ней сбросить маску. Уж

тогда-то он сполна расцветается за все доставленное ему беспокойство; если же она передумает и не пожелает его видеть, он увезет ее силой. Прочтя это письмо, мисс Линли падает в обморок.

Она давно уже жила под каким-то гнетом. Теперь ее охватила паника. Оставаться в Бате нельзя, надо бежать. (К Шеридану она относится вполне благосклонно, но ее пылкая любовь к нему еще впереди.) И вот мисс Линли, Шеридан и его сестра совместно разрабатывают план бегства.

План этот — достойный плод незрелого возраста его авторов, которым втроем не больше пятидесяти семи лет. Идея укрыться на время в монастыре принадлежала самой мисс Линли. Затем Алисия высказывает мысль, что, пока не удастся подыскать подходящий французский монастырь, Элизабет могли бы приютить у себя друзья Шериданов в Сен-Кантене. Ее брат мог бы сопровождать беглянку в качестве ее храброго рыцаря и вернуться, после того как она найдет надежный приют. Таким образом она убьет сразу двух зайцев: образумит своих родителей и избавится от ужасов своего теперешнего положения. Чтобы заранее выбить оружие из рук клеветников, Шеридан позаботился о том, чтобы в пути их сопровождала служанка.

Вечером 18 марта все участники затеи с нетерпением ожидали назначенного часа. Родные Элизабет — отец, брат и сестра — ушли на репетиции, и дом опустел. Элизабет не пошла репетировать, сославшись на недомогание. И вот теперь вместе с Алисией, которая пришла помочь ей собраться в дорогу, она стоит у окна, дожидаясь прихода Шеридана. Наконец появляется Шеридан, и ее, полумертвую от волнения и страха, относят в портшезе к стоянке почтовых карет. Направляясь туда же, Шеридан встречает на улице Мэтьюза, который идет к нему домой с визитом. Сочинив какой-то благовидный предлог, он просит Мэтьюза побыть там некоторое время с его сестрой — он вскоре пошлет за ним, так как ему предстоит уладить одно дело чести и, возможно, понадобится его, капитана, помощь. Отвязавшись таким образом от Мэтьюза, он со всех ног бросается догонять мисс Линли. Карета трогается и, поднимая клубы пыли, мчит их по живописной, извилистой дороге мимо постоянного двора «Замок», через Сейвернейкский лес и дальше, дальше, к Ньюбери, а оттуда — по жуткой в ночной час вересковой пустоши Хунслоу. На рассвете они уже въезжали в Мейденхедский бор, а в девять часов этого весеннего утра почтовая карета катила по улицам Лондона.

Шеридан сразу же идет к своему родственнику Ричарду Чемберлену, жившему в то время в Лондоне, представляет ему мисс Линли как богатую наследницу и пытается занять у него денег под будущие свои богатства. Но Чемберлен не одобряет его затеи, и вечером они отправляются к своему новому знакомому — Симону Юарту, сыну respectableного лондонского виноторговца. Тот предлагает им со-

вершить морское путешествие из лондонского порта в Дюнкерк, куда вот-вот должно отплыть судно, зафрахтованное его отцом. Этот план, позволяющий ускользнуть от преследования, немедленно принимается, и вот Симон, под видом Юарта-старшего, провожает молодую пару на борт корабля и поручает капитану заботиться о них как о собственных детях. Однако капитан, угрюмый и грубый субъект, обращается с Диком и мисс Линли из рук вон плохо. Встречный ветер задерживает отплытие, а на борту нет ни кусочка съестного, ни глотка воды. Наконец их суденышко отплыло. Плавание по штормовому морю было трудным, но все-таки они благополучно добрались до Дюнкерка, а оттуда поехали в Лилль. По дороге они остановились в Кале, где, отправившись в театр, стали участниками следующей немой сцены: два французских офицера устали на мисс Линли, а Шеридан, подбоченясь, вперил в них испепеляющий взгляд, причем никто из действующих лиц этой пантомимы не проронил ни одного слова ни по-английски, ни по-французски.

Где-то в окрестностях Кале беглецы оформляют брак. Поскольку оба брачащиеся — несовершеннолетние, они отлично понимают, что их бракосочетание не имеет законной силы. Но Шеридан рассчитывает крепче привязать к себе Коноплянку, а также более надежно защитить ее от Мэтьюза. Его линия поведения продиктована душевным участием;

«Дева милая, не бойся,
Не печалься, успокойся!
Я не дам тебя в беду.
Повелишь потом — уйду.
Дева милая, не бойся,
Мне доверься, успокойся».

Что касается Коноплянки, то его романтичность и готовность страдать трогают ее. (По-видимому, служанка, нанятая сопроводить мисс Линли, осталась в Лондоне. В каждой гостинице, где они останавливаются, Шеридан просит хозяйку составить им компанию и заботится о том, чтобы мисс Линли непременно жила в номере не одна, а еще с какой-нибудь женщиной.)

Пятнадцатого апреля Шеридан, прервав затянувшееся молчание, пишет брату: «У нас здесь все устроилось, наконец, наилучшим образом... Вскорости увижусь с тобой в Англии». Шеридану посчастливилось встретить во Франции старого школьного приятеля, который устраивает мисс Линли в монастырь, где она и остается. Но потрясения последнего месяца так сказались на ее здоровье, что пришлось пригласить к ней врача-англичанина доктора Долмена из Йорка. Врач считает желательным, чтобы больная находилась под постоянным его наблюдением, и его супруга приглашает мисс Линли по-

гостить у них в доме. Та перебирается из монастыря к Долменам, а Шеридан остается жить в гостинице на Гранд-плас.

Тем временем дома, в Бате, разгораются страсти. Уезжая, Шеридан оставил письмо на имя отца героини, в котором не пожалел красок, чтобы обрисовать неблагоприятное поведение своего соперника. Известие о побеге распространилось по городу с быстротой молнии. Газеты разделились на два враждующих лагеря. Одни винят мисс Линли, другие — Шеридана. В обоих случаях они публично компрометируют девушку. Мэтьюз посещает Линли на следующее же утро после исчезновения беглецов и продолжает приходить регулярно. Он ругается последними словами и на чем свет стоит клянет свое прошлое. Пару его посланий передают Линли, но тот и слышать ничего не хочет: Мэтьюз один раз его уже обманул, и он больше ему не верит; если же Мэтьюз попытается навязать ему свое общество, то за последствия он не отвечает. Один из приятелей советует Мэтьюзу навсегда уехать из Бата. Мэтьюз дает честное слово, что так и поступит, но слову его верить нельзя.

Он и не думает уезжать. Вместо этого он распространяет противоречивые сообщения. А вдобавок заявляет, что Шеридан и мисс Линли никогда больше не посмеют показаться в Англии и что заступник мисс Линли не заслуживает джентльменского обхождения. Более того, он клянется отправить Шеридана на тот свет. И это не пустое бахвальство. Взбешенный тем, что его оставили с носом, Мэтьюз идет напролом. Не получив из Европы никакого письма с объяснениями от своего недруга, он публично объявляет на страницах «Бат кроикл», в номере от 9 апреля 1772 года, буквально следующее: «Г-н Ричард Ш..... — лж.. и вероломный с.... с..! А поскольку распространением этой гнусной выдумки обо мне, как я убежден, занимались многочисленные злопыхатели, я довожу до общего сведения, что, если кто бы то ни было из них, не защищенный седидами, недугами или родом занятий, осмелится открыто признать, какую роль он сыграл в этом деле, и подтвердит все то, что он обо мне говорил, он может не сомневаться, что получит по заслугам за свою подлость, притом самым публичным образом — Томас Мэтьюз». (Обратите внимание, в пылу гнева Мэтьюз ошибся в количестве точек после Ш, должностных обозначать остальные буквы фамилии «Шеридан».)

Но еще до возвращения Шеридана Мэтьюз ретируется в Лондон. Выяснив адрес Шеридана, он засыпает его оскорбительными письмами. Шеридан отвечает дерзко: он проучит негодяя, как тот этого заслуживает. В отсутствие Шеридана роль его защитницы взяла на себя Алисия. Встретившись с Мэтьюзом после опубликования им порочающего объявления в газете, она резко отчитала его и потребовала объяснений, после чего он имел наглость утверждать, что ее брат Чарлз тоже причастен к этому делу. Услышав об этом, Чарлз был

глубоко возмущен. Братца своего он, конечно, не одобряет, но и не может оставить безнаказанным столь низкий поступок. Только поспешный отъезд Мэтьюза из Бата помешал Чарлзу предпринять по отношению к нему самые серьезные шаги.

Объявление, которое Мэтьюз поместил в газете, отвлекло внимание общественности от его собственных преследований мисс Линли. В центре внимания оказался поступок Шеридана. Кто же все-таки Шеридан — спаситель мисс Линли или низкий соратитель, джентльмен или подлец? Шеридан бросил обвинение Мэтьюзу, а Мэтьюз теперь поливает грязью Шеридана. Весь Бат взбудоражен, охвачен волнением. В залах для питья минеральной воды идет горячее обсуждение. В одних газетах Шеридана защищают, в других — нещадно бранят. В пылу полемики совсем забыли о мисс Линли. Грести Елены заслонила собой осада Трои.

Двадцать четвертого апреля в Лилль приехал Линли. Переговорив наедине с Шериданом, он не стал сердиться на дочь. Но он настаивает, чтобы она вернулась с ним в Англию и выступила в нескольких концертах, на которые уже была ангажирована. Назавтра они все вместе пускаются в обратный путь. Вместе совершают путешествие и вместе прибывают в Лондон. В девять часов вечера в среду 29 апреля все трое останавливаются в одной гостинице; здесь, валящихся с ног от усталости, мы их и оставляем.

ГЛАВА 5

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. ДУЭЛИ

Картина первая. У дверей Мэтьюза. Дом Конклина при монастыре братства крестоносцев в Лондоне. Полночь. Молодой человек громко колотит в дверь и яростно требует, чтобы его пустили. Ему, естественно, предлагают убраться прочь, но он еще громче молотит. Спускается Мэтьюз, сообщает через дверь нарушителю тишины, что сейчас его впустят, и опять ложится в постель. Пришелец, явившийся смутить его покой, продолжает ломиться в дом. Тогда ему говорят, что куда-то задевался ключ от двери. Но он и не думает снимать осаду. Вот уже больше часа он непрерывно дубасит в дверь и горланит, пока вся благонамеренная округа не начинает бранить проклятого дебошира. Часа в два ночи дверь наконец отпирают, молодой человек врывается внутрь, но вместо задиры бретера, с которым он собрался иметь дело, он видит тихоню, исполненного миролюбия. Мэтьюз одевается, величает Шеридана «дорогим другом» и уверяет, что его крайне огорчила бы малейшая размолвка с ним. Он жалуется на холод, пытается согреться и заставляет Шеридана сесть. Но, заметив выглядывающие из-под плаща ночного гостя пистолеты, Мэтьюз, не па

шутку встревоженный, юлит и вообще ведет себя как трус. Выведав у Шеридана, что он еще не успел прочесть «Бат кроникл» со злополучным объявлением, Мэтьюз спешит заверить его, что вся эта история дошла до него, Шеридана, в совершенно извращенном свете; что на самом деле помещение объявления было ловким ходом, санкционированным Шериданами; что он лично никогда не искал ссоры и что во всем виноваты его брат Чарлз и еще один джептльмен по фамилии Брертон. Шеридана эти миролюбивые речи успокаивают. Мэтьюз держит себя прямо-таки заискивающе, и Шеридан позволяет ему отделаться незначительной уступкой в виде заявления для газет Бата. Мэтьюз, далее, обещает поместить в газетах полное объяснение своих поступков; тут же обсуждается формулировка объяснительной записки и составляется несколько черновых вариантов. В любом случае теперь Бат узнает правду, а клеветник публично откажется от своих слов. Шеридан заявляет, что он более чем удовлетворен, и, поверив Мэтьюзу на слово, удаляется, когда солнце сияет уже высоко в небе, а молочница разносит свой товар. Явился он сюда как рыкающий лев, а уходит смиренным ягненком. И вот сейчас, солнечным утром, он возвращается в гостиницу как раз к плотному завтраку.

В субботу 2 мая Шеридан вместе с обоими Линли приезжает в Бат. Первым делом он наносит визит в редакцию «Бат кроникл», где издатель газеты Кратуэлл показывает ему текст дискредитирующего клеветнического заявления, а заодно разрушает его иллюзии относительно искренности обещания Мэтьюза представить все объяснения. Что касается заявления для печати, предложенного Мэтьюзом в качестве извинения, то на поверку оказалось, что оно вовсе и не является уступкой. Вместо просьбы о прощении оно содержит одни оправдания. Шеридана это возмущает до бешенства. Он бросается к брату Чарлзу, который приходит в ужас, узнав, что Мэтьюз пытается впутать его в эту историю как своего сообщника. Чарлз соглашается с Диком, что словесными увертками Мэтьюза удовлетвориться нельзя: все эти оскорбления, в печати и в частном разговоре, невозможно оставить без последствий. Братья советуются со своими друзьями, и все склоняются к тому же мнению. Если Дик не даст подобающего отпора обидчику, то лучше уж ему никогда больше не показываться в Бате. Чарлз без колебания протягивает брату руку помощи. Хотя его только что назначили секретарем посольства в Швеции и ему надо готовиться к отъезду, он, глава и надежда семьи, будет сопровождать Дика в его миссии.

Договорившись о совместных действиях, братья торопятся проведать своих сестер, которые истомились ожиданием, но ни слова не говорят им о происшедшем и весело болтают о пустяках. Однако в тот же самый вечер они поспешно садятся в почтовую карету и катят

из Бата в Лондон. Росистая прохлада майской ночи не в силах остудить их горячие головы.

Велик же был ужас сестер, когда наутро обнаружился скоронапильный отъезд их братьев. Алисия сразу же идет к мисс Линли — узнать, что известно ей. Мисс Линли несколько раз лишается чувств; Алисия и ее сестра тоже вот-вот упадут в обморок. Какие-то вести прибудут из Лондона?

Воскресенье. По прибытии в Лондон братья не теряют времени даром. Сначала они посещают лондонскую квартиру Брертона; потом, заручившись согласием Юарта-сына быть секундантом, едут к нему в дом на Темз-стрит. Вечером того же дня Чарлз направляется к Мэтьюзу и передает ему вызов брата. Молодой многообещающий дипломат пускает в ход все свое искусство, пытаясь предотвратить поединок. Два часа подряд уговаривает он Мэтьюза, но все его старания напрасны. Мэтьюз отказывается пойти на дальнейшие уступки, а поскольку Шеридан добивается, чтобы обидчик безоговорочно отрекся от своих слов, остается одно — дуэль. Назначаются время и место поединка: дуэлянты встретятся завтра, в понедельник, в Гайд-парке в шесть часов вечера. Мэтьюз, которому принадлежит право выбора оружия, решает драться на шпагах, но предлагает, чтобы на всякий случай были принесены и пистолеты. Сопровождать его в качестве секунданта будет его дядя, капитан Найт.

Картина вторая. Гайд-парк, 4 мая, около шести часов вечера. Шеридан с Юартом и Мэтьюз с Найтом встречаются в условленном месте. Карета, запряженная четверкой, оставлена дожидаться у ворот Гайд-парка. Дуэлянты сразу же направляются в сторону Ринга. Шеридан еще раз пытается убедить своего противника отказаться от своих слов, но безуспешно. Тогда он указывает место, удобное, по его мнению, для поединка. Мэтьюз возражает, ссылаясь на неровность почвы и обращаясь за подтверждением к своему секунданту. Теперь все четверо пересекают Ринг и шагают по направлению к плоской возвышенности позади какого-то строения. Шеридан становится в позицию и вынимает шпагу из ножен, но тут его секундант замечает человека, наблюдающего за ними. Дуэлянтам приходится перейти в другое, вроде бы удобное, место. Но Мэтьюз возражает. На сей раз он, в свою очередь, жалуется на присутствие зрителей. Ввиду этого он предлагает отойти к Геркулесовым столпам в углу Гайд-парка и обождать, пока парк не опустеет. Через некоторое время они возвращаются, и Шеридан вновь обнажает шпагу. Тогда Мэтьюз отказывается начать поединок под тем предлогом, что за ними, кажется, издали наблюдает какой-то офицер. Юарт заверяет Мэтьюза честным словом, что, если кому-нибудь понадобится карета, его без всяких помех отнесут в нее. Однако Мэтьюз упрямится и предлагает

теперь отложить дуэль до завтрашнего утра. На это Шеридан замечает, что дело не стоит выеденного яйца, а зря тратить время он не намерен. С этими словами он направляется к офицеру и заговаривает с ним, после чего тот вежливо удаляется. А тем временем его противник уходит в сторону ворот. Тогда Шеридан и Юарт подзывают Найта, и втроем они снова идут к Геркулесовым столпам. В конце концов они снимают комнату в таверне «Замок».

Тем временем темнеет. Юарт приносит наверх, в комнату, свечи, и дуэлянты приступают к поединку, теперь уже вполне серьезно. (Кстати, на дуэли присутствует врач, некий Смит.) Представим себе это зрелище: мечущиеся по стенам тени, грозный блеск скрещивающихся шпаг, внезапная стремительная атака, гневные препирательства участников; сцена освещается дрожащим пламенем свечей, а снизу доносится мирный шум и гам повседневной жизни таверны.

Сильным ударом Шеридан отводит острие шпаги противника далеко в сторону, делает шаг вперед и, перехватив вооруженную руку (или эфес шпаги) Мэтьюза, приставляет острие своей шпаги к его груди. Найт бросается к сражающимся и с возгласом «Не убивайте его!» хватается Шеридана за руку. Шеридан старается освободить руку и твердит, что шпага Мэтьюза в его власти. Мэтьюз дважды или трижды восклицает: «Прошу пощады!» Сражающихся разводят в стороны. Найт тотчас же говорит: «Ну вот, он попросил пощады, и делу конец». Юарт замечает в ответ, что, когда Шеридан завладел шпагой Мэтьюза, Найту не следовало вмешиваться, поскольку победитель не пытался пронзить грудь побежденного. Найт признает, что поступил неправильно, но оправдывает свой опрометчивый поступок стремлением помешать кровопролитию. Тут Мэтьюз намекает, что, вмешавшись, Найт оказал услугу, скорее, Шеридану. Тогда Найт официально заявляет, что перед тем, как он вмешался, Шеридан владел обеими шпагами. Мэтьюз же, который, как видно, упорно стремится представить происшествие в ином свете, указывает, что шпага все время оставалась у него в руке. Вне себя от гнева Шеридан клянется, что или Мэтьюз сейчас же отдаст ему свою шпагу и он сломает ее, или — к бою; он готов возобновить поединок. Мэтьюз драться отказывается и по настоянию Шеридана бросает шпагу на стол. Шеридан ломает ее и швыряет обломок с эфесом в дальний угол комнаты. Мэтьюз громко ропщет. Шеридан берет шпагу у Юарта и, протягивая свою собственную Мэтьюзу, заверяет его своей честью, что никогда не станет рассказывать о том, что произошло.

«А я никогда не обнажу шпаги против человека, который даровал мне жизнь», — заявляет Мэтьюз, но продолжает протестовать против унижения, которому его подвергли, переломив его шпагу. Юарт предлагает ему пистолеты, и Мэтьюз вступает в пререкания с ним:

«Если станет известно, что мою шпагу сломали, я нигде носа показать не смогу. Такого никогда еще не бывало. Это отменяет все обязательства...» и т. д. и т. п.

Наконец стороны договариваются вовсе не упоминать о дуэли. С этим вопросом покончено. Теперь Шеридан спрашивает, не кажется ли Мэтьюзу, что он должен дать ему, Шеридану, еще одну сатисфакцию. Поскольку Мэтьюзу не придется компрометировать себя, он полагает, что Мэтьюз не замедлит дать ее. Мэтьюз отказывается, выдвигает условия. Шеридан настаивает: он не уйдет отсюда, пока дело не будет улажено. После долгих препирательств и с большой неохотой Мэтьюз пишет извинительное письмо для опубликования в «Бат кроникл»: «Придя к убеждению, что порочащие выражения, в которых я отозвался о г-не Шеридане, были продиктованы гневом и превратными представлениями, я отказываюсь от моих порочащих высказываний о нем и покорнейше прошу у него прощения за мое объявление».

Впрочем, впоследствии Мэтьюз утверждал, что он никогда не молил Шеридана о пощаде, что Шеридан сломал его шпагу без всякого предупреждения и что извинительное письмо он написал исключительно из великодушия, так как Шеридан отказался от своих требований.

Во вторник днем оба брата, усталые после своей лондонской эскапады, явились в дом на Кингсмид-стрит в Бате. Шеридан с гордостью демонстрирует своим сестрам извинительное письмо и сразу же отправляет его в типографию.

В Бате только и разговоров, что о поединке. Газеты смакуют эту сенсационную новость, безбожно извращая истину. Согласно их сообщениям, дуэль произошла на два дня раньше, чем на самом деле. Шеридан пронзен шпагой. Мэтьюз и Найт бежали во Францию. «Бат кроникл» незамедлительно опровергает эти слухи. Победитель вызывает всеобщее восхищение. А когда Мэтьюз останавливается в Бате по дороге в Уэлс, его обливают презрением и всячески избегают.

В самый разгар всей этой сумятицы возвращается отец-латинист. Если ему очень не понравилась история с побегом, то дуэль — это уж черт знает что! Но Чарльзу удается убедить его, что все действия Дика носили характер благородного донкихотства и что лондонский эпизод являлся абсолютной необходимостью. Теперь же фамильная честь восстановлена. Но Шеридана-родителя неизменно выводят из себя две вещи. Во-первых, расходы: защита фамильной чести, оказывается, требует немалых денег, и ему присылают многочисленные счета, причем не только за кареты и оружие. Во-вторых, любовная история этого вертопраха с мисс Линли. И вот «зеленая комната» театра начинает искать повода для ссоры с оркестром. Старый Шеридан считает, что он занимает более высокое общественное поло-

жение, чем какой-то музыкант. Ведь еще в своем «Плане образования», опубликованном в 1769 году, он отмечал, что увлечение музыкой «зачастую побуждает порядочных людей возвращаться в такое общество, от которого они, не будь этого увлечения, держались бы подальше». В соответствии с этим он пытается прекратить знакомство с семейством Линли и запрещает Дику видаться с мисс Элизабет Линли. Но влюбленные часто встречаются и переписываются — тайком от окружающих.

Картина третья. Грот в тени ивы за лужайкой в глубине общественного сада; к нему ведут извилистые тропинки. Поросшие мхом сиденья; имена, вырезанные на коре деревьев. В гроте Сильвио (Дик) и Лаура (Элизабет). Лаура в слезах.

С и л ь в и о (*поет*).

Утри свои слезки, о радость моя,

Прерывисто так не вздыхай,

До гроба любить буду верно тебя,

Порукой тому — этот май.

Не томись, не вздыхай, слезы с щечек утри,

Все тревоги прогнав, мне в глаза посмотри

И слезки свои утри.

Ты молишь: «Как долго, скажи, не тая,

Меня ты захочешь любить?»

Откуда ж мне знать, о Лаура моя,

Как долго осталось мне жить?

Утри свои слезки, не плачь, не вздыхай,

До гроба люблю тебя, ты это знай!

Не плачь, не грусти, не вздыхай.

Волнением мысли Лауры полны:

«А что если Сильвио дни сочтены

И кто на меня надышаться не мог,

Испустит последний свой вздох?»

Слезки утри, не плачь, не вздыхай,

Мы не покинем земной наш рай,

Не плачь, не томись, не вздыхай.

Л а у р а (*поет*).

Мой милый Сильвио, мне жаль

Гнать прочь ту сладкую печаль,

Что передаст верней всех слов

Трепещущего сердца зов.

Мой вздох — это ветер, а слезы — волна,

К берегу счастья прибьет нас она.

С и л ь в и о.

Не томись, не вздыхай, слезы с щечек утри,

Все тревоги прогнав, мне в глаза посмотри
И слезки свои утри.

Лаура.

Возможно ли любить, не ведая тревог?
Ничто блаженство без счастливых слез!
Насытиться любовью разве кто бы смог?
Словам не передать восторга грез!
Мой вздох — это ветер, а слезы — волна,
К берегу счастья прибьет нас она.

Сильвио.

Утри свои слезки, не плачь, не вздыхай,
До гроба люблю тебя, ты это знай!
Не плачь, не грусти, не вздыхай!

Лаура.

Так горлица стонет в лесу меж ветвей,
Чтоб другу поведать о страсти своей,
Вздыхает Зефир так средь майских садов,
Флору пленяя, царицу цветов.
Мой вздох — это ветер, а слезы — волна,
К берегу счастья прибьет нас она.

Сильвио.

Слезки утри, не плачь, не вздыхай,
Мы не покинем земной наш рай,
Не плачь, не томись, не вздыхай.

Картина четвертая. Спальня Лауры. Полночь. Лаура склонилась над столиком и пишет, повторяя вслух написанное: «Хотя я только что рассталась с тобой и надеюсь совсем скоро увидеть тебя вновь, пальцы мои так и тянутся к перу, и я не могу не докучать тебе своими каракулями. Милый, родной! Я счастлива лишь тогда, когда мы вместе. Ни о чем другом я не могу говорить и думать. Поскорей бы снова приходили полчаса счастья быть рядом с тобой. Поверь, сегодня вечером впервые после возвращения из Франции я испытала настоящую радость. А что если сейчас, когда я пишу письмо и изливаю на бумаге мои нежные чувства к тебе, ты ухаживаешь за мисс У. или за какой-нибудь другой хорошенькой девушкой? Ничему подобному я не верю, по все-таки, все-таки... Знай же, ты моя жизнь, моя душа, и я так тебя люблю, что не вынесла бы, если бы увидела, как ты (пусть даже в шутку) оказываешь знаки особого внимания другой. Вот я написала тебе это, а ты сам суди, сомневаюсь ли я в твоей верности. Когда ты напишешь ответ? Раз уж нет возможности видиться с тобой почаще, так хоть порадоваться весточке от тебя...

По-моему, Чарлз что-то заподозрил сегодня вечером. Когда я

спускалась вниз, у него было такое выражение лица, как будто он все знает. Черт побери его пронизательность! Лучше бы он не совал свой любопытный нос в чужие дела и не мешал нам предаваться тайным радостям. И подумать только, любимый мой, всегда-то нас сильнее всего влечет к себе то, что нам не принадлежит...

Что же еще тебе написать? Пожалуй, больше ничего, и я, рискуя тебе надоесть, снова и снова повторяю: я люблю тебя без памяти и лучше буду терпеть нужду и лишения, но с тобой, чем выйду за другого, пусть даже за самого короля.

Я буду звать тебя моим Горацио — этим именем ты сам называешь себя в своем чудесном стихотворении. Так пиши же мне, мой милый Горацио, и уверь меня, что ты так же искренен и постоянен, как я.

Рука у меня сейчас так дрожит, что я с трудом держу перо. Только что в комнату ко мне заглянул отец, и я едва успела спрятать письмо за зеркало. Слава богу, он не заметил, в каком я состоянии... До свидания. Боже мой, я так...

(При нашем глубочайшем уважении к мисс Линли и восхищении ею мы не можем не отметить, что привычка датировать свои письма не принадлежала к числу ее многочисленных достоинств.)

В несколько ином тоне: «Бессовестный, ты заставляешь меня бодрствовать до глубокой ночи и писать тебе всякую ерунду, тогда как сам не написал на этой неделе ни строчки в ответ. Право же, дорогой, ты настоящий тиран! Не подумай только, что я стала бы писать, если бы это не доставляло удовольствия мне самой. По правде говоря, любимый мой, я только и бываю счастлива, когда вижу с тобой или пишу тебе. Почему ты так быстро сбежал сегодня? Хотя я и не могла открыто наслаждаться твоим разговором, мне было так отменно быть совсем рядом с тобой. Как только ты покинул меня, я бросила карты, так как не могла больше сосредоточить внимание на игре...

Когда мы с мамой были в гостях у мисс Роско, говорили главным образом о тебе. Мисс Р. сказала, что, по ее убеждению, мы с тобой должны пожениться. Больше того, по ее словам, буквально все считают, что мы поженимся не позже, чем через месяц. Боже ты мой, подумать только! Да благословит тебя господь, дорогой мой, любимый мой. Устала и ложусь спать. Только одно могло бы прогнать сейчас весь мой сон — твое присутствие... еще раз до свидания...

Стоя на коленях, полураздетая, снова донимаю тебя своими глупостями. Разве можно допустить, чтобы листок остался недописанным? Хотя что еще приписать, сама не знаю: я почти исчерпала весь запас новостей, который накопила за нашу долгую разлуку. Пиши мне, лентяй ты этаким; я настаиваю, даже требую, чтобы ты писал. Неужели так трудно черкнуть мне несколько строк? Письмо для меня ты мог бы передать все тем же способом. Сестра сердится, что

и никак не улягусь, но, хотя я совсем застыла, мне сейчас приятнее стоять в такой позе и мерзнуть, выводя эти строки, чем нежиться в самой теплой постели во всей Англии...»

Тем временем злодей нашей драмы не сидит сложа руки. Он бомбардирует своего молодого соперника письмами оскорбительного содержания и внезапно появляется в Бате. Приезжает он в сопровождении соседа-ирландца Уильяма Барнетта, который настойчиво уговаривает его смыть позор с помощью новой дуэли. Барнетт передает Шеридану предварительный вызов и предлагает ему поставить свою подпись под текстом отчета об их предыдущем поединке в интерпретации Мэтьюза. Шеридан не только отказывается подписать этот текст, но и с негодованием опровергает версию Мэтьюза в письме к капитану Найту. После отказа Шеридана подписаться под этой бумагой дуэль становится неизбежной. Она назначается на среду 1 июля 1772 года.

Ничто не препятствует поединку. Шеридан-отец отбыл в Лондон, чтобы снарядить Чарлза в путешествие к берегам Швеции. Мисс Линли в отъезде: она выступает в Честере, Кембридже и Оксфорде. Шеридан по-прежнему получает от нее письма, полные любовных сетований. «С самого моего приезда сюда я нигде не бывала. Какое будет счастье снова вернуться в Бат. Невозможно передать, как я соскучилась по тебе, как хочу тебя видеть и задать тебе тысячу вопросов. О, дорогой мой Горацио, я много всякого передумала за время своего отсутствия, но, когда я вернусь, радость возвратится ко мне. Может, я увижу тебя очень скоро после того, как ты получишь это письмо. А пока прими заверения в самых нежных моих чувствах и оставайся таким же постоянным, каким ты был до моего отъезда. Молю бога о том, чтобы я снова смогла обнять моего Горацио и убедить его, сколь искренна любовь его Элизы».

(В полном соответствии с духом комедии это письмо лежит у Шеридана в кармане на рассвете того летнего утра, когда он направляется на поединок со своим недругом. Кроме того, на груди у него висит медальон с миниатюрным портретом мисс Линли.)

Картина пятая. Гостиница «Белый олень» и Кингсдаун-хилл. 1 июля, три часа утра. Шеридан, сопровождаемый капитаном Помьером, молодым неопытным офицером, встречается с Мэтьюзом и Барнеттом в гостинице «Белый олень», откуда они на почтовых каретах едут в уединенную местность Кингсдаун-хилл. Мэтьюз хочет стреляться на пистолетах, а Шеридан стоит за дуэль на пшатах. Высказываясь за пистолеты, Мэтьюз обосновывает свой выбор тем, что он боится повторения неджентльменской драки, к которой свелся предыдущий поединок. Шеридан запальчиво возражает. В конце концов в качестве оружия поединка выбраны пшатаги.

Мэтьюз первым обнажает шпагу. После трех выпадов с поочередными атаками и ответными нападениями противники сближаются. Шеридан, повторяя тот же прием, который он применил во время прошлой дуэли, бросается на Мэтьюза и пытается завладеть его шпагой. Мэтьюз встречает противника острием шпаги, но в последовавшей рукопашной схватке его шпага с треском ломается. Тогда Мэтьюз хватая Шеридана за правую руку, которая держит шпагу, ставит ему подножку, и оба падают. Поначалу преимущество на стороне Шеридана: он наносит Мэтьюзу удары шпагой, пока она не сгибается. Но, по мере того как противники, переворачиваясь, скатываются по склону холма, преимущество переходит к тому, кто старше и сильнее, и Мэтьюз оказывается наверху. Он колотит рукояткой своей сломанной шпаги Шеридана по лицу и наносит ему резаную рану на щеке обломком клинка длиною в шесть-семь дюймов, который после одного из ударов вонзается глубоко в землю. Тогда Мэтьюз заносит над Шериданом отломившееся острие шпаги и требует, чтобы тот просил пощады. Юноша возмущенно отвергает это требование. Ему удается вырвать у Мэтьюза свою согнутую шпагу, сделать выпад и легко ранить противника в живот. Но тут наступает критический момент. Шпага Шеридана тоже ломается в каких-нибудь четырех дюймах от рукоятки, наткнувшись на подобие кольчуги под одеждой Мэтьюза. Шеридан поднимает свою правую руку, показывая, в сколь бедственном положении он оказался, и одновременно прикрываясь от ударов. Рука глубоко рассечена. Помьер предлагает остановить поединок, но Барнетт не соглашается. В этот миг Мэтьюз неожиданно выдергивает из земли свое зазубренное оружие и, свирепо набросившись на Шеридана, наносит ему не меньше двадцати-тридцати ударов. (Изрыгая при этом чудовищные проклятия.) Лишь пять ударов достигают цели, нанося Шеридану поверхностные раны, главным образом в шею. Остальные удары Шеридан отражает рукой, так что обломок клинка лишь пробивает его кафтан, не проникая дальше. Один раз клинок Мэтьюза, вонзившись Шеридану в грудь, вдребезги разбивает медальон (портрет мисс Лицли находят после в луже крови), в другой раз удар клинка приходится Шеридану в живот. Бой приобретает явно неравный характер, и до секундантов наконец доходит, что они должны что-то предпринять.

Капитан Помьер восклицает: «Шеридан, дорогой, попросите пощады, и я буду ваш слуга до гроб жизни!» Барнетт тоже кричит Шеридану, чтобы он молил о пощаде. «Ну нет, черта с два», — отвечает Шеридан. Тогда Барнетт решает не настаивать на соблюдении всех формальностей дуэльного кодекса и просит Помьера помочь ему разнять сражающихся. Мэтьюз и Шеридан отдают свои шпаги и поднимаются с земли. Мэтьюз поспешно отправляется в Лондон, а оттуда во Францию. «Теперь ему крышка», — говорит он на прощание, под-

крепляя свои слова страшными ругательствами. Шеридана в тяжелом состоянии доставляют в гостиницу «Белый олень». Капитан Помьер скрывается. Обоих секундантов сурово осуждают за их странное поведение и прекращают с ними всякое знакомство.

(Суфлерская реплика в сторону. Совсем иную версию этой истории приводит издатель пьес Шеридана Сигмонд. Согласно его рассказу, Шеридан «находился в состоянии крайнего возбуждения по причине перепооя». Вечером накануне дуэли его пригласили отужинать вместе с Мэтьюзом и обоими секундантами. Он всю ночь глушил бордо и встал из-за стола только тогда, когда настало время ехать к месту поединка. Выйдя на улицу, он, пошатываясь, двинулся по Милсом-стрит, забрался спяну в карету Мэтьюза, заставил секундантов сесть рядом с ним и приказал трогать.

Лорд Джон Тауншенд специально ездил в Бат, чтобы познакомиться с Мэтьюзом и порасспросить его о подробностях его дуэли с Шериданом. Мэтьюз сказал ему, что дуэль эта была «чистейшей мистификацией, да, по сути дела, вовсе и не была дуэлью». По словам Мэтьюза, Шеридан явился на поединок в пьяном виде, и, если бы он, Мэтьюз, захотел убить его, ему бы это не составило никакого труда.

Даже сам Шеридан впоследствии признавался, что его собственное описание этого поединка носило «весьма преувеличенный и недоброжелательный характер». Секундант Мэтьюза Барнетт составил отчет о дуэли и переслал его капитану Помьеру, который признал этот отчет «правдивым, беспристрастным» и расходящимся с его собственным мнением «только в немногих малосущественных частностях». После недолгих препирательств Шеридан подтвердил описание дуэли, сделанное секундантами.)

На Мэтьюза смотрят как на настоящего убийцу. «Появись он на улицах Бата, — писал Шеридан-отец, — его бы насмерть забили камнями. Если когда-нибудь он посмеет снова публично появиться здесь, от него станут шарахаться, как от чумного». Однако время — лучший лекарь, и пятьдесят лет спустя Мэтьюз, пользовавшийся популярностью в обществе и игравший в вист в лучших домах, почил в бозе все в том же Бате. Его жена, эта странная и молчаливая фигура на заднем плане, пережила своего мужа и унаследовала после него «все движимое и недвижимое имущество без малейшего изъятия».

В общем, история эта никого не порадовала, за исключением журналистов. Зато уж они вволю порезвились, обыгрывая эту сенсацию, чем доставили немало веселых минут пострадавшему. Просматривая в постели свежие газеты, Дик шутит: «Ну-ка, узнаем, жив я или умер».

Заметка в газете «Паблик адвертайзер», например, гласит: «Г-н Шеридан-младший, который дрался на дуэли с капитаном Мэтьюзом

из-за Батской девы, полностью оправился от нанесенных ему ран, но больше не владеет правой рукой, простреленной в суставе».

Право же, сплетники Бата имели все основания побожиться вслед за Бобом Акрот: «Клянусь клинками и эфесами... клянусь кремнями, полками и курками!»¹

Услышав о дуэли, мисс Линли теряет голову от волнения. «Мой муж, мой муж!» — вырывается у нее. Восклицание это поразило всех присутствующих, но было потом приписано нечаянному испугу и вскоре забылось. Она пишет Шеридану нежные любовные письма. «Поверь мне, два дня я была сама не своя, но радостная весть о твоём выздоровлении вернула меня к жизни. О, любимый, дорогой мой, когда я тебя увижу? Не прошу тебя написать мне, потому что тебе, должно быть, еще больно держать перо... О, мой Горацио, до сих пор я и не знала, как сильно люблю тебя. Уверяю, если бы ты погиб, я непременно переделалась бы женщиной и вызвала бы Мэтьюза на дуэль. Тогда я или последовала бы за тобой, или же отомстила за нас обоих... Да благословит тебя господь, мой милый Горацио, еще раз желаю тебе скорейшего выздоровления и счастья, обнимаю тебя, твоя Элиза».

Но любовной идиллии приходит конец. Отцы влюбленных решают расстроить их свадьбу, Линли — из желания обеспечить себе возможность эксплуатировать таланты своей дочери, Шеридан — из повышенного чувства чести. Мысль о том, что его сын свяжет себя с особой, чье имя вкривь и вкось склоняли в обществе, оскорбляет его достоинство. По правде же говоря, старина Шеридан прямо-таки не в себе оттого, что его сын может жениться на дочке скрипача, а Линли рвет и мечет при мысли, что его дочь хочет идти замуж за сына простого актера.

Положение влюбленных — самое незавидное. Видеться они могут только как знакомые. Линли берет у дочери обещание, что она никогда не выйдет замуж за Ричарда Шеридана, а Шеридан-старший запрещает своему сыну даже переписываться со своей любимой. Как раз в это время старого актера снова приглашают в Дублинский театр, и он вознамерился было взять с собой в Дублин всю свою семью. Элизу известие о готовящемся отъезде Дика в Дублин приводит в ужас. (Близится полночь, когда она, улучив момент, торопливо берется за перо.) «Как красива сейчас эта яркая луна на небе!.. Я чувствую, что с каждым днем моя любовь к тебе становится все крепче, все нежнее. Мысль о разлуке мне невыносима... О, любимый мой Горацио, что же станет тогда с твоей Элизой?»

Внезапно Шеридан-старший вновь меняет свое решение. Ему до смерти надоели эти Линли. Его дочери поедут во Францию, в

¹ «Соперники». — Ш е р и д а н Р.-Б. Драматические произведения, с. 80.

Сен-Кантен, где найдут приют у его старых друзей. Неисправимый сумасброд Дик будет сопровождать их в путешествии через пролив. Планы старого актера меняются так же быстро и круто, как его настроения, и он перерешает все по-новому. Неисправимый Дик никуда не поедет. Он не заслуживает такой перемены обстановки. Он недостойн быть защитником и опекуном своих юных и добродетельных сестер. Но тут родитель узнает о тайных свиданиях Дика, о его письмах и стихах. На Дика обрушиваются страшные кары. Вон из приличного общества, вон из дома! Станешь учиться на адвоката! Будешь горько раскаиваться, посыпать главу пеплом! А сейчас поклонись больше ей не писать, не говорить о ней и, уж конечно, не разговаривать с ней. Изгнание — вот его удел. Решение это окончательное и отмене не подлежит. Дика ссылают на ферму близ Уолтемского аббатства в далеком Эссексе, под присмотр семейства Паркеров, почтенных друзей дома, подальше от его богини, подальше от сестер. «Пусть-ка он поучится да поразмыслит о жизни, пусть почувствует, что его наказали». И разгневанный родитель отправляется один в Ирландию — зарабатывать на жизнь всему семейству.

ГЛАВА 6

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. РАЗМОЛВКА

«Два дня я провел в тоске и печали, — пишет Шеридан из местечка Фарм-хилл при Уолтемском аббатстве своему другу Томасу Гревиллу, — и я совершенно убедился в том, что несчастный возлюбленный, если он любит по-настоящему, легче перенес бы разлуку с любимой где-нибудь в пустыне, чем в раю. Окажись я в пустыне, меня окружала бы со всех сторон одна сплошная, унылая, откровенная безрадостность. Ничто вокруг не напоминало бы мне о возлюбленной, ни один образ не вызывал бы представления о ней; больше того, я, честное слово, страшно радовался бы тому, что ее нет рядом и что ей не приходится делить со мной невзгоды. Но, очутившись в раю, я всякий раз при виде счастливой пары мысленно восклицаю: «Почему же мне навек заказано это счастье?» — и это настоящая пытка! Или, сидя в каком-нибудь дивном живописном уголке, я с грустью сетую: «Ах, почему ее нет здесь со мною?» — и дивный уголок для меня становится хуже пустыни. Заслышу ли я здесь музыку и пение, как тотчас меня пронзает мысль: «А ее пение и игру мне слышать не дано!» — и звуки музыки оборачиваются для меня стонами обреченного. Короче говоря, нет такого места, будь то самого прекрасного или, наоборот, совершенно ужасного, где бы меня не мучила мысль о том, как все осветилось бы кругом от ее присутствия... Я изнываю от тоски и сторонюсь людей. Почти все чувства во

мне отмерли, жива одна лишь любовь. Amo, ergo sum — вот в чем нахожу я подтверждение своего бытия. «Я люблю, следовательно я существую». Поэтому мне не остается ничего другого, как сесть за стол и слагать гимны терпению». Впрочем, он не нарушает своего обещания отцу и не отвечает на письма мисс Линли.

Он много читает, размышляет над прочитанным. С увлечением изучает астрономию, математику, навигацию. Собирается учиться итальянскому языку. В качестве домашнего учителя к нему приставлен в Уолтеме некий Адамс, преподаватель-самоучка и очень бедный человек, обладающий многими достоинствами и обремененный многочисленной семьей. С этим наставником Дик трудится, как Мильтонов дьявол, продвигаясь вперед «на веслах и на всех парусах». И притом пишет почтительные письма отцу — затаив иронию.

Впрочем, его тюрьма не так уж мрачна, как он ее изображает. «Хорошо бы, если бы ты под каким-нибудь предлогом сумел приехать на пару недель в Эссекс», — пишет он Гренвиллу. (Бетси называет Гренвилла «сущим ангелом»; в нем, по ее словам, нет ни капли лицемерия или надменности.) «Ты будешь ездить на охоту, стрелять дичь и изучать науки, чередуя эти занятия наименее приятнейшим образом. По вечерам ты будешь созерцать звезды в милом обществе здешних дам, а на сон грядущий потягивать вино и слушать игру на волынке, если тебе нравятся эта музыка».

Шеридан — настоящий Пьеро. Он стремится к союзу с мисс Линли, но не может обойтись без интерлюдий. Некая Мэри Листер, ветреная жена соседа-врача, пытается завлечь Дика своим кокетством, а мисс К-и, чью фамилию нам не удалось установить, еще больше запутывает ситуацию. Происходят свидания при луне. Миссис Листер рассказывает, а мисс К-и, по уши влюбившаяся, возвращается в Бат, полная ревности и сплетен.

Сама Элиза перестает быть легковверной и долготерпеливой обожательницей Горацио. Ей становятся известны истории о его ухаживании за этими дамами. При всей своей мягкости она отнюдь не бесхарактерна, и тут в ней пробуждается свойственная всем Линли гордость: «Я была так жестоко обманута Вами и другими, что едва не лишилась рассудка, но я слишком — повторяю, слишком — дорого заплатила за приобретенный мною жизненный опыт и впредь никогда больше не дам возможности ни Вам, ни кому-либо другому снова обмануть меня. Никак не ожидала, что Вы станете пытаться оправдать свое поведение. Передо мной Вы не оправдаетесь. И не думайте даже! Представьте себе хоть на минуту, сколько я перестрадала, и потом судите сами, могу ли я вновь согласиться подвергнуть опасности свою жизнь и счастье. Ради всего святого, Ш-и, не пытайтесь вновь заставить меня страдать. Подумайте, в каком я оказалась положении. Подумайте, какие мучения

причинит мне Ваш упорный отказ возвратить мне мои письма. Веления разума и чести запрещают Вам поступать так. Моя просьба — не внезапная прихоть, а результат обдуманного, взвешенного решения. Как Вы понимаете, она вызвана вовсе не капризом: позвольте сообщить Вам, что на днях я беседовала с миссис Л. и мисс К-и. Неужели Вы надеетесь обмануть меня еще раз? Прощайте! Если Вам дорого мое душевное спокойствие, верните мои письма».

В пылу негодования Элиза чуть не выходит замуж по расчету. Слухи о предполагаемом замужестве доходят до Шеридана, и прежняя страсть вспыхивает в нем с новой силой. В качестве счастливого претендента на руку мисс Линли называют сэра Томаса Кларджеса, приятеля Гренвилла. Гренвилл успокаивает Шеридана: Кларджес и не думал делать ей предложение. (На самом деле он уже сделал предложение и получил отказ.) Шеридан выходит из себя. Ослепленный ревностью, он даже Гренвилла подозревает в нежных чувствах к мисс Линли, допрашивает его, а потом оправдывается. Он следит за каждым шагом Элизы. Вот она уезжает в Уинчестер, едет оттуда в Глостер; вот возвращается в Бат. Боже правый! Да она же в Лондоне, приехала сюда по ангажементу на зимний сезон петь в ораториях; значит, она буквально в двух шагах от Фарм-хилла! В конце февраля он пишет своему другу Гренвиллу: «Элиза живет в каком-нибудь часе езды от меня, притом, должно быть, уже давно; однако, клянусь честью, я всячески старался и стараюсь пребывать в неведении относительно конкретного места ее жительства. На днях я вынужден был поехать по делам в Лондон, и, уверяю тебя, ни одна деревенская девушка так сильно не боялась увидеть призрак, идущий в полночный час через кладбище, как страшился я встретить это (скажу так единственный раз, в виде исключения) з е м н о е существо».

Мисс Линли по-прежнему настаивает на возвращении ее писем. Шеридан же отказывается вернуть их, пока она не поклянется, что предпочитает другого. Но, как бы ни укоряла его мисс Линли, она не в силах порвать с ним. Она совершенно несчастна, издергана беспокойством, страдает от надзора за ней. «Вам хорошо известно, — пишет она в прощальном, как предполагалось, письме, — что, уезжая тогда из Бата, я видела в Вас только друга, не больше. И отнюдь не внешность Ваша возбудила во мне любовь к Вам. Нет, Ш-н, полюбить Вас заставило меня совсем другое: Ваша тонкость, чуткость, сердечность и то нежное участие, которое Вы, как мне казалось, проявляли ко мне, к моему благополучию». Далее она переходит к вопросу о ее письмах, которые Шеридан не намерен возвращать. «Не мучьте меня, не заставляйте меня настаивать на моем решении. Поверьте мне, я неспособна полюбить ни одного мужчину.

Они же [письма] ни на что Вам не нужны. Уж не думаете ли Вы, что я изменю свое решение или убоюсь Ваших угроз? Не такого я низкого мнения о Ваших принципах, чтобы принять эти угрозы всерьез. Препятствия, стоящие на пути к нашему союзу, непреодолимы, даже если предположить, что я смогла бы снова поверить Вам!.. Только что от меня вышел отец. Он увидел, что я пишу Вам, и лишь с величайшим трудом я сумела успокоить его. Он собирался немедленно пойти к Вам. Ханне он строжайше приказал доставлять любые письма прямо ему. Если после того, что я рассказала Вам, Вы станете упорствовать, Вы обречете меня на бесконечные страдания. Заверяю Вас, впредь я не распечатаю ни одного Вашего письма и сама больше не буду писать Вам. Если Вы хотите, чтобы я думала, что Вам дорого мое счастье, верните мои письма. В случае Вашего отказа я не смогу принудить Вас, но уповаю на то, что благодетельство не позволит Вам использовать их неподобающим образом. Бога ради, не пишите больше. Я трепещу при мысли о последствиях».

Но Шеридан пишет снова и снова, и она тепло ему отвечает.

«Когда б не призналась любимая мне,
Не знал бы таких я терзаний,
Томясь, не сгорал бы в любовном огне,
Не ведал напрасных желаний.

Сулила мне руку, любовью влекла,
Надежду в груди зародила,
А после, коварна, жестока и зла,
Надежду с презреньем убила.

Но дни, когда смертная гложет тоска,
Не будут же вечно влачиться.
Меня презираешь? — Отрава горька!
Но знаю я, как исцелиться».

ГЛАВА 7

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. ЖЕНИТЬБА

(В последнем действии интерес ослабевает.)

Как певица мисс Линли достигает зенита своей славы. Целый месяц в Лондоне только о ней и говорят. Она одна приковывает взоры лондонцев, услаждает их слух, царит в их сердцах. По-прежнему она каждый вечер зарабатывает большие деньги и всего за четыре дня до венчания поет в Бекингемском дворце по личному приглашению короля и королевы, которые «были исключительно любезны». Король вручает отцу стофунтовую банкноту, рассыпается в компли-

ментах перед дочерью и поглядывает на нее со всей нежностью, «которую он может позволить себе в столь священный момент, как исполнение оратории на слова «Пира Александра»¹. Вместе со своей сестрой она поет в часовне Воспитательного дома, причем в объявлении об этом выступлении указывается, что джентльменам запрещается приходить при шпаге, а дамам — в кринолинах.

Шеридану удалось с помощью Юарта, взявшего на себя роль посредника, положить конец размолвке с мисс Линли. И вот уже, переодевшись кучером наемного экипажа, Шеридан отвозит ее домой из концертных залов и театров.

Линли внезапно меняет свое отношение к браку дочери с Шериданом. Отчаявшись заставить дочь порвать со своим возлюбленным, он соглашается отдать ее за него замуж. Но еще до этого Шеридан подтверждает свое обещание ни при каких обстоятельствах не трогать тех 1200 фунтов стерлингов, которые Линли, с согласия дочери, вправе удержать из суммы, положенной в свое время Лонгом на ее имя. Подобное обязательство приходится по душе человеку, который хотел бы выдать дочь замуж за богача и ранее заявлял, что скорее пожелал бы ей смерти, чем брака с таким расточителем, как Шеридан.

Но Шеридан не сомневается в том, что сделает карьеру; 6 апреля 1773 года его официально зачисляют в Миддл-темпл, одну из четырех школ барристеров Лондона. А неделю спустя он венчается с мисс Линли в Мэрилебонской церкви, без церковного оглашения, в присутствии Томаса Линли и Джона Суэйла, которому месяц спустя новобрачный оплачивает все расходы по бракосочетанию, заметив, что для дружеского счета с него взято «еще по-божески».

Считалось вполне естественным, что молодой муж, не располагающий средствами к жизни и не имеющий никакой профессии, отвергает все предложения ангажировать его жену, у которой профессия есть. Он принимает решение ни при каких обстоятельствах не обращать нежные звуки жениного голоса в золото. Георг III предлагает ему должность постановщика ораторий — Шеридан от этой должности отказывается. Когда Шериданы проводят свой медовый месяц, импресарио Арнольд спрашивает Ричарда позволить Элизабет петь в Пантеоне, но тоже получает отказ. Вслед за этим Шеридан отклоняет еще ряд приглашений выступить, адресованных его жене, которые в случае их принятия позволили бы ей заработать не менее 3200 фунтов стерлингов.

«Он принял мудрое и благородное решение, — восклицает, говоря о донкихотствующем новобрачном, доктор Джонсон. — Это прекрас-

¹ «Пир Александра, или Ода в честь святой Цецилии» (святая Цецилия считалась покровительницей музыки) — ода Джона Драйдена.

ный, мужественный человек. Разве не опорочил бы себя джентльмен, допустивший, чтобы его жена публично пела за деньги? Нет, нет, сударь, он несомненно поступил правильно».

Впрочем, Элизабет, уже став женой Шеридана, поет в Оксфорде по случаю официального введения лорда Норта в должность почетного ректора университета. Во время этой церемонии присуждаются ученые степени *honoris causa*, и лорд Норт говорит Шеридану, что он тоже достоин степени — *uxoris causa*¹.

Она поет также и на Вустерском фестивале, все доходы от которого идут на нужды благотворительности. Миссис Шеридан кладет свой гонорар — стофунтовую банкноту — на тарелку для сбора пожертвований в Вустерском соборе.

После этого великолепного жеста она навсегда прекращает выступления перед публикой. Ее супруг столь же решительно протестует и против того, чтобы Элизабет приглашали в частные дома в качестве бесплатной исполнительницы. Как-то раз сэр Джошуа Рейнолдс пригласил Шериданов к обеду. В расчете на то, что Элизабет споет перед его гостями, он приобрел новое фортепьяно и созвал большое общество. Велико же было его разочарование, когда в ответ на его намек, что все присутствующие будут в восторге, если миссис Шеридан споет им что-нибудь, ее муж заявил, что с е г о с о г л а с и я она решила никогда больше не петь в обществе. Рассерженный этой учтивой отповедью, сэр Джошуа на следующий день жаловался Джеймсу Норткоту: «Неужели им было невдомек, что я пригласил их к обеду только затем, чтобы мы могли послушать, как она поет? Ведь говорить-то она не умеет!» Впрочем, сэр Джошуа вскоре сменил гнев на милость и сделался одним из ближайших друзей Шериданов.

Ужасная весть о женитьбе сына дошла наконец до ушей Шеридана-отца в Ирландии. Эта новость, явившаяся для него тяжелым ударом, привела его в безудержную ярость. Он проклял Дика и заявил, что отныне у него только один сын — Чарлз. Лишь через три года Дик удалось смягчить гнев отца, да и то лишь на время. А пока что Шеридан-отец срывает свой гнев на дочерях, строжайше запрещая им видеться с влюбленными новобрачными.

Новобрачные же проводят свой медовый месяц на лоне природы, среди роз, в коттедже в Восточном Бернхеме. «Я чувствую себя абсолютно и совершенно счастливым, — пишет Шеридан Гренвиллу. — Что же касается облачков, которые, как заметил бы пронизательный взор благоразумия, собираются над горизонтом нашей идиллии, то мой ангел-хранитель шепчет мне, что ветерок удачи разгонит их,

¹ *Honoris causa* (латин.) буквально — почета ради; *uxoris causa* (латин.) — супруги ради.

прежде чем они превратятся в грозовую тучу. Впрочем, женатому человеку пора перестать изъясняться метафорами».

Единственное, что несколько омрачает его счастье,— это гнев отца, который миссис Шеридан называет «яростью *«damnatum obstinatum mulio»*».

В разгар всех своих восторгов Шеридан разрабатывает грандиозные проекты и ездит то в Морден, то в Лондон. Во время одной из таких отлучек он изливает свои чувства в следующих стихах:

«Скажи, наставник мой, любезный Гименей,
Как мне унять томление по ней?
Чем мне занять себя? Тоску прогнать как прочь?
Не то, один, промаюсь я всю ночь,
Терзаем мыслью нестерпимой,
Что я вдали от уст любимой...

.

Какой поэт крылатым
Бег времени назвал?
Счастливец был женатым,
Разлуки ж не знавал!

Ведь тот, кого терзал
Разлуки с милой яд,
Такого бы не сказал,
Ей-богу бы не сказал,
Что часы на крыльях летят!»

Миссис Шеридан без промедления отвечает:

«Как вяло и скучно влачатся часы,
Как медленно тянется день,
Не милы мне дивных пейзажей красы,
Беседок не радует сень.

Брожу одиноко, печальнее туч,
Такой себе жалкой кажусь,
С отградой встречаю заката я луч,
Но ночи прихода страшусь.

Ах, Сильвио милый, ты не забыл
Несчастной Лауры любовь?
И будет ли прежним сердечный твой пыл,
Когда мы здесь встретимся вновь?»

Вмиг свалится с сердца тягостный вес
Тревог да ревности злой,
И с неба на милый Бернхемский лес
Опустится светлый покой».

Занавес

ГЛАВА 8

ПИТОМЦЫ АПОЛЛОНА

Все члены семейства Линли отмечены печатью необычайной привлекательности. Все они музыкальны, изящны, красивы, артистичны. Когда кто-то из гостей, заглянув в детскую комнату, застал малыша Тома Линли за игрой на скрипке и спросил, собирается ли маленький музыкант стать знаменитым, как его отец, тот, не моргнув глазом, ответил: «Сударь, у нас в семье все гении».

Моцарт, познакомившись с Томом во Флоренции, предрекал, что он станет великим музыкантом. Оба младших брата—тоже необычайно одаренные натуры. Озайес, нареченный так в честь художника Озайеса Хэмфри, учился музыке и философии и всю жизнь имел репутацию человека столь же умного, сколь эксцентричного и рассеянного. Окончив Оксфорд, он принял духовный сан, получил приход в Норфолке, но затем поменял священническую должность на пост органиста Далвичского колледжа. Уильям составил состояние на службе в Ост-Индской компании; выпускник Сент-Полза и Харроу, он с детства писал пьесы и стихи и замечательно пел; в 1796 году он вышел в отставку и посвятил себя литературе и изящным искусствам. Что касается сестер Линли, то это поистине питомицы Аполлона: когда Мэри и Элизабет поют дуэтом, слушатели млеют от восторга.

Дети в семье Линли начинают работать, едва выйдя из младенческого возраста. Художник Озайес Хэмфри, живший в доме Линли, вспоминал, как восьмилетняя Элизабет, примостившись у ножек мольберта и глядя на него снизу вверх с поистине ангельским выражением, мелодичным голоском пела все песни и арии из комических опер «Томас и Салли», «Венок» и «Деревенская любовь». С этим же ангельским выражением на лице она грациозно протягивала навстречу пестрому потоку курортников у входа в зал для питья минеральной воды корзинку с билетами на концерт-бенефис отца. Томас Линли-отец женился молодым, и ему еще не было тридцати пяти, когда в 1767 году он впервые вывел на концертную эстраду Бата двенадцатилетнюю дочь и десятилетнего сына; Элизабет дебютировала как певица, а Том — как скрипач.

Всякий, кто внимательно всмотрится в портрет Тома кисти Гейнсборо, легко поверит тому, что это был проказливейший и обаятельный чертенок. Его живые глаза лукаво и вместе с тем задумчиво смотрят из-под густой шапки кудрявых волос. Ямочки в уголках губ, рисунок которых говорит о впечатлительном и одновременно решительном характере, выдают затаенную улыбку. Даже когда годам к двадцати он превратился, как явствует из более позднего его портрета, в бледного, эlegantного, несколько самодовольного молодого джентльмена с гладко причесанными и припудренными волосами, в изящном красном камзоле, при пышном галстуке, подпирающем подбородок, и с треугольной шляпой под мышкой, глубоко в его глазах проглядывает прежний чертенок, а на губах твердого, почти сурового рисунка угадывается все та же затаенная улыбка.

Общей любимицей была также и Мария, отличавшаяся, по свидетельству современника, «красотой, простодушием и остроумием», причем, как видно, это не было просто комплиментом, особенно в том, что касается остроумия. Она воспета в следующих стихах:

«Свежа, как лепесток,
Нежна, как майский день,
Искриста, как поток,
Верна, как свету тень».

Иными словами, Мария, так же как все ее братья и сестры, чрезвычайно привлекательна.

Отец горячо любит всех своих чад — не только потому, что это его родные дети, но еще и потому, что они любят музыку.

Все Линли обладают замечательной способностью привлекать к себе интересных людей. Гейнсборо, давнишний их почитатель, души в них не чает. Да и разве мог бы он, поклонник красоты и музыки, не плениться ими? Он пишет Линли-отца, Тома и Сэма; пишет Элизабет и Тома вместе, Элизабет и Мэри вместе; дважды, если не трижды, пишет портрет Элизабет, пишет портреты Мэри, мужа Мэри, мужа Элизабет и ее сына. Кроме того, он дважды лепит из глины головку Элизабет, раскрашивая затем ее красками. (Чего бы мы не дали за то, чтобы иметь хотя бы одну из этих головок!) Увы и ах, обе они были разбиты усердными горничными в процессе стирания пыли. Наконец, когда и он и семейство Линли переселяются в Лондон, где их дела поплы в гору, Гейнсборо усыновляет трехлетнего малыша только потому, что ребенок очень похож на всех Линли.

Но судьба не милостива к Грациям. Смерть косит молодое поколение Линли. Олицетворенная поэзия, музыка, радость и красота жизни, молодые Линли уходят один за другим. 5 августа 1778 года утонул Том. В декабре этого же года скончался от лихорадки Сэм.

Георг Фридрих умер ребенком, Терстон и Уильям Кэри тоже не дожили до взрослого возраста, Шарлотта скончалась совсем молодой женщиной. Джейн Нэш умерла тридцати девяти лет, Элизабет — неполных тридцати восьми, Мэри Тикелл — до тридцати, Томас — двадцати двух, а Сэмюэл — двадцати одного года. Уильям Линли, самый младший, прожил дольше всех. Он да еще Озайес Терстон, единственные из всего выводка «коноплянок», прожили лето своей жизни, тогда как другие едва дожили до весны.

Мария, прекрасная певица, отправлялась выступать в старом черном капоре и простом домашнем платье, поверх которого надевала мужской кафтан. Бедняжка так и не успела вырасти из этих чудачеств. Она умерла в Бате от воспаления мозга, сторев буквально за несколько дней. Перед самой смертью она вдруг села в постели и тем же красивым, выразительным голосом, которым она пела до болезни, пропела в бреду: «Я знаю, мой спаситель жив».

После смерти Марии на уроках, которые давал Линли, воцарилось уныние; безутешный отец, аккомпанировавший своим ученикам, все время ронял слезы на клавиши. А если по ходу урока одной из учениц случалось, упражняясь, петь какую-нибудь из песен, которую он привык слышать в исполнении недавно умершей дочери, малейшее сходство в манере пения или тембре голоса так волновало его, что он часто бывал вынужден прерывать игру и шагать по комнате, пока к нему не возвращалось самообладание.

Две сестры, Элизабет Шеридан и Мэри Тикелл, особенно дружны между собой и образуют вокруг себя кружок для избранных, быть принятым в который считается высокой честью. Они изъясняются друг с другом на своем собственном, понятном лишь для посвященных языке, еще более нежном, чем тот, на котором Свифт разговаривал в письмах со Стеллой. Сестры часто переписывались, их переписка оборвалась в начале 1787 года со смертью Мэри Тикелл.

Благодаря этим письмам мы имеем возможность воочию увидеть все их окружение: придворных «старых сплетниц» и провинциальных барышень, их балы и вечера за картами, во время которых миссис Тикелл обычно проигрывалась в пух и прах; общество великих мира сего, где они надеются блистать; Фокса — приятеля Шеридана, Джорджа Селвина, отпускающего меткое словцо, Нортов, Тауншендов, Хобартов и Фокенеров, с которыми они теперь водят дружбу. Мы знакомимся с придворными леди: жеманницей мисс Джеффрис и занудой мисс Босс («томной девицей», как именуют ее сестры в своих письмах), к которым миссис Тикелл, умеющая ненавидеть, питает острую антипатию. То и дело они ездят в Лондон: посмотреть какое-нибудь интересное зрелище, побывать в театре, устроить уютный ужин с устрицами в Друри-Лейне, показаться врачу, порадовать визитом престарелых родителей, Бавкиду и Филемона, обитающих

на Норфолк-стрит. Они присутствуют при чудесном полете воздушного шара Бланшара и при дебюте миссис Джордан, пленившей весь город своей мальчишеской стройностью и заразительным смехом; им довелось наблюдать триумфальный успех миссис Сиддонс, которую называют Кемблом в юбке — так высоко ее актерское мастерство; на их глазах происходят головокружительные взлеты и падения театра. Время от времени в корреспонденции сестер мелькает импульсивная фигура Гейнсборо, поклонника семьи Линли: он подбадривает старого Линли, представляет всех его отпрысков в виде картин, подправляет портрет двух сестер, так чтобы исходящий от их лиц свет как бы озарял фон — темный таинственный лес.

Чего только не сделает, чего только не претерпит Мэри ради любимой сестры — миссис Шеридан! Пусть ее достатки скудны, зато как щедро ее сердце! Когда отец дает ей денег, она упрашивает сестру принять их. Когда Элизабет отправляется среди зимы в путешествие, Мэри посылает ей удобные сабо, чтобы в пути у нее не мерзли ноги. Мэри умоляет сестру переменить образ жизни, не кружиться в вихре удовольствий до первых петухов, не превращать ночь в день. Она постоянно печется о здоровье сестры, все время, выражаясь фигурально, щупает ее пульс и меряет ее температуру. Любуясь красивым пейзажем под Нориджем, она переживает, что рядом нет Шеридана и его жены, которые могли бы разделить ее восторги.

Она деятельно любит всех членов своей семьи, заботливо вникает в их дела, предоставляет им кров. То она берет под свое крылышко бедняжку Марию, которая, бунтуя против заведенных порядков, носит мужской кафтан и ночует не дома, а у своей подружки мисс Троруэрд; то она покровительствует Джейн, читает вместе с ней, утешает в горестях, помогает ей советами, строит для нее планы на будущее, сватает ее; то она опекает философа и мечтателя Оззи, вбившего себе в голову, что он встретился с призраком Карла I под аркадой дворца Хэмптон-Корт. Что касается стариков родителей, Бавкиды и Филемона, Филлис и Коридона, то они часто и подолгу гостят у нее, при этом отец педелями музицирует, а мать сидит над счетами и газетами.

Нужно иметь большое терпение, чтобы ладить с миссис Линли, которая скарелничает даже в день смерти Марии, рвет и мечет по поводу возвышения театра, просаживает в карты все, что успевает прибрать к рукам, бранится и злословит, но при всем том остается преданной и мужественной женой и матерью. Даже тяжелые утраты не могут заставить ее отказаться от своих причуд или побороть свою одержимость карточной игрой. Как орел, бросается она в своем синем поплиновом платье на Хэмптон-Корт, «обуреваемая стремлением сражаться в вист, хотя я и говорила ей, что у нее нет ни малейшего шанса выиграть у старых сплетниц».

Пылкий и непреклонный характер Линли-отца смягчается под напором непрестанных огорчений. По мере того как его дети поочередно сходят в могилу, он погружается во все более глубокое уныние. Единственное его утешение — заботливая любовь миссис Тикелл и миссис Шеридан. Мы так и видим его понуро сидящим у себя в комнате в вязаном ночном колпаке и персидском халате, а затем радующимся приходу долгожданного письма от Шеридана. Однажды сестры, отправившись на прогулку в карете, доезжают до пределов Девоншира. Добравшись уже в сумерках до Эксетера, они неожиданно узнают, что здесь гостит их отец. Им сразу же приходит в голову мысль разыграть его. Из расспросов им становится известно, что отец будет возвращаться из гостей по темной аллее вечером, при лунном свете. Они останавливают свою карету, переодеваются и, изменив голос, развязно заговаривают с ним грубым и озорным тоном. Отец изумлен и шокирован, думая, что к нему пристают распутницы, но зато несказанно радуется потом, узнав в мнимых распутницах собственных дочерей.

Светлый, жизнерадостный юмор Мэри Тикелл и ее веселый, добрый нрав — желанные гости в доме Шериданов. Вот один пример, взятый не из переписки сестер, а из воспоминаний их брата Уильяма. В последний день 1781 года и он и сестра Мэри приехали на Брутон-стрит встретить наступающий Новый год. После ужина Шеридан предложил такое развлечение: пусть каждый гость сочинит эпиграмму, избрав мишенью какую-нибудь новую книгу. Незадолго до этого вышла в свет поэма Хейли «Победы долготерпения», и миссис Тикелл экспромтом сложила следующее четверостишие:

«Спокойна, смиренна и ликом светла,
Хоть вижу — галиматья,
От корки до корки я книгу прочла.
Ну как? Терпелива ли я?»

Эти живые воспоминания еще больше растравляли горе близких, оплакивавших ее безвременную кончину.

Да, смерть пришла за Мэри Тикелл слишком рано. Мэри долго болела и скрывала свой недуг от окружающих. Миссис Шеридан описала все стадии медленно протекавшей, но коварной болезни, трагическое прогрессирование которой вынудило Мэри поехать лечиться к горячим источникам; рассказала, как нежно заботились о больной Тикелл и Шеридан, как она твердо решила всячески скрывать, что надежды на выздоровление нет, как мучительно ей было покориться неизбежному. Даже в этих обстоятельствах миссис Тикелл пыталась приободрить сестру и буквально на смертном одре написала ей едва повинувшейся рукой трогательную записку: «Миссис Тикелл

свидетельствует миссис Шеридан свое почтение и берет на себя смелость высказать мысль, что, если она употребит свое свободное время после завтрака на переписку вышеизложенного, это будет способствовать ее усовершенствованию». Миссис Шеридан написала ниже: «Последние строки, написанные рукой дорогой сестры всего за несколько дней до смерти, — она хотела показать, что по-прежнему может писать мне».

Через четыре года после кончины Мэри ее сестра, не переставая скорбеть о ней, почтила ее память в щемящих душу строках, которые предпослала дорогим ее сердцу письмам покойной: «27 июля 1787 года она отмучилась, и я безвозвратно потеряла сердечного друга и спутницу моей молодости — любимую сестру, чья душевность и благожелательность внушали любовь к ней всем тем, кому посчастливилось узнать ее. Она угасла на двадцать девятом году жизни, горько оплакиваемая всеми, и была погребена в соборе в Уэлсе, где она провела детство и счастливо прожила в бедности первый год своего замужества. Не прошло и двух лет после ее смерти, как мистер Тикелл женился вновь — на восемнадцатилетней красавице!!!» (Когда Мэри умерла, Тикелл был безутешен и хотел запечатлеть в надписи на надгробном камне свою решимость никогда больше не жениться. Его благоразумно уговорили отказаться от этого намерения.)

«Вплоть до его женитьбы детишки, столь дорогие мне, продолжали жить у меня. Потом отец забрал мальчиков к себе. Девочка — слабое дитя, доставшееся мне в наследство от ее бесконечно дорогой мне и вечно оплакиваемой матери, — по-прежнему остается со мной и составляет все мое счастье. Э. А. Ш., 24 августа 1791 года».

В голосах сестер слышны слезы. Элизабет Шеридан тяжело переживала утрату, и горе ее было безутешно; навещая знакомые места близ Брэндон-хилла, где обе они провели свои школьные годы, Элизабет не выдержала и громко разрыдалась. До своего последнего дня она носила на груди, рядом с сердцем, миниатюрный портрет сестры работы Косуэя, который завещала нежно любимой племяннице.

Среди бумаг Шериданов сохранилась эпитафия, написанная Элизабет в память о Мэри Тикелл:

«Ты в сердце траур носишь по сестре родной,
Любимой спутнице младой поры твоей.
В раздумье горьком, скорбном здесь постой
И на ее надгробье слез поток пролей.
Подруги сердца твоего покоится тут прах,
Что так добра была, сердечна и мила.
Как радости огонь горел в ее глазах

И сколько было в ней душевного тепла!
Какой она была веселой, скромной, цельной,
Как хорошо жила, врачуя скорь мою,
Покуда бог, разбив сосуд скудельный,
Ту душу чистую не поселил в раю».

ГЛАВА 9

ДЖОРДЖИАНА

Толпа знатных поклонников ухаживает за «святой Цецилией»; рой прекрасных дам — Джорджиана, герцогиня Девонширская, леди Данкеннон (впоследствии леди Бессборо), миссис Кру и другие — вьется вокруг Шеридана. Оба они в моде, и по ним сходят с ума.

Они оповещают свет о своем намерении дважды в неделю устраивать у себя дома, на Орчард-стрит, близ площади Портмен-сквер, концерты «для гостей благородного звания». Под концертный зал оборудуется задняя комната. Мебель предоставляет мистер Линли. На музыкальные вечера потоком устремляется модная светская публика. Концерты эти даются совершенно бесплатно. (Когда Шеридана бранят за то, что он живет не по средствам, он отвечает: «Помилуйте, сударь, как раз в этом и состоят мои средства».)

Нельзя сказать, чтобы восхождение на Олимп совершалось гладко и беспрепятственно. Так, двери дома герцога и герцогини Девонширских открылись перед Шериданами только после известных колебаний, и даже в 1785 году мистер Уиндхем проговорил целое утро с миссис Легг на тему о том, желательна ли водить знакомство с миссис Шеридан.

Впрочем, Шеридан сразу же покоряет Джорджиану и ее сестру Гарриет — леди Данкеннон. Джорджиане семнадцать лет, и она только что сделала блестящую партию — вышла замуж за пятого герцога Девонширского, которого считали лучшим женихом в Англии. Она затмевает первых красавиц, сама не будучи красавицей; молодая, стройная, приветливо-благожелательная, умная, живая и скромная, Джорджиана — настоящее чудо. Черты ее лица неправильны да и фигура небезупречна, но она обворожительна. Это рослая блондинка с божественно белой кожей, синими глазами и волосами рыжеватого отлива. Она всегда пребывает в хорошем настроении, постоянно улыбается и смеется, обнажая два ряда великолепных зубов (чем мало кто мог похвалиться в ту эпоху). Характер написан у нее на лице: такой же открытый, как ее сердце, мягкий, легкий. Она полна обаяния.

Джорджиана весела и остроумна. И она и ее сестра неприступно щебечут с музами. Если ей случается посетить какого-нибудь

министра, она имеет обыкновение, заходя в кабинет, поразить его младших служащих неожиданным монологом, произносимым по-французски. Она обожает общество талантливых людей, и к числу ее друзей принадлежат Чарлз Фокс и Джордж Селвин. Часто можно наблюдать, как восторженно внимает она каждому слову доктора Диксона и старается захватить место рядом с его креслом.

Она любит удивлять, озадачивать неожиданными поступками и переменами. Это сказочная королева — если не искусства поэзии, то, во всяком случае, искусства преобразования. Каждый месяц у нее новая прихоть. То она погружается в изучение филологии, то превращается в кокетку, то блещет остроумием, то становится чуть ли не косноязычной, то пускается во все тяжкие, то живет отшельницей, то азартно играет, то являет собой воплощенную наивность. Возвращаясь домой из Рэнели, она сочиняет морализаторские вирши и в то же время ослабляет шнуровку корсажа, который стягивает ее талию с такой силой, что она теряет сознание. Куда бы она ни направлялась, она усеивает свой путь стихами — французскими, итальянскими и английскими. Ее поэму о переходе через Сен-Готард читает вся Англия. Где бы она ни была, мужчины и женщины становятся ее верными рабами. Будучи в Париже, герцогиня совершенно покоряет Марию-Антуанетту. Философы, поэты, государственные деятели — все поддаются под ее очарование. Принц Уэльский, которого она отчитывает за привычку говорить неправду, без ума от нее и ревнует ее к молодому Грею, вообразив, что он фаворит Джорджианы. Впрочем, эти влюбленные — не исключение. Все, кому довелось знать Джорджиану Кавендиш, влюбляются в нее, и любовь к ней никогда не умирает в их сердцах.

Ее горячая дружба с леди Бетти Фостер затмевает своей пылкостью даже неистовые порывы их любимца Руссо. «Ты — воплощение всех, буквально всех моих надежд на дружбу, — пишет ей Джорджиана из Венеции. — Без тебя мне не мил белый свет. Если бы ты вдруг отдалилась от меня, я этого не пережила бы, а если бы и осталась в живых, то не смогла бы думать ни о ком другом».

Но порывы чувствительности чередуются в ее душе с приливами благоразумия. Джорджиана — прекрасная мать, которая заботливо растит и воспитывает своих детей, проявляя при этом большую проницательность и тонкое чувство юмора. В 1790 году, думая, что находится при смерти, Джорджиана обратилась к своему маленькому сыну с таким последним напутствием: «Будь мужественным, сынок, всегда говори правду». Она не только примерная мать, но и любящая дочь, которая чуть ли не ежедневно пишет письма-исповеди своей матери. В этих письмах она клянется исправиться, обуздать себя, уединиться от света. Она проливает горькие слезы по поводу неприятностей, причиненных ее эскападами.

Однако она по-прежнему и летом и зимой обедает в семь, ложится спать в три и нежится в постели до четырех пополудни; по утрам у нее случаются истерические припадки, а вечера она посвящает танцам; десять дней подряд она плавает, совершает прогулки на лошади, с упоением танцует, а следующие десять дней проводит в кровати.

На долгие годы она становится признанной законодательницей мод и вкусов, знаменитостью в сфере политики, в мире развлечений, в живописи. Среди модников почитается особым шиком иметь ее портрет, так что все гравюры с ее изображением распродаются нарасхват. Рьяные поклонницы перенимают ее маленькие недостатки, даже приобретенные в результате болезней.

Самые же большие ее недостатки — это молодость и жизнерадостность. От первого из них она избавляется с годами, от второго ее излечивают тяжелые переживания. Удобной мишенью для критики является ее любовь к нарядам. Не она ввела моду на плюмажи, но зато ни у одной другой женщины нет такого высокого и пышного плюмажа, как у нее. Эта поразительная причуда сразу же привлекает к Джорджиане всеобщее внимание, создает ей скандальную славу. Против нее ополчаются ядовитые перья памфлетистов с Граб-стрит и гораздо более ядовитые языки других знатных дам, претендующих на роль законодательниц мод. А это уже само по себе свидетельство полного успеха. «Ни о чем другом не говорят теперь так много, как о пышных туалетах дам, более уместных на сцене или в маскараде, нежели в обществе воспитанных, скромных людей», — пишет миссис Делани. Лондонские дамы приглашают своих зарубежных подруг приехать и полюбоваться их плюмажами: «Мы прямо-таки подметаем небеса». Прически достигают небывалой высоты и украшаются перьями *en rayons de soleil* или *le jardin anglais*¹ — с розочками, фруктами, репками, желудями и картофелинами, причем платья отделяются аналогичным образом. В результате дама становится похожа на движущийся дом, но в общем и целом выглядит нарядно. Лорд Стормонт дарит герцогине Девонширской страусовое перо длиной в четыре фута. Это перо становится предметом жгучей зависти модниц и порождает дух бешеного соперничества. Но где же достать перья такой длины? Соперницы Джорджианы тщетно рыщут по всему Лондону, покуда им не удастся уговорить владельца похоронной конторы продать им громадные колыхающиеся плюмажи с верхушки его катафалка. Количество перьев в волосах дамы возрастает с шести до одиннадцати, а высота прически на валиках мало-помалу увеличивается с десяти дюймов до целого ярда над линией лба. При королеве Анне прически дам менялись, становясь то

¹ В виде солнечных лучей; на манер английского сада (франц.).

выше, то ниже. Теперь же, при королеве Шарлотте, прически растут с быстротой Вавилонской башни.

Все это будет происходить много позже 1774 года, но уже сейчас Джорджиану выводит из себя и толкает на капризы холодное равнодушие ее супруга, которому совершенно неведомы сильные чувства и которого только вист да «фараон» способны вывести из апатии, похвоей на летаргический сон.

Герцог принадлежит к семье, члены которой славятся своей неразговорчивостью и любовью к уединению. Однажды герцог и его брат, лорд Джордж Кавендиш, остановились по дороге в Йоркшир на постоялом дворе. Их поместили в номере на трех человек. Две кровати с пологам на четырех столбиках предназначались для братьев; третья кровать стояла поодаль с задернутым пологом. Каждый из братьев поочередно подошел к этой постели и заглянул в щель между занавесками. Потом оба улеглись спать. Назавтра, уже в пути, один брат спросил другого: «Видел, кто лежал вчера в той кровати?» «Видел», — последовал лаконичный ответ. В кровати был мертвец.

Столь безучастное отношение к жизни является отчасти врожденной чертой характера герцога, а отчасти — приобретенной. Ведь уравновешенность — это хороший тон.

При всем том герцог — человек умный и образованный. Он большой знаток античной филологии. Когда у Брукса разгораются споры по поводу каких-нибудь стихов римских поэтов или пассажей из римских историков, к нему обращаются как к высшему авторитету, способному разрешить любой спор. А его глубокое знание Шекспира стало в среде знакомых притчей во языцех. Но нет у герцога никакого стимула, который побуждал бы его занять подобающее ему место в обществе. Он лишен всякого честолюбия. Когда его наградили почетным орденом на зеленой ленте, он лишь пробурчал, что зеленый кафтан пригодился бы ему больше.

Нельзя сказать, чтобы герцогу Девонширскому были вовсе чужды нежные чувства. Он отнюдь не был безразличен к обольстительным женским чарам. Но его явно не прельщали чары его красивой и обаятельной жены.

Не удивительно, что Джорджиана теряет покой и ищет развлечений. Не удивительно, что Шеридапы поддаются под власть ее очарования, когда она наконец удостоила их своей дружбы и покровительства.

Сестра Джорджианы, леди Далкеннон, с которой у Шеридамы завязывается более близкая дружба, почти так же обворожительна и гораздо более своенравна. Круг ее интересов широк. Она увлекается искусством, литературой, политикой. Она очень впечатлительна и очень легкомысленна. В известной мере то же самое можно

сказать и о всех знатных леди, принятых в доме герцогов Девонширских. Это не ангелы во плоти и не исчадия ада. Но как бы они ни поступали — на благо или во зло, справедливо или несправедливо, — они всегда полны энтузиазма и наделены поистине кипучей энергией.

Леди Данкеннон кружит головы сразу четырьмя мужчинам; они поют ей дифирамбы, всюду сопровождают ее и ухаживают за ней en toutes formes¹. В голове у нее ветер, но сердце доброе, отзывчивое. Она умеет любить и ради тех, кого любит, готова взяться за любое дело, пусть даже в большинстве случаев ее постигает неудача.

Сестры, графиня и герцогиня, делят друг с другом все радости и горести; поделили они и Шеридана. Он желанный гость в доме герцогов Девонширских, этом излюбленном месте встреч модных остроумцев и светских красавиц, где политику облачают в самые привлекательные наряды и возводят на трон, подобно тому как эпикурейцы возводили на трон Добродетель, предоставляя молиться и наслаждаться служанкам.

С Шериданами, этой блистательной парой, заводят дружбу не только бесподобные сестры, но также леди Лукен, леди Корк, семейства Ковентри и Харрингтонов. Музыка, остроумие и блеск таланта скрепляют этот союз. Однако расположение титулованных особ не помогает снискать расположение мясника и молочницы, и Шеридан работает, чтобы гнездышко, которое супруги свили себе на Орчард-с рит, не знало нужды.

Вскоре появился и дополнительный стимул трудиться не покладая рук: родился первенец, которого назвали Томом. Младенец в девятимесячном возрасте поражает «буквально всех своей живостью, музыкальной и поэтической одаренностью, а также светлым умом»; этот чудо-ребенок так быстро развивается, что «восходящее утром солнце — и это ясно видно всякому — изумляется, как он подрос за ночь».

На первых порах Шеридан занимается сочинением эссе, обзоров, рецензий. Он хорошо владеет критической дубинкой: у писак имярек «нет ни одной своей мысли», а заимствованные мысли «банальны»; его манера письма «детски незрела». Он подвергает резкой критике «Письма» лорда Честерфилда и дает отповедь доктору Джонсону, выступившему в своей статье «Налогообложение не есть тирания» с защитой верховной власти монарха от притязаний американских колоний. Шеридан обзывает дородного доктора «политиканом, живущим на подачки, который обязан расплачиваться за милости жалкой ценой ежегодного памфлета... Людям не свойственно глубоко обдумывать предмет, если они не свободны в выборе мнения. Они страшатся столкнуться с препятствиями, способными пошатнуть их

¹ Всеми способами (франц.).

перу (как это случается в религии), и посему довольствуются поверхностным рассмотрением предмета». По счастью, это эссе осталось непечатанным.

Шеридан пишет черновой набросок «Драма дьяволов» и сочиняет лирическую оду «Постный день», в которой высмеивает только что объявленный священный пост. «Ваше величество,— обращается он к королю во вступлении,— малодушные и несведущие, возможно, сказали бы, что делать посвящение монарху, не испросив заранее позволения на это, значит поступать дерзко и нагло, но посвященным в придворные тайнства Сент-Джеймса известно, что обращаться ко двору с обоснованной просьбой значит, по существу, напрашиваться на отказ. Простой человек и верноподданный короля, не заручившийся в силу своей прямоты и преданности необходимыми рекомендациями, вынужден доложить о себе сам и высказать своему монарху правду, которую его придворные, ложно именуемые его друзьями, не открывают ему — то ли по своей невежественности, то ли по недостатку честности. Эта правда, Ваше величество, известна любому школьнику, знакомому с азами политики, и состоит просто-напросто в том, что американская война, несправедливая и безрассудная, неминуемо закончится непоправимым позором или же полным крахом».

Шеридан увлекается утопическими идеями. Он посылает в типографию книгу, издание которой, по его мнению, «создаст ему репутацию, даже если не приведет ни к каким практическим результатам». Эта книжица, носящая название «Храм науки» и посвященная королеве Шарлотте, представляет собой химерический очерк о женском образовании. Однако королева неодобрительно отзывается о произведении, насквозь проникнутом революционными французскими идеями. Шеридан ратует за создание академии по образцу академии мадам де Мэнтон в Сен-Сире и предполагает, что королева предоставит для этой цели Хэмптон-Корт или какой-нибудь другой дворец. Она станет почетным ректором этого женского университета, а первые леди страны — его проректорами. Автор отстаивает принцип равенства. «Ученицы должны быть распределены по классам в соответствии с их возрастом, а не степенью знатности. Преподавателями, за исключением учителей иностранных языков, должны быть женщины. Латынь и греческий преподаваться не будут: печать педантичности на челе [со всей серьезностью замечает двадцатитрехлетний автор] стирает румянец застенчивости. Зато будет преподаваться практическая сторона наук. Изучая историю, они узнают, что человеку ведомы помимо любви и иные страсти».

Вслед за этим Шеридан обрушивается с суровой критикой на реалистический роман. Женщин следует воспитывать на более благородных героях, чем эти холодно-учитивые создания реалистических

романов, погрязшие в житейской суете, которых жизнь «настолько пообмяла, пообтесала и пообтерла, что с них, словно с монеты, долго бывшей в хождении, стерся образ божий, так что сам господь, изъяв такую монету из обращения, не признает в них свой образ и подобие». Коснувшись отдыха и развлечений воспитанниц, автор рекомендует верховую езду и пешие прогулки. Для поощрения духа соревнования в танцах и концертных выступлениях предусматривается присуждение премий; комнатные игры, завезенные из Франции, помогут весело и интересно проводить часы досуга зимой. «Что же касается нравственных обязанностей и сердечной любви, то их наставником должен стать священник незаурядного, выдающегося характера... С жизнью их надлежит знакомить постепенно. Прежде всего следует прививать им, по примеру французских монахинь, умение экономно вести домашнее хозяйство. Отсутствие такого умения наносит супружеству невыразимый ущерб... Мне ненавистны женщины, похожие на факельщиков».

Наконец, имея, по-видимому, в виду восхитительную Джорджиану и прелестную леди Данкеннон, Шеридан замечает: «Споры о том, что есть надлежащая сфера женщин, праздны. Уже сама попытка мужчин как-то очертить их орбиту говорит о том, что бог уготовал женщинам роль комет и поставил их вне пределов нашей компетенции... Влияние, оказываемое на нас женщинами, подобно воздействию изящных искусств. У диких народов, где мужская гордыня еще не увековечила первые веления невежественности в форме закона, мы наблюдаем подлинные проявления природы. Свирепый гурон становится по отношению к предмету своей любви кротким и нежным, как северный олень. Он отнимает у птиц перья для ее головного убора, ныряет за жемчугом, чтобы украсить ожерельем ее шею; ее взгляд для него — закон, ее красота — его религия. Судьба мужчин — быть под властью женщин».

ГЛАВА 10

«СОПЕРНИКИ»

Вечером во вторник 17 января 1775 года в театре Ковент-Гарден состоялась премьера пьесы Шеридана «Соперники». В анонсе имя автора указано не было, хотя Шеридан и не скрывал своего авторства; вслед за пьесой в тот же вечер давали пастораль в масках и пантомиму. Театр ломился от публики — собрался весь цвет общества. Увы, успех Шериданов в свете вызвал кое у кого зависть, и недоброжелатели натравили на автора и его пьесу клаку в театре и газетных писак. Целый хор клакеров испускает неодобрительные крики, шикает, свистит; с галерки выводят целую компанию гор-

ланов, но даже из лож раздаются свистки. Только лишь эпилог, приписанный молвой Гаррику, не был ошкан. Сама же пьеса провалилась. Ее недостатки — растянутость, стилистические излишества, длинноты — подверглись резким критическим нападкам, а несомненные достоинства всячески преуменьшались как якобы второстепенные и неоригинальные. Газеты и журналы не нашли для пьесы ни одного доброго слова. Они единодушно объявили ее неудачей. Их общий приговор: пьеса невыносимо скучна. Сама ее естественность вызвала нарекания. Пьесу заклеили как незрелую. Ее можно подправить, писали рецензенты, отшлифовать, но это ее все равно не спасет.

Почти столь же резким нападкам подверглись и актеры. По утверждениям газет, Квик, актер самого легкого комедийного жанра, исполнявший роль Боба Акра, «переигрывал, сбиваясь на фарс». На опытную актрису миссис Грин критики возложили всю вину за непопулярность миссис Малапроп. (Шеридан позаимствовал характер миссис Малапроп из пьесы своей матери «Поездка в Бат».) Льюис, исполнитель роли Фокленда, удостоился похвалы, но только за то, что он «изо всех сил старался справиться с трудной ролью». Миссис Балкли, игравшая Джулию, сорвала аплодисменты — в основном за прочитанный ею эпилог. Шутер, игравший сэра Энтони Абсолюта, якобы нетвердо знал свою роль, а Вудворд, исполнявший роль героя пьесы, играл, по уверениям рецензентов, далеко не лучшим образом. Однако наиболее суровые упреки были адресованы актеру Ли, который, играя сэра Люциуса О'Триггера, глубоко оскорбил национальные чувства зрителей-ирландцев. Во время бурной сцены в пятом действии в него попало яблоко, брошенное из зала. Тогда он вышел на авансцену и с сильным ирландским акцентом спросил: «Черт возьми, это что — личный выпад? Вы метили в меня или в моего героя?» Но мишенью был явно он, потому что, по отзывам, его исполнение являло собой «вызов здравому смыслу... и даже в отдаленной степени не воспроизводило манер наших славных и достойных соседей; скорее, это был портрет р е с п е к т а б е л ь н о г о готтентота [sic], изъясняющегося на каком-то грубом диалекте, не напоминающем ни валлийский, ни английский, ни ирландский язык». Перед вторым представлением эта роль была передана Клинчу. Режиссер театра Гаррик едва уговорил Шеридана, который в отчаянии собирався было выбросить пьесу в мусорную корзину, снять ее с репертуара для сокращения и кое-каких переделок.

Шеридан заменил первоначальный пролог, представлявший собой довольно плоский диалог между адвокатом и стряпчим, новым прологом, который произносила миссис Балкли. Указывая на фигуру Комедии в углу сцены, актриса обращалась к публике со словами: «Взгляните на нее...

От этой ли красотки ждать рацей?
И проповедовать пристало ль ей?
Седой ли опыт юности идет?
Для важных мин годится ль этот рот?»

И далее:

«Ее ли свергнуть? И призвать взамен
Чувствительную Музу грустных сцен...»¹.

Дело в том, что главной виновницей провала пьесы была консервативная часть публики, усмотревшая в ней недопустимое отклонение от модной в ту пору сентиментальной комедии.

Неудача огорчила Шеридана, но не обескуражила его. В глубине души он был уверен, что после переделки «Соперники» будут иметь успех. Узнав, что муж забрал пьесу из театра, Элизабет почувствовала большое облегчение. «Мой милый Дик, я в восторге. Ведь я всегда знала, что писанием пьес ты ничего не зарабатываешь, так что теперь у нас только один выход: я снова начну петь для публики, и у нас будет столько денег, сколько мы пожелаем». И действительно, тут же возобновились весьма выгодные предложения об устройстве ее публичных выступлений, но Шеридан снова ответил на все эти предложения решительным отказом. «Нет, — заявил он, — этому никогда не быть. Я знаю, где я допустил ошибку. Пьеса оказалась слишком растянутой, да и роли были распределены неправильно».

И вот вечером в субботу 28 января на подмостках Ковент-Гардена опять играли «Соперников». Пьеса, подвергшаяся основательной переработке, шла с новым музыкальным дивертисментом «Два скупца». Спектакль имел большой успех, и тон рецензий изменился. Так что пьеса, на первых порах провалившаяся, прошла еще четырнадцать-пятнадцать раз перед закрытием сезона. Шеридан сразу стал признанным драматургом, у него появились деньги, а к середине февраля газеты уже печатали посвященные ему хвалебные стихи.

Автор пьесы был признателен актеру, который, взявшись сыграть роль сэра Люциуса О'Триггера, спас положение. Клинич был сребролюбив и имел большую семью. В его пользу устроили бенефис. Шеридан решил обеспечить Клинчу успех и за двое суток написал к его бенефису короткий фарс «День святого Патрика, или Предприимчивый лейтенант». Бенефисный спектакль, в котором Клинич играл ирландца-лейтенанта О'Копнора, любовника и солдата, состоялся 2 мая 1775 года. Этот фарс давали еще пять раз до наступления лета.

Все это лето Шеридан не покладая рук трудился над комической оперой, музыку к которой подбирали и сочиняли его жена и теща —

¹ «Соперники». — Ш е р и д а н Р.-Б. Драматические произведения, с. 38.

Лицли. Поначалу Лицли не желал идти на поводу у зеленого юнца, который к тому же был полным профаном в музыке, и негодовал по поводу противных его эстетическим принципам заимствований у других композиторов, но в конце концов он подчинился диктату молодого зятя.

В основу нескольких песен были положены мелодии шотландских и ирландских баллад, прекрасным исполнением которых прославилась Элизабет. Таким образом, перо Ричарда взяло себе в союзники локальное искусство Элизабет.

Премьера «Дуэньи» состоялась 21 ноября 1775 года в театре Ковент-Гарден, и успех этой комической оперы превзошел самые смелые ожидания ее автора. Она шла под единодушные рукоплескания зала и выдержала небывалое количество представлений подряд — семьдесят пять, на тринадцать представлений больше, чем «Опера нищего» почти полвека назад. Этот успех не только добавил лавров к лавровому венку драматурга, но и существенно пополнил его кошелек. Спектакль с триумфом игрался из вечера в вечер. Представлений не было лишь в рождественские дни да еще каждую неделю по пятницам, когда не мог играть Леони (Дон Карлос), еврей по национальности. («Театр и синагога делят Леони между собой»). Будучи кантором синагоги в Бевис-Маркс, где он пел под своим настоящим именем Мейер Лион, он имел разрешение выступать в театре при условии, что это не будет мешать исполнению его обязанностей в синагоге.)

В «Дуэнье», так же как и в «Соперниках», Шеридан смело отступил от канонов жанра. Ведь до этого О'Хара, Бикерстафф и другие авторы сочиняли оперетты, представлявшие собой этакие побрякушки — смесь глупого диалога и искусственно соединенных с ним песен; «Дуэнья», напротив, представляла собой связанное целое, причем песни, вкрапленные Шериданом в ткань этой пьесы, были не чем иным, как его собственными лирическими стихотворениями, проникнутыми романтикой его любви. Если мотивы дуэлей, на которых он дрался, рефреном звучат в энергичной прозе «Соперников», то мотивы его побега с возлюбленной насквозь пронизывают стихи в «Дуэнье».

Шеридан уделил поразительно мало внимания разработке характеров и воспроизведению местного колорита — достаточно того, что диалог в «Дуэнье» искрист и остроумен, а песни изящны и мелодичны. И он явно не старался создавать свое детище по всем правилам жанра комической оперы. Автор так никогда и не взял на себя труд перелистать какое-нибудь из печатных изданий «Дуэньи». Много лет спустя произошел такой случай. Келли, музыкант и певец, просматривал по книжному тексту «Дуэньи» роль Фердинанда, которую он должен был исполнять вечером, и, уходя, оставил книгу на столе.

Вернувшись домой, он застал у себя Шеридана, внимательно читающего и исправляющего текст. «Вы исполняете роль Фердинанда по этому печатному экземпляру?» — спросил Шеридан. «Да, — ответил Келли, — вот уже двадцать лет». «Значит, все это время вы мололи ужасную чепуху», — заметил Шеридан, снова погружаясь в работу. Он не вышел из комнаты, пока не исправил каждую фразу роли.

Пятиактная комедия, двухактный фарс и трехактная комическая опера — неплохой плод трудов одного года. В начале 1775 года Шеридан был неизвестным начинающим литератором, а к концу этого же года стал крупнейшим драматургом своего времени.

Результаты такой метаморфозы не замедлили сказаться. Прежде всего, сменил гнев на милость Отец-латинист. Далее, оливковую ветвь примирения протянул Шеридану и доктор Джонсон, с похвалой отозвавшийся о нем. Вот уже в течение какого-то времени Шеридан был любимцем кружка сэра Джошуа Рейнолдса и подписал вместе с другими его членами обращение к Джонсону с просьбой, чтобы он изменил свою эпитафию, посвященную Голдсмиту. Кроме того, Шеридан сделал тонкий комплимент биографу Севиджа при возобновлении постановки принадлежавшей перу этого поэта драмы «Сэр Томас Овербери». Но доброта доктора Джонсона шла дальше простых похвал. Джонсон, как никто другой, ревниво оберегал репутацию Литературного клуба¹, члены которого, самые тонкие умы своего времени, собирались то на Джеррард-стрит, то во дворце Сент-Джеймс. И вот Джонсон оказал молодому драматургу честь, предложив избрать его в члены клуба. Избрание Дика Шеридана состоялось 14 марта 1777 года в присутствии Гиббона, Гаррика, Берка и Рейнолдса. Когда Шеридан впервые занимал свое место за круглым столом, председательствовал Чарлз Фокс.

Шеридан познакомился с Фоксом вскоре после премьеры его первой комедии. Они выразили друг другу взаимное восхищение, и их знакомство быстро переросло в дружбу. Между прочим, познакомил их Гиббон. Пикантное зрелище: ученый муж, низкорослый, невзрачный и пресный, представляет остроумца драматурга Алкивиаду от политики. Таким образом, успехи Шеридана на драматургическом поприще подготовили почву для его политической карьеры.

Эти успехи предопределили будущее Шеридана и в других отношениях. Гаррик, так же как и Джонсон, будучи в ссоре с Шериданом-отцом, благоволил к сыну. И если в прологе 1777 года Ричард Шеридан сделает комплимент Джонсону, то сейчас он под занавес сделал комплимент Гаррику. Это очень порадовало актера, и тот

¹ Клуб, основанный в 1764 году Джошуа Рейнолдсом, Сэмюэлом Джонсоном и другими.

горячо поддержал стремление Шеридана стать его преемником. И так, три пьесы, написанные Шериданом в 1775 году, в конечном счете проложили ему путь к руководству театром Друри-Лейн и даже к наборанию в парламент.

К тому же благодаря своим пьесам Шеридан смог занять более высокое положение в обществе. Он сразу же стал знаменитостью, светские люди искали знакомства с ним, и герцогиня Девонширская могла больше не сомневаться в правильности своего выбора. Весной 1776 года подруга герцогини, миссис Кру, давала грандиозный бал — грандиозный настолько, что он был увековечен в стихах, — и Шеридан блистал на нем.

Аморетта, так зовут миссис Кру, находится в самом расцвете своей красоты, ума и обаяния. Она находчива, остроумна и ослепительно красива — яркие светские красавицы бледнеют перед ней. Вообще другие женщины выглядят рядом с ней дурнушками. Притом она не только красавица, но и большая умница. В этот век каждая влиятельная дама пишет стихи, и миссис Кру не составляет исключения. Сочинение стихов стало модным увлечением, почти таким же распространенным, как нюханье табака. Литература у миссис Кру в крови. Ее мать в свое время написала оду и роман, оставшийся, правда, незаконченным. Сама миссис Кру пишет стихи и дневники. Общение с учеными дамами, этими «синими чулками», придает ее беседе легчайший отпечаток педантичности. Она любит общество Эдмунда Берка и, возможно, переняла некоторые его глубокомысленные манеры. Миссис Кру, как уже говорилось, поразительно красива, чрезвычайнo остроумна и, несомненно, умна. Наряду с этим она добра, душевна, импульсивна и неблагоразумна. Она непрестанно щебечет, сплетничает, смеется, болтает, перебивает собеседников, распространяя вокруг себя атмосферу веселой суматохи, обид и тревожных порывов.

Есть в ней что-то детское, и эта детскость пленяет мужчин даже сильнее, чем властное женское очарование. Казалось бы, сама того не желая, она трогает и покоряет сердца мужчин. Покоряет она и сердце Шеридана, которое на годы подпадает под власть ее чар.

На празднество, устроенное миссис Кру, Шеридан является один, без жены, которая в это время находится в Бате. Украшением бала служит целый букет светских львиц: Джорджиана — герцогиня Девонширская, Изабелла — герцогиня Ратлендская, графиня Джерсейская и известная своим непостоянством красавица леди Крейвен. Молва утверждает, что дамы дарили Шеридану знаки внимания, кокетничали с ним. Впрочем, он посылает жене лирическое стихотворение, в котором Сильвио заверяет свою Лауру в том, что весна для него — не весна, раз рядом нет его любимой. Лаура отвечает ему еще более длинным стихотворением, которое выдает ее опасения,

но завершается выражением вновь обретенной счастливой уверенности.

Со всех сторон окружают Сильвио веселые, молодые, красивые женщины. Вот великолепная Стелла (герцогиня Ратлендская) приближается к нему, чтобы получить из его рук приз — цветок, но он уже загляделся на Миру (герцогиню Девонширскую). Чередой проходят перед ним остальные красавицы. И тут появляется миссис Кру, которой он преподносит аютины глазки:

«Походкой легкою, изящна и стройна,
Лицом прекрасна, всем на загляденье,
Вошла красавица — и велика ль вина,
Коль бедный Сильвио охвачен был смятеньем?»

Но Лаура не сомневается в своем Сильвио и, посещая грот, где они поклялись друг другу в верности до гроба, исполняется беззаветной веры в его любовь:

«Приходит ли Лаура, как в то лето,
В наш грот под ивой, Сильвио любя?
Неужто Сильвио из дивного букета
Не выберет цветок, Лаура, для тебя?»

— Тебе, Лаура, трепетно сплетает
Твой верный Сильвио невянувший венок.
Хоть роза и пышна, да быстро облетает.
Нет, с миртом не сравнится ни один цветок!

— Моей любимой будет мирт зеленый
Из года в год дарить душистый цвет.
И на закате лет скажу, в тебя влюбленный:
«Что розы?! Вечный мирт несет любви привет!»

— Прости, родной, прости сомненья привкус,
Тревог и страхов боль прости ты мне.
Ведь верная твоя любовь, пройдя чрез искус,
Лауре стала дорога вдвойне.

Теперь сомнения Лаурою забыты,
Прочь улетел ревнивых страхов рой.
Пускай его душа для всех открыта,
Я знаю: сердце бьется для меня одной».

ДЭВИД ГАРРИК ПОКИДАЕТ СЦЕНУ

Британский Росций¹ в громе оваций прощается с публикой, которой до слез жалко отпускать его на покой. Весь Лондон стремится попасть на последний спектакль Гаррика — он играет дона Феликса в «Чуде»². Театр от партера до галерки битком набит его поклонниками — людьми самого разного звания, самых разных национальностей. Никогда еще Гаррик не играл с таким подъемом и воодушевлением, так пламенно и легко, как в этот вечер. Когда отзвучали последние остроумные реплики комедии г-жи Сентливер и за доном Феликсом в исполнении Гаррика навсегда закрылся занавес, настал миг напряженного, благоговейного ожидания. Огромная сцена пуста. Но вот мы видим знаменитого актера, который вышел проститься со зрителями. Медленно, медленно проходит он вперед, к рампе. Сцену позади него заполняют актеры; обратясь в зрение и слух, они готовятся запечатлеть в памяти торжественную минуту прощания. Воцаряется мертвая тишина. Томительно долго длится пауза. Гаррик никак не может начать: лицо его подергивается, губы дрожат. Наконец, сделав усилие над собой, он начинает говорить. В таких случаях, как сегодня, говорит он, актер, уходящий со сцены, обычно обращается к друзьям с прощальным эпилогом. Он собирался соблюсти этот обычай, но едва он взялся за перо, как ему стало ясно, что эпилог он написать не сможет, да он бы и не смог сейчас произнести его. Игра рифм, язык литературы — все это мало подходит к выражению нынешних его чувств. Он переживает горькую, ужасную минуту — минуту расставания с теми, кто был так великодушен, так благосклонен, так добр к нему. И вот на том самом месте, где зрители оказывали ему столь сердечный прием, он должен теперь... Тут рыдания сдавливают ему горло, он смолкает, не в силах говорить дальше, и слезы, душившие его, потоками льются у него из глаз. Справившись наконец со своим волнением, он только добавляет, что никогда не забудет их, зрителей, доброты, и что, как бы талантливы ни были те, кто заменит его, они не смогут приложить больше, чем он, стараний, чтобы завоевать любовь публики, и испытывать большее, чем он, чувство благодарности к ней. Смолкнув, он медленно отступает в глубину сцены, неотрывно глядя в зал глазами полными щемящей печали. Потом он останавливается. Восторженные возгласы и рукоплескания блестящего амфитеатра прерываются всхлипываниями и рыданиями. «Прощай, прощай!» — вторят сотни голосов. Жена

¹ Росций Квинт (ок. 130 — ок. 62 г. до н. э.) — известный римский актер.

² «Чудо! Женщина хранит тайну» — комедия английской актрисы и драматурга Сюзанны Сентливер (1667—1723).

Гаррика навзрыд плачет в своей ложе. Прекрасные глаза актера, по-прежнему сияющие, снова и снова с грустью обводят море сочувственных лиц, пока наконец он с усилием не отрывает взор от этого зрелища.

Хотя согласно программе представления предполагалось показать зрителям еще одну пьесу, публика не пожелала смотреть ее, да и актерам не хватило бы смелости играть сейчас.

Ровно две недели спустя после того, как Гаррик простился со сценой, Шеридан подписал контракт, в соответствии с которым он стал совладельцем и главным руководителем исторического театра Друри-Лейн. Осталось тайной, как это начинающий драматург двадцати пяти лет от роду ухитрился добыть денег для приобретения столь большого пая. Шеридан заплатил наличными 1300 фунтов стерлингов, что составляло одну двадцать седьмую часть стоимости пая Гаррика. Доля участия Гаррика равнялась половине общей стоимости театра, оцениваемой в 70 тысяч фунтов стерлингов. Когда в обществе его спрашивают об этом, Шеридан смеивается, загадочно роняет: «Философский камень!» — и выскальзывает из комнаты. Однако на поверку этот философский камень оказывается не более чем мертвым грузом закладных и ежегодных отчислений, поистине тяжелым бременем.

Несмотря на некоторую настороженность, естественную в подобных обстоятельствах, труппа Друри-Лейна приветствовала приход Шеридана в качестве руководителя театра. Увы, беспечное и потому ненадежное руководство Шеридана не в лучшую сторону отличается от упорядоченного и предусмотрительного руководства Гаррика. Шеридан уповает главным образом на везение да на свою способность в последний момент предотвратить катастрофу.

Даже многоопытные ветераны сцены крепко подумали бы, прежде чем брать на себя такую ответственность, сопряженную со столькими заботами, волнениями и опасностями. Шеридан то ли не замечает опасностей, то ли просто игнорирует их. Он берется за работу, изобилующую трудностями, сложностями, скрытыми опасностями и требующую деловой хватки, расчетливости, упорства, хладнокровия и трезвой прощальности, то есть как раз тех качеств, которыми Шеридан не обладал ни в малейшей степени.

Сезон волей-неволей приходится начинать с репертуара, унаследованного от Гаррика: с нескольких трагедий, похожих на комедии, и комедий с трагической развязкой. Вплоть до начала 1777 года Шеридан не имеет свободы выбора. Но все это время он трудится над «Школой злословия», снова и снова шлифуя пьесу, пока не доводит ее до полного блеска.

Как-то раз к Шеридану является с заискивающим видом Камберленд — вечно попадающий впросак, ничего не прощающий и ничего

не забывающий Камберленд, драматург сентиментальной школы — со шляпой в одной руке и со своей очередной бессмертной трагедией — в другой. Шеридан зевает над пятым актом и, извинившись, говорит, что не спал две ночи подряд; Камберленд, ничтоже сумняшеся, приписывает эту зевоту разгульному образу жизни.

С актерами не оберешься хлопот: то они сказываются больными, то шумно требуют прибавки к жалованью. Или, что еще хуже, удаются в амбицию. Тщеславие автора вошло в поговорку. Но разве может оно идти в какое-либо сравнение с тщеславием актера? Это же небо и земля! Ведь автор, в конце концов, тщеславен только в одном, актер же тщеславен буквально во всем. Шеридану приходится безуспешно убеждать какого-нибудь отъявленного плута самого жуликоватого вида, решившегося попытать свои силы на подмостках, что он — не «чекан изящества, зеркало вкуса»¹; или какого-нибудь горе-певца, завывающего по-собачьи, что он — не второй Рубини.

Вообще неприятностей — хоть отбавляй. Суфлер Хопкинс приходит с жалобами на затянувшуюся подготовку декораций, на проволочки с постановкой пантомимы, на срывы в спектакле «Много шума из ничего». Вдобавок ко всему семейство Уолполов возобновляет свое давнее требование об уплате ему аренды. Корона Друри-Лейна, которая и всегда-то была нелегка, оказалась поистине тяжелой ношей для нового короля. К счастью, королевой стала такая женщина, как миссис Шеридан. Она ведет бухгалтерские книги, читает пьесы, помогает репетировать песни и сглаживает возникающие разногласия.

Шеридан прохаживается своим пером по нескольким пьесам, по собственному усмотрению подправляет и сокращая их. Так, пьеса, озаглавленная «Занятные происшествия», получает название «Художник, или Любовь в мансарде», а некоторые ее действующие лица обретают новые имена. Например, сэр Грегори Грейлав становится сэром Лайонелем Лейтлавом. Монолог сэра Лайонеля, начинающийся высокопарной фразой: «Какая жалость, что я не подпал под сладостные чары любви раньше! А теперь лето прошло...» и т. д., Шеридан переименовывает так: «Да, слишком поздно для нас обоих. Лето прошло». В другой пьесе, комической опере, Шеридан пишет на полях: «Молодой солдат Альберт требует коня, чтобы проехать три мили в поисках своей любовницы! Сделайте расстояние подлиннее».

Шеридан не только подправляет пьесы, но и перелицовывает их для постановки на сцене: взяв за основу пьесу Ванбру «Неисправимый», он дает ей новое название — «Поездка в Скарборо» — и новую сценическую редакцию, более отвечающую утонченным вкусам тогдашней публики. «Поездка в Скарборо», впервые показанная

¹ «Гамлет». — Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8-ми тт., т. 6, с. 74.

зрителям 24 февраля 1777 года, была встречена на премьере градом критических замечаний и даже свистками. Тем не менее спектакль прошел девятью раз и принес 1400 фунтов дохода.

В шутовском прологе высмеиваются прически дам. Герцогиня Девоширская тотчас же появляется в ложе с громадным плюмажем из розовых страусовых перьев на голове, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что пролог прологом, а прическа ее светлости — подлинный бонтон. Эта акция поднимает пирамиду волос, газа и перьев на головах модниц еще на несколько этажей. Возведение этого сооружения требует столько трудов, что на ночь щеголихам приходится надевать чепцы соответствующих размеров, прикрепляемые к прическе с помощью длинных черных шпилек. Ложиться спать с двадцатью четырьмя большими шпильками в волосах — обычное дело. Когда знатные дамы едут на спектакль в Друри-Лейн, на пол кареты ставят для них специальные скамеечки: из-за высоких причесок они не могут сесть на обычные сиденья.

Второй Конгрив расстается со своим жилищем на Орчард-стрит. Пример отца, то жившего на широкую ногу, то терпевшего нужду, научил Ричарда смотреть на деньги как на редкое благо, которым надо пользоваться, пока возможно. Поэтому он переезжает в жилище побогаче на Грейт-Куин-стрит. Здесь, по соседству с Друри-Лейном, он прожил три года, вплоть до избрания его в парламент. Став членом парламента, Шеридан перебирается на фешенебельную Гровнор-плейс. Но миссис Шеридан не нравится Гровнор-плейс, и супруги переселяются в большой особняк в Хестоне, близ Хунслоу. К концу 1781 года они снимают особняк в Харроу, а затем, пожив недолго, пробы ради, на Лоуэр-Брук-стрит, они обосновываются на Брутон-стрит у Беркли-сквер, совсем рядом с Чарлзом Фоксом, обретающимся на Саут-стрит, и неподалеку от герцогини Девоширской. Тут они оседают надолго, пока Шеридан одним махом не снимает дом на Гровнор-стрит, загородный особняк в Айлуорте и большой коттедж в Уэнстедде. Вообще переезжать с квартиры на квартиру — его страсть, но он подолгу не задерживается на одном месте: Шериданы живут то на Хертфорд-стрит, то на Джермин-стрит, то (несколько дольше) на Джордж-стрит, потом на Уимпол-стрит, Кавендиш-сквер, снова на Джордж-стрит и, наконец, снимают два дома на Сэвилл-Роу и виллу в Барнсе.

На Грейт-Куин-стрит Шеридан трудится над двумя пьесами: «Государственным мужем», сатирическим произведением Джона Дента, и «Жителями лесов», фантастической драмой, оссиановской по духу и сентиментальной, в которой раскрывается свойственный Шеридану романтизм.

В этих делах и занятиях проходят месяцы, предшествующие завершению «Школы злословия». Гаррик горячо интересуется работой

Шеридана над пьесой, которая из двухактной разрастается в пяти-актную, а Колмен читает ее вслух Берку и Рейнольдсу. Высказываются самые разнообразные догадки относительно ее содержания. Лондонцы сгорают от любопытства.

Премьеру пьесы чуть было не пришлось отложить из-за возни, поднятой мелкими политиками. В Лондоне как раз в это время проходят выборы гофмейстера, и в качестве кандидата оппозиции баллотируется Уилкс. Ему противостоит стервятник Хопкинс (конечно, не Хопкинс-суфлер, а другой Хопкинс, торговец), обвиняемый противникам в делишках, подобных тем, которыми занимался один маклер, одаживавший деньги несовершеннолетним. И вот власти предержались, опасаясь, как бы сатирические выпады против ростовщиков не сыграли на руку Уилксу, в последний момент отменяют разрешение на постановку пьесы. Однако Шеридан тотчас же направляется к лорду Хертфорду, тогдашнему лорду-гофмейстеру, который, обратив все это дело в шутку, дает разрешение ставить пьесу.

Уже объявлена премьера, а у суфлера еще нет на руках текста пьесы, и автор дописывает ее последние сцены в большой спешке. На последней странице он выводит:

«Накопец-то закончил.

Слава богу.

Р.-Б. Шеридан».

Суфлер добавляет:

«Аминь!

У. Хопкинс».

ГЛАВА 12

ГИДРЫ

Представим себе, читатель, что мы очутились на шумных улицах Лондона туманным вечером, незадолго до начала спектакля. На Пел-Мел уже появилось несколько фонарей, мерцающих во тьме, но мы с вами пробираемся к театру Друри-Лейн при неверном свете факелов, которыми, крича, размахивают сопровождающие нас факельщики. Носильщики в ливреях доставляют к дверям театра роскошные портшезы; впрочем, постояв у входа, мы заметим, что дамы и господа из высшего общества чаще приезжают в наемных экипажах. Театр осаждают веселая и живописная толпа желающих посмотреть новую пьесу Шеридана. Вынув билет — полоску бумаги, дающую нам право сидеть в партере, — мы вместе с лавиной зрителей бросаемся занимать места в первых рядах. Центрального прохода в партере нет, поэтому нам приходится пробираться вперед, перелезая

через скамьи, у которых, слава богу, не имеется спинок. Женщины вскрикивают от страха, что им того и гляди разmozжат голову, причем поведение многих суровых британцев, прокладывающих себе путь в толпе локтями и коленями, дает известные основания для подобных страхов. Сами не зная как, мы вдруг прочно усаживаемся на твердую скамью неподалеку от сцены.

Партер, галерка, ложи — все заполнено до отказа. Кругом давка, суматоха, шум и гам. В общем гомоне слышатся неистовые крики, похожие то на гоготанье стаи диких гусей, то на рев медведей, то на вопли обезьян. И, конечно, отовсюду доносятся свистки, гиканье, шиканье, выкрики, громкий смех:

«Ду-ду-ду... Гоните его в шею!.. А ну, кому апельсинные дольки?.. Портвейн и сидр в бутылках!.. Дверь закройте... Да, ей-богу, там еще есть место... Ради всего святого, попросите вон того господина сесть... Капельдинер, как мне пробраться в четвертый ряд второго яруса?.. Шляпу снимите... Тише, тише!.. Народу сегодня — как сельдей в бочке!.. Вытурите отсюда этого мерзавца... Не толкайтесь же, черт возьми, совсем раздавили!.. Ну и манеры у вас... Уберите локти, вы мне ребра переломаете... Это ваш парик?.. Нет, вон той дамы... Ну-ка, дорогой, выйдем отсюда — тебе придется дать мне сатисфакцию... Посмотрите-ка, олдермен Крами с невестой — сам старый, скрученный подагрой, а она совсем девочка. Вот что значит богат!.. Ах, нет места? Так отдавайте обратно деньги, грабители!.. Сударыня, вы очаровательны, в вас столько грации... Простите, сударь, не понимаю... Что ты говоришь, голубушка?.. Клянусь честью, сейчас я тебе, трус несчастный, закачу такую оплеуху... Ничего не говорю, радость моя, я просто перчатку обронила... Так завтра у фруктовой лавки?.. Да я тебя так отхожу палкой — своих не узнаешь!.. Придете? Ровно в двенадцать... Право, сударь, вы слишком много себе позволяете... Не толкайте мою жену... Это я ее толкаю? Да вы шутник!.. Послушайте, капельдинер, это мои места? Нет? Тогда я иду обратно... Здесь не пройти... Ничего, пройдете как-нибудь».

Не спеша рассаживается по своим местам и великосветская публика. Знатные дамы, входя, демонстрируют свои наряды, кладут на барьер ложи раскрытые веера, раскланиваются со знакомыми, после чего принимаются громко щебетать и смеяться. В боковых ложах сидят пары, поэты, набобы, светские львицы и модные франты. В партере восседают критики, чьи носы перепачканы, по причине глубокомыслия, шохательным табаком:

«Здесь в собственных ложах

Блистают вельможи,

Толпа на галерку валит,

Вон критики в ряд
В партере сидят,
Пройдох хитроумных синклит...»

Оглянемся по сторонам. Хорошая тысяча свечей, горящих в люстрах, заливают зал ярким светом. Публика одета по-праздничному: парадные платья, расшитые золотом и серебром камзолы, шляпки с плюмажем и пудренные парики. В ложах сияют улыбочками миссис Кру, герцог и герцогиня Девонширские, Льюкены. Вон там, в синем камзоле, оживленно жестикулирует Гаррик, а вон и дородный доктор Джонсон во всем черном.

За зеленым занавесом с изображением классической музы Кomedии и водопада на лужайке скрывается таинственный мир чудес. Расположившиеся перед первым рядом партера скрипачи и трубачи настраивают свои инструменты, усиливая какофонию звуков в зале.

С ярусов доносятся крики: «А вот сидр, пиво хвойное, пиво имбирное!» Опрятно одетая матрона поблизости от нас ненавязчиво предлагает: «Отборные фрукты и программки спектакля». Наш румяный сосед выбирает яблоко, такое же красное, как его щеки, и торжественно вручает продавщице пенни. За ту же сумму мы приобретаем лист грубой бумаги в добрый фут длиной и шириной в полфута, с которого на нас смотрят расплывшиеся строки, набранные самыми разнообразными шрифтами, преимущественно самыми крупными. В программе сообщается, что сегодня, 8 мая 1777 года, будет показана комедия «Школа злословия», написанная Ричардом Бринсли Шериданом, и что эта комедия играется впервые. Имена Кинга (исполняющего роль сэра Питера Тизла), Смита (исполнителя роли Чарльза Сэрфеса) и нашей любимой актрисы миссис Эбингтон (леди Тизл) совершенно теряются в беспорядочном перечне прочих исполнителей.

Но тут мы с неприятным удивлением обнаруживаем, что зелено-красная типографская краска на нашей программке размазалась, испачкав нам пальцы, а программка соседа вымазала нам одежду. Впрочем, вскоре мы забываем про эти неприятности.

Наши часы показывают половину седьмого. Сейчас начнется спектакль.

Из-за кулис выходит актер и читает пролог, написанный Гарриком:

«Школа злословья»? Полно! Неужели
Без школы мы злословить не умели?
Какие тут уроки могут быть?
Еще бы нас учили есть и пить!
Когда красавиц наших, ту иль эту,

Тревожит печень, — дайте им газеты:
В ней сильнодействующих — *quantum satis*;
Чего бы вы ни пожелали — *натэ-с*.
«О боже!» — леди Уксус (что не прочь
За картами прощebetать всю ночь),
К полудню встав, свой крепкий чай мешает
Со сплетнями: «Как это освежает!
Дай мне газету, Лисп, — как хорошо!»

(Отхлебывает.)

— Вчера лорд Л. *(отхлебывает)* был пойман
с леди О. —

Как это помогает от мигрени! *(Отхлебывает.)*

— Хоть миссис Б. и опускает шторы,
Сквозь них легко проникнут наши взоры. —

Да, это зло; жестокая заметка;

Но, между нами *(отхлебывает)*, право, очень метко.

Ну, Лисп, читайте вы, отсюда вот!» —

«Так-с! — Пусть лорд К., тот самый, что живет

На Гровнор-сквер, себя побережет:

Хоть леди У. он и дороже сына,

Но уксус горек. — Это я! Скотина!

Сейчас сожгите, и чтоб в дом мой эту

Впредь не носили подлую газету!»

Так мы смеемся, если кто задет;

А нас заденут — смеха больше нет.

Ужель наш юный бард так юн, что тщится

От моря лжи плотиной оградиться?

Иль он так мало знает грешный мир?

С нечистой силой как вести турнир?

Он биться с грозным чудищем идет:

Срежь Сплетне голову — язык живет.

Горд вашей благосклонностью былой,

Наш юный Дон Кихот вновь вышел в бой;

В угоду вам он обнажил перо

И жаждет Гидре погрузить в путро.

Дабы снискать ваш плеск, он будет, полон пыла,

Разить — то бишь писать, — пока в руке есть сила,

И рад пролить для вас всю кровь — то бишь

чернила».

«Занавес поднимается. Л е д и С н и р у э л сидит перед туалетом; С н е й к пьет шоколад.

Л е д и С н и р у э л. Так вы говорите, мистер Снейк, что все заметки сданы в печать?

Снейк. Сданы, сударыня, и так как я сам переписывал их наменным почерком, то никто не догадается об их источнике.

Леди Снiruэл. А распространили вы известие о романе леди Бритл с капитаном Бостолом?

Снейк. Здесь все обстоит как нельзя лучше. Если не случится ничего непредвиденного, то, по-моему, через сутки эта новость достигнет ушей миссис Клэккит, и тогда, как вам известно, можно считать, что дело сделано.

Леди Снiruэл. Да, конечно, у миссис Клэккит очень недурные способности и большая опытность.

Снейк. Совершенно верно, сударыня, и в свое время она действовала довольно удачно. По моим сведениям, она была причиной шести расстроенных свадеб и трех отказов сыновьям в наследстве; четырех насильственных похищений и стольких же тюремных заключений; девяти отдельных жительство и двух разводов. Я не раз обнаруживал, что на страницах «Города и провинции» она устраивала tête-à-tête'ы людям, которые, вероятно, за всю свою жизнь ни разу друг друга в глаза не видели.

Леди Снiruэл. Она, несомненно, талантлива, но у нее тяжеловатые приемы.

Снейк. Вы совершенно правы. У нее бывает хорош общий замысел, она обладает даром слова и смелым воображением, но колорит ее слишком темен, а рисунок по большей части экстравагантен. Ей недостает той мягкости оттенков, той приятной улыбки, которые отличают злословие вашей милости¹.

И так далее и так далее с полным триумфом. Перед глазами зрителей злословие являет свои облики, начиная от безобидной бабочки и кончая жалящей осой. Тут и клеветники по призванию вроде миссис Кэндэр, которые губят репутации просто так, чтобы убить время, и негодяи, превратившие клевету в выгодную профессию. Отдельные недоброжелатели вносят нотки диссонанса в громкие крики одобрения.

Так, известный остроумец Джекилл вопрошает: «Когда же все эти люди на сцене кончат говорить? Пора бы начать спектакль!» Ученый-филолог Уортон выражает недовольство по поводу наличия эпизодических персонажей, не связанных с сюжетом. Но веселье в зале с каждой сценой неудержимо нарастает. Журналист Рейнолдс, проходивший около девяти часов мимо театра, услышал у себя над головой чудовищный грохот и в панике бросился бежать, думая, что это рушатся стены. Наутро он узнал, что упали не стены театра —

¹ «Школа злословия». — Шеридан Р.-Б. Драматические произведения, с. 267—270.

ушла ширма в четвертом действии, вызвав громоподобный смех и бурю аплодисментов.

Некоторое время спустя посмотреть «Школу злословия» пришел Камберленд со своими детьми. Отпрыскам Камберленда спектакль очень понравился, и они заливисто хохотали, а папаша непрестанно щипал их, громко приговаривая при этом: «Ну чему вы, детки, смеетесь? Перестаньте же смеяться, ангелы мои; здесь ведь не над чем смеяться. Да тихо вы, олухи!»

Узнав о завистливом поведении Камберленда, Шеридан сказал, что тот проявил черную неблагодарность, поскольку он, Шеридан, до конца прослушал трагедию Камберленда и смеялся до упаду от первого действия до последнего.

Старый ворчун Шеридан-отец тоже настроен критически: «Что бы ни говорили, я не нахожу в комедии Дика никаких достоинств. Ему достаточно было окунуть перо в свое собственное сердце, чтобы найти там готовые характеры Джозефа и Чарлза».

Итак, свергнутая с престола Талия была снова возведена на трон. Дик знает, что его зрители хотят развлечений, и он развлекает их поистине по-царски. Спектакль идет ежедневно при переполненном театре, и на какое-то время этот гвоздь сезона заставляет публику забыть даже об американской войне за независимость. В первом, уже начавшемся, сезоне «Школа злословия» успеваеt пройти двадцать раз, а во втором выдерживает шестьдесят пять представлений. Она продолжает регулярно идти три раза в неделю, потеснив новые спектакли. Пьеса приносит примерно 15 тысяч фунтов стерлингов дохода. С таким же успехом она идет и в провинции. В Бате она производит фурор; Шеридан специально приезжает туда, чтобы руководить репетициями. Вскоре она, перебравшись через Атлантику, делается любимой пьесой Джорджа Вашингтона. «Школа злословия» становится пьесой-образцом, эталоном для измерения достоинств других комедий.

В ночь после премьеры Шеридан появляется на улице вдребезги пьяным, и его едва не забирает ночной караул.

Конгрив в своих пьесах занимает позицию стороннего наблюдателя, который с видом знатока созерцает свои творения. Это интеллектуальный Петроний; его остроумие холодно как лед. Шеридан же никогда не держит своих персонажей на расстоянии; он смеется над ними и вместе с ними. Далее, тогда как Конгрив не знает погрешностей, Шеридан ошибается, но его просчеты лишь усиливают драматический эффект. По сравнению с маститым драматургом эпохи Реставрации Шеридан сердечен и дружелюбен, однако по сравнению с Голдсмитом он холоден.

По мнению одного исследователя, Шеридан, создавая «Школу злословия», совершил экскурс в драматургию эпохи Реставрации

с намерением написать высокую комедию нравов в неореставрационном духе. Что представляет собой основной конфликт, приводящий в движение мир комедии эпохи Реставрации? Это борьба между социальной элитой и выскочками, между людьми благородного и низкого происхождения.

В «Школе злословия» находит выражение этот конфликт класса выскочек и избранного общества. Мотив злословия, пожалуй, неизбежен в комедии из жизни высшего света. Ведь злословие, клевета и интриги — это одна из специализированных функций класса бездельников: «...в словечке каждом — гибель репутаций», как писал А. Поп. Тому, кто лишен возможности собственным трудом зарабатывать себе на жизнь, остается чрезвычайно мало занятий, притом весьма однообразных, которыми он мог бы заполнить свои дни, если не считать карьеристской борьбы за еще более высокое место в обществе да погони за любовными приключениями.

Однако тема злословия не имеет никакого отношения к сюжетной линии Тизлов, в основе которой лежит семейный конфликт. Тщеславие, а вовсе не злословие сбивает с пути истины леди Тизл — в прошлом провинциальную барышню, которой совсем вскружили голову городские моды и наряды. Группа персонажей, занимающихся злословием, служит всего лишь обрамлением и не вполне прочно связана с основным действием. Дело в том, что Шеридан набросал вчерне две пьесы («Клеветники» и «Чета Тизл»), а потом кое-как склотил их вместе.

Сюжетная линия злословия и сюжетная линия Тизлов так и не приходят к финальному единению.

Шеридан отбрасывает прочь типичное для комедии эпохи Реставрации надуманное представление, будто любовь и брак несовместимы. Любовная история Чарлза Сэрфеса и Марии представляет собой решительный разрыв с традицией. Чарлз — подумать только! — намерен жениться на Марии, а не соблазнить ее. Даже Джеозеф безупречен в этом отношении.

Примечательно, что Шеридан освободил свою пьесу от традиционной грубости и резкости: ее диалог не содержит непристойностей и по ходу действия никому не причиняется зло. Драматург видел свою задачу просто-напросто в том, чтобы превратить комедию нравов в средство для выражения дидактических идей в духе Аддисона. Он намеренно предпринял попытку уловить самый тон комедии предыдущего века. И Шеридану действительно удалось восстановить в своей пьесе остроумие, живость и блеск английской комедии эпохи ее расцвета.

Несмотря на триумфальный успех «Школы злословия», будущее театра Друри-Лейн все-таки оставалось весьма неопределенным. Поначалу Гаррик был настроен оптимистически. Некий критик,

обращаясь к нему, заметил: «Одна пьеса погоды не делает, и с течением времени «Школа злословия» будет приносить театру все меньше дохода. Вам, сударь, я прямо скажу, что Атлас, державший театр на своих плечах, покинул свой пост». «Разве? — ответил Гаррик. — Что ж, если это действительно так, то он нашел нового Геракла, который заменил его на этом посту».

Но уже вскоре после этого, 13 июля 1777 года, Гаррик писал Кингу: «Бедный старый «Друри»! Боюсь, для него наступают тяжелые времена». А миссис Клайв, которая, как видно, была в курсе последних театральных новостей, хотя сама уже давно покинула сцену, писала в следующем, 1778 году: «Все в театре проклинают бездеятельность Шеридана. Какой контраст: Гаррик и Шеридан! Что с ним случилось? Почему он и пальцем пошевелить не хочет?»

В довершение всего Шеридан-старший, которого сын имел неосторожность назначить режиссером театра, ухитрился поссориться, по причине большого своего самомнения, с Гарриком, и тот с возмущением писал Шеридану-сыну: «Ради бога, заверьте Вашего отца [которого Гаррик называет Томом О'Бедламом], что мне и в голову не приходило вмешиваться в его дела. Я-то, глупец, наивно полагал, что, придя посмотреть, как Бэннистер репетирует роль, которую мне довелось играть и исполнения которой Ваш родитель никогда не видел, я смогу помочь делу, не задевая ничьего самолюбия. Я весьма дорожу своим свободным временем и не желаю, чтобы меня считали человеком, сующим нос в чужие дела; поэтому я ни за что не взял бы на себя смелость посетить какую бы то ни было репетицию, если бы Вы, сударь, сами не попросили меня о том в самых недвусмысленных выражениях. Однако впредь я ни при каких обстоятельствах не буду иметь причастия к этим делам, дабы не получать больше таких посланий, какое мне было доставлено сегодня вечером молодым Бэннистером».

Это письмо было написано в октябре 1778 года, а 20 января 1779 года Дэвида Гаррика не стало.

Гаррика с почестями хоронят в Вестминстерском аббатстве; его гроб несут знатные пары; медленно движется к аббатству траурный кортеж из тридцати четырех черных карет, и толпы людей на улицах присоединяются к похоронной процессии.

Шеридана просят написать эпитафию. Его «Стихи на смерть Гаррика» с посвящением леди Спенсер, прочитанные со сцены Друри-Лейна миссис Йейтс в образе музы Трагедии и положенные впоследствии на музыку мистером Линли, блестящи по форме. Однако их блеск — холодный. Стихи не проникнуты сильным личным чувством, это не элегия, оплакивающая ушедшего из жизни друга, а, скорее, эпилог, в котором отдается дань его творческим успехам и громкой славе.

По распоряжению вдовы Гаррика на постаменте памятника ее покойному мужу в Личфилде помещают высокопарное и пустое изречение Джонсона: «Меня печалит эта внезапная смерть, омрачившая веселье народов и сократившая общедоступный запас безобидной радости».

Перо Шеридана пребывает в праздности. Многие в театре бранят Шеридана за лень, но «Школа зловольия» продолжает давать хорошие сборы, с успехом идут возобновленные постановки шекспировских пьес. Наконец Шеридан, покончив с бездельем, принимается за работу — пишет «Критика».

О постановке «Критика» объявляют и толкуют задолго до завершения пьесы. Шеридан передает пьесу в театр отдельными сценами. И вот назначается дата премьеры — 30 октября. Наступает 28 октября, а пьеса все еще не закончена. Линли начинает нервничать, актеры в полном отчаянии, особенно Кинг, который является не только режиссером-постановщиком, но и исполнителем роли Нуфа. Однако, поразмыслив хорошенько, Кинг и Линли находят выход из положения. Линли под каким-то предлогом заманивает Шеридана в театр, а Кинг, шепнув Шеридану на ухо, что он должен кое-что ему сообщить, просит его на минутку зайти в «зеленую комнату». Входя, Шеридан видит такую картину: стол, на нем — перья, чернила, бумага; в камине пылает огонь; у стола стоит кресло; на столике рядом — блюдо бутербродов с анчоусами и, конечно, пара бутылок бордо. Как только он оказывается в комнате, Кинг выскальзывает из нее и запирает дверь на ключ, а подошедший Линли объявляет автору, что его выпустят только после того, как он допишет неоконченную сцену. Шеридан весело хохочет, поедает анчоусы, осушает обе бутылки и дописывает сцену.

При распределении ролей Шеридан настаивает, чтобы роль лорда Барли была поручена актеру X., человеку крайне глупому, но обладающему импозантной, глубокомысленной внешностью, утверждая, что в этой роли актер просто не сможет допустить никакой ошибки. Тогда кто-то из друзей предлагает побиться с ним об заклад, что мистер X. все равно что-нибудь напугает. Шеридан принимает пари. Уверенный в своем выигрыше, он даже освобождает актера от репетиций. Тот просто должен заучить наизусть инструкцию: «Мистер X. в роли лорда Барли появляется из-за кулис со стороны суфлера, выходит на авансцену, отступает к тому месту, где стоит мистер Дж. в роли сэра Кристофера Хэттона, качает головой и уходит». И вот X. выходит на сцену. Напрасно Шеридан опасается, что мистер X., поняв инструкцию буквально, попытается в сторону актера, играющего сэра Кристофера Хэттона. С этой частью роли мистер X. справился. Но, вместо того чтобы покачать своей собственной дурной головой, он обхватывает руками голову сэра Кристофера и долго,

с большим чувством трясет ее, после чего удаляется за кулисы с довольным видом человека, в точности выполнившего порученное ему задание.

Пьеса имеет огромный успех, и казна Друри-Лейна снова пополняется. В этом веселом фарсе высмеиваются критики, ходульность и напыщенность, велеречивые трагедии и многое другое; как живой выведен Камберленд. Между прочим, в первом действии Шеридан отпускает прощальные реплики в адрес сентиментальной комедии, которую он сам же и уничтожил: ее погубил успех его собственных пьес. В 1781 году Уилки печатает «Критика» с изящным авторским посвящением миссис Гренвилл, законодательнице литературных вкусов и матери миссис Кру. Издание следует за изданием.

С появлением искрящегося весельем «Критика» творческий путь Шеридана — литератора и драматурга — фактически завершается. В дальнейшем он пишет стихи на случай, пестрые пантомимы, сценические редакции чужих пьес и экспромты, но все это — поделки, не имеющие особого художественного значения. От создания драматических произведений более серьезного характера он уклоняется.

«Вы больше никогда ничего не напишете, — сказал ему однажды Майкл Келли. — Вы боитесь писать».

Шеридан пытливо посмотрел на Келли и спросил: «Кого же это я боюсь?»

«Вы боитесь, — ответил Келли, — автора «Школы злословия».

ГЛАВА 13

ИЗБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТ

Шеридан с самого начала отводил своей славе драматурга скромную роль средства для достижения известности политической. Ведь палата общин — это та же сцена, но насколько шире здесь аудитория, чем у Друри-Лейна! К тому же Шеридан мечтает присвокупить к театральным доходам солидное жалованье государственного деятеля. То был век политических авантюристов, по большей части англо-ирландского происхождения, а перед партией вигов, казалось, открывались радужные перспективы. Звезда лорда Норта явно клонилась к закату в результате поражений, понесенных Англией в ходе американской войны, звезда Питта еще не взошла, и либеральная оппозиция, возглавляемая Чарлзом Джеймсом Фоксом, твердо верила в свое скорое возвращение к власти. Все это вместе взятое побуждает Шеридана отложить в сторону перо и подняться на предвыборную трибуну.

Но еще до того как выдвинуть свою кандидатуру в парламент, Шеридан начал издавать совместно с Фоксом газету «Англичанин»,

причем первые два номера написал он, а третий — Фокс. Они отстаивали дело американской независимости, нападали на лорда Норта и военного министра лорда Джермейна. Их трехпенсовая газета имела большой спрос, но авторы обленились, и субботний номер задерживался иной раз до вторника. Некий О'Бейрн, впоследствии епископ графства Мит в Ирландии, взялся выпускать субботний номер неизменно по субботам. Обрадовавшись, что их избавили от забот, Фокс с Шериданом вовсе перестали писать для газеты, и «Англичанин» приказал долго жить. «Увы и ах! — констатировал Фокс. — Я знал, чем все это кончится: газету погубит наша проклятая пунктуальность!»

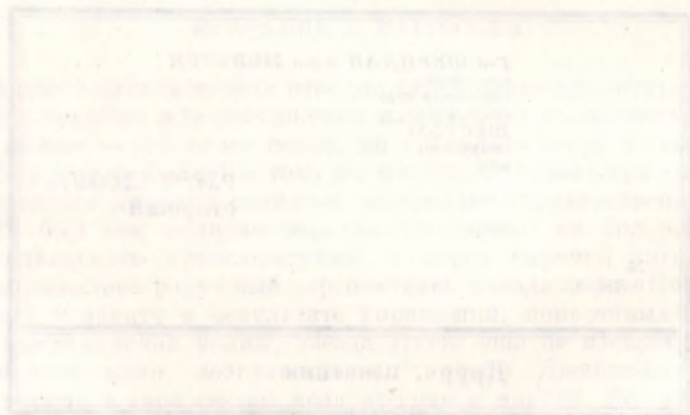
Теперь заветная цель Шеридана — карьера парламентария. На осень 1780 года назначены всеобщие выборы — вот она, возможность попасть в парламент. Шеридану дважды предлагают выдвинуть свою кандидатуру, сначала от одного, потом от другого округа, но в обоих случаях он счел перспективы на свое избрание безнадежными. Наконец, у герцогини Девонширской его знакомят с леди Корк, и та призывается представить Шеридана своему брату, Эдуарду Монктону, уже выставившему свою кандидатуру в парламент в качестве одного из двух членов, избираемых от Стаффорда. Значительная часть избирателей этого округа голосовала за тех кандидатов, которых поддерживали лорд Спенсер (отец герцогини) и семейство Кру. Поэтому Шеридан, заручившийся покровительством Монктонов, Девонширов и Спенсеров, отправляется в Стаффорд и встречает там хороший прием. Раздаются сотни пригласительных билетов:

<p>Г-н ШЕРИДАН и г-н МОНКТОН угощают подателя сего обедом и ШЕСТЬЮ квартами гг.</p>		<p>Рич. ХОДСОН, старший</p>
<p>№ 6 июля</p>		
<p>Друри, печатник</p>		

И вот 12 сентября, после бесконечных встреч с избирателями за кружкой пива, церемоний приведения к присяге совершеннолетних граждан, выпивок, пирушек, процессий и израсходования тысячи

фунтов стерлингов, Ричарда Бринсли Шеридана должным образом избирают в парламент от города Стаффорда, который он и представляет затем в палате общин в течение двадцати шести лет без перерыва.

Узнав о том, что он избран в парламент, Шеридан сбегает с торжественного обеда и долго бродит в одиночестве, восторженно мечтая о будущем. Жребий брошен!



КНИГА ТРЕТЬЯ ПОЛИТИКА

ГЛАВА 1

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ: ВИГИ И ТОРИ

1

Что ни говори, Берк всю свою жизнь оставался упрямым, завистником и спорщиком. Такой уж у него был склад ума, вздорный, сварливый. По словам Фокса, с Берком ладить было труднее, чем с любым другим из коллег по парламенту, ибо он отказывался поддерживать какую бы то ни было меру, как бы ни был убежден в глубине души в ее полезности, если ее предложил первым кто-то другой. У него были вульгарные манеры, в обществе он держался заносчиво и повелительно с одними, угодливо и раболепно с другими. Эту его вульгарность отчетливо ощущали окружающие. Уилкс как-то заметил, что, подобно тому как Венера Апеллеса ¹ ассоциируется с молоком и медом, Венера Берка порой ассоциируется с виски и картошкой. Провозглашая тост в честь своего друга доктора Лоуренса и желая ему всяческих успехов в его врачебной профессии, Берк предложил выпить «за нескончаемую войну и повальное распутство». Шеридан никогда бы не опустил до столь грубой и бестактной шутки. Он острил тоньше. Говоря о Тарлтоне, который, бахвалясь, утверждал, что никто другой не прикончил столько мужчин и не переспал со столькими женщинами, как он, Шеридан заметил: «До чего же это слабо сказано — «переспал»! Он должен был бы сказать «взял»: ведь изнасилование — развлечение убийц».

Но Берк, будучи истым ирландцем, не мог оценить литературный эффект недосказанности. Печать ирландского характера носили на себе и его выступления, велеречивые, цветистые, страстные, импульсивные, подкрепляемые энергичной жестикულიацией. Его не приходилось уговаривать взять слово, а начав речь, он не торопился закруглиться. Как автор он был способен на большее. Он всегда говорил торопливо, сбивчиво, возбужденно. Иной раз друзьям приходи-

¹ Апеллес — древнегреческий живописец второй половины IV века до н. э., автор картины, изображающей Афродиту, выходящую из воды.

лось удерживать его за полы камзола, чтобы в запальчивости он не нагородил бог весть чего. Когда он витийствовал, мозг его распался, нервы трепетали; голова постоянно находилась в движении, то кивая, то нервно дергаясь из стороны в сторону.

У него был резкий голос, сильный ирландский акцент и ужасная дикция. Его большие очки, узковатый, плохо сшитый коричневый камзол и маленький парик с короткой косичкой и буклями вызывали постоянные насмешки щеголей, проводивших время у Уайта и у Брукса. Его речи зачастую заглушались громким кашлем, треском раскалываемых орехов, общим гомоном. Когда он говорил, палата пустела: парламентарии удалялись обедать. Как-то раз, когда Берк, держа в руках стопку исписанных листов, встал, чтобы произнести речь, один из членов палаты общин, неотесанный помещик, больше привыкший слушать лай гончих, чем политические дебаты, в отчаянии воскликнул: «Надеюсь, почтенный джентльмен не собирается прочесть нам всю эту огромную кипу бумаг и вдобавок утомить нас длинной речью!» Берк, совершенно задыхающийся от ярости и потерявший дар речи, выбежал вон из палаты. Наблюдавший эту сцену Джордж Селвин заметил, что он впервые в жизни сподобился увидеть, как басня становится явью: крик осла обращает в бегство льва.

В то время как Фокс по окончании парламентского заседания сразу же закатывался к Бруксу, где допоздна предавался развлечениям, Берк возвращался из парламента опустошенный, раздраженный, мрачный. Он не был рожден оратором; его речи являли собой произведения письменного жанра. Они изобиловали примерами и отступлениями, витиеватыми фразами и сравнениями, длинными рассуждениями об общих принципах. Они в гораздо большей степени рассчитаны на терпеливого читателя, чем на нетерпеливого слушателя. Характерен такой случай. Однажды Эрскину так наскучило слушать очередную речь Берка, что он незаметно улизнул из палаты, не дослушав речь до конца. Когда же к нему домой, в графство Айл-оф-Уайт, пришел опубликованный текст этой самой речи, он с упованием перечитывал его столько раз, что бумага превратилась в ломотья.

Красноречие Берка можно уподобить реву бушующего в океане шторма или триумфальному шествию победителей-римлян, демонстрирующих многочисленные символы могущества и несметные богатства, — возвышенная музыка победного марша смешивается порой с грубыми, солеными шутками, а на солнце ярко сверкают трофеи, добытые по всему разграбленному миру. Беседуя с Роджерсом, Шеридан заметил: «Прочтя речи Берка, наши потомки не поверят, что при жизни его не считали ни первоклассным оратором, ни даже посредственным».

Знакомисься с побудительными мотивами Берка и видишь: это патриот; приглядишься поближе к его воззрениям и видишь: при всех своих способностях он просто фанатик. Он начинает с таких возвышенных, таких прекрасных материй, а на поверку оказывается, что его идеалом является недалекая, ограниченная королева да символы принадлежности к узкой социальной касте. Начинает он как философ, а кончает как заурядный сноб. Дело его жизни потерпело крушение, потому что его интеллект постоянно находился во власти его эмоций.

Берк яростно бичевал Хейстингса, сатирически преувеличивая его преступления. Скандальная безнравственность французской аристократии, общеизвестное неверие французского духовенства, легкомыслие и ветреность королевы Франции нашли в его лице не снисходительного и справедливого судью, а горячего защитника. Он нарисовал в своем воображении картину общества, основанного на политической добродетели, моральной чистоте и социальной гармонии, которая ничем не напоминала французское общество эпохи монархии. Низвержение религии, казнь короля и королевы, массовые расправы с аристократами, бесчинства и жестокости парижской черни, оскорбления и обиды, чинимые женщинам, — все это лишало Берка всякого самообладания и приводило его в безрассудную ярость.

Все симпатии Берка были на стороне законности и порядка. Хороший правопорядок он называл «основой всякого блага». Свобода, по его убеждению, имеет ценность только в упорядоченном, законопослушном обществе; Берку даже в голову не приходило, что интересы порядка могут прийти в столкновение с интересами свободы. Реформы должны быть своевременными, умеренными и ограниченными. Наконец, преобразования следует осуществлять только в том случае, когда существующее зло разрастается до непомерной величины.

Одним из алтарей, которые Берк воздвиг в своем сознании, была британская конституция. Он любил даже ее недостатки; он не поступился бы ни одним ее положением. Он наделял ее поистине мильтоновским величием. Свой долг он видел в охране конституции от позорящей коррупции, равно как и от экспериментов непочтительных современников. Поэтому одни реформы он одобрял, другие же решительно отвергал. Если экономическая реформа — это средство удалить позорное пятно с конституции, то реформа парламентская — это мерзостное новшество. Что, новая пенсия будет выплачиваться по ирландскому цивильному листу? Берк немедленно бросается в драку, призывая всю историю в свидетели против новомодной гнусности. Что, собираются лишить избирательных прав какое-то гнилое местечко в Корнуолле? Нет, отнять право голоса, которым пользовались предшествующие поколения, смогут только через его труп!

Берк стремился к сохранению старого, а не к продвижению вперед. Его концепция государственного управления носила олигархический характер и основывалась на классовых различиях. Потомственная знать, передаваемые по наследству привилегии и состояния — все это представлялось ему вековыми дубами, под сенью которых из поколения в поколение благоденствует страна. Человека он считал существом, отмеченным позорной печатью первородного греха. Своеволие, гордыня и жажда новшеств внушены людям Люцифером, этим прародителем якобинцев. Общество устроено так, а не иначе по произволению всевышнего, и всеми его делами непосредственно руководит промысл божий.

В конце концов Берк стал таким восторженным адептом монархической власти, что не мог спокойно спать, если не предавался на сон грядущий размышлениям о том, что король имеет законное право выдернуть у него из-под головы подушку.

Утверждали, что консерватизм Берка имел по большей части эмоциональный характер, ссылаясь, например, на известный пассаж из его «Размышлений о французской революции», начинающийся словами: «Лет шестнадцать-семнадцать назад я лицезрел в Версале королеву Франции, тогда еще жену дофина, и, поверьте, никогда прежде не появлялось под французским небом столь неземного, столь прелестного видения! Звезда ее тогда только что взошла над горизонтом, и сама она, излучавшая искрометную радость жизни, благородство и веселье, была подобна сверкающей утренней звезде. Как украшала она, как освещала высокий небосвод, где свершалось ее восхождение! О, как трагически закатилась ее звезда! Только человек с каменным сердцем мог бы бесстрастно рассматривать историю этого подъема и падения!» и т. д. и т. п. Сэр Филипп Фрэнсис назвал все эти рассуждения «полнейшей нелепостью». Впрочем, Филипп Фрэнсис был снедаем злобой и завистью: его терзала мысль о том, насколько лучше, чем Берк, сумел бы он провести дело по обвинению и привлечению к суду Хейстингса.

Фокс жалел угнетенных, потому что был человеком большой и отзывчивой души; Берк жалел угнетенных, потому что интересовался изучением человечества. Один приобретал поклонников, другой имел друзей.

Берк укоротил свои дни в результате злоупотребления рвотными средствами. Он то и дело искусственно вызывал у себя рвоту, пощекотав в горле пером. Ему казалось, что таким образом он сможет избавиться от мучившей его тяжести в груди.

У Фокса была внешность кабатчика. Это был толстый, смуглолицый и черноволосый человек с косматыми бровями. Однако в его жилах текла кровь Веселого монарха ¹. О том, что он — Стюарт, напоминали ему даже имена, полученные им при крещении — Чарлз и Джеймс ². Будучи потомком королей и радикалом по убеждениям, он повесничал вместе с принцем Уэльским и поклонялся Робеспьеру.

С молодых ногтей он отличался веселым нравом, оригинальным, даровитым умом и талантом располагать к себе людей. Он обладал добродушнейшим, отзывчивым и бескорыстным характером. Надежденный от природы огромными способностями, исключительной сообразительностью и цепкой памятью, он сочетал свою кипучую энергию с привычкой браться за все дела. Он был, по его собственному признанию, чрезвычайно старательным человеком и, даже занимая пост государственного секретаря, писал прописи для учителя чистописания, с тем чтобы улучшить его почерк.

Фокс получал истинное наслаждение от литературы и искусства; он обладал даром проницательного критика и отменно тонким вкусом. С привычной легкостью, ради собственного удовольствия уможал он свои филологические познания, никогда не забывая раз усвоенного. Когда кто-то стал оспаривать в его присутствии подлинность одной строки из «Илиады» на том основании, что она-де написана иным размером, нежели вся поэма, Фокс привел «знатока» в замешательство, процитировав на память еще два десятка строк, написанных тем же размером. Ему было бы впору беседовать о нетленной красоте, величии и пафосе Гомера с самим Лонгином ³, об изображаемых Гомером людях — с самим Аристотелем, а о его дактилях, спондеях и анапестах — с каким-нибудь знатоком поэзии. Чтение любимых авторов, греческих, римских, английских, французских, итальянских, а в более позднюю пору жизни также и испанских, постоянно было для него отдыхом и утешением. Он любил говорить, что поэзия — «это в конце концов высшее благо на свете» и что ему по сердцу все поэты. Спору нет, государственная деятельность — занятие почтенное, но ведь поэзии покровительствуют семь муз, и ни одна из муз не покровительствует ораторскому искусству.

По-французски он говорил так же свободно и правильно, как на родном языке. Лишь два француза критически отзывались о его произношении — Наполеон и Талейран. В совершенстве владел

¹ Прозвище Карла II.

² То же, что Карл и Яков.

³ Лонгин Дионисий Кассий (ум. в 273 г. до н. э.) — древнегреческий философ.

Фокс и итальянским. Встав из-за карточного стола, за которым он в упоении азарта играл в «фараон», Фокс безмятежно погружался в чтение Данте, Ариосто и Тассо либо штудировал Гвиччардини и Давилу¹. Из всех итальянских поэм он больше всего любил «Неистового Роланда». «Заклинаю тебя, — писал Фокс своему другу Фицпатрику, — учи поскорее итальянский, чтобы читать Ариосто. Насколько я понимаю, на итальянском языке написано больше истинно поэтических произведений, чем на всех других языках, вместе взятых. Поспешн прочесть все эти вещи, дабы стать достойным собеседником просвещенных христиан».

Фокс посетил Вольтера на его вилле у Женевского озера. Старец принял гостя весьма любезно, угощал его шоколадом и даже взял на себя труд рекомендовать ему некоторые из своих писаний, противоборствующих влиянию религиозных предрассудков. «Вот книги, — сказал ему патриарх, — которые следует взять на вооружение».

Фокс любил прогулки, физические упражнения и много двигался даже после того, как очень располнел. Он прилагал большие усилия, чтобы овладеть актерским мастерством, стал превосходным актером-любителем, и долгое время игра на сцене оставалась одним из любимых его развлечений. Его отец, лорд Холланд, воспитывал своих детей в духе полного пренебрежения нравственностью. К сожалению, дети усвоили его уроки, и Фокс с ранних лет приобрел привычки повесы и мота. В юности он отдал щедрую дань шегольству и был признанным законодателем мод среди франтов-макарони. После поездки в Италию Фокс вместе со своим кузеном отправились на почтовых из Парижа в Лион затем лишь, чтобы выбрать выкройку для камзолов. В Лондон он явился в ботинках на красных каблуках и в парике, напудренном синей пудрой. Иной раз он и в палату общин приходил в шляпе с пером.

На протяжении четырех лет Фокс с большим постоянством предавался азартной игре по крупной. Так, хотя его собственные лошади редко оказывались победителями, Фокс удачливо играл на скачках и в 1772 году, например, выиграл 16 тысяч фунтов на одном заезде. Играя в карточные игры, требующие умения, такие, как вист и пикет, он чаще всего оставался в выигрыше. Зато проигрыши в азартные карточные игры довели его до полного разорения, причем «невероятное, постоянное и беспримерное везение» обыгрывавших его партнеров, по-видимому, являлось результатом жульничества. Чтобы заплатить свои карточные долги, Фокс вынужден был прибегать к услугам евреев-ростовщиков. У него имелась на этот счет своя теория: деньги — это товар, и, как всякий другой товар, их

¹ Гвиччардини (1483—1540) — итальянский историк и политический деятель, автор «Истории Италии»; Давила (1562—1604) — мексиканский монах и историк.

можно всегда приобрести, уплатив соответствующую цену. При осуществлении этой теории на практике Фокс обнаружил, что, уплатив требуемую цену, он стал нищим. Испытывая летом 1773 года острые денежные затруднения, он счел за благо довериться авантюристке, некоей миссис Грив, пообещавшей сосватать ему невесту с 30 тысячами фунтов стерлингов приданого. Авантюристка уверила Фокса, что в него влюблена мисс Фиппс, богатая наследница из Вест-Индии. Стоило свахе сказать, что мисс Фиппс не любит брюнетов, как Фокс тут же согласился пудрить волосы и брови белой пудрой. Но богатая наследница оказалась мифом. В том же году жена его старшего брата произвела на свет сына, и ростовщики отказали Фоксу в дальнейшем кредите. «Сынок моего брата Стивена, — шутил Фокс, — это второй Мессия, рожденный на погибель иудеям».

Но и в выигрыше, и в проигрыше, и в таких обстоятельствах, при которых другие молодые франты наложили бы на себя руки, Фокс не терял ни сна, ни аппетита, ни привычного остроумия. В 1781 году он выиграл в карты, вместе с другими банкометами, 70 тысяч фунтов, спустил весь выигрыш на скачках в Ньюмаркете и охарактеризовал свое финансовое положение как «на 30 тысяч фунтов хуже, чем ничего». Сплошь и рядом он нуждался в мизерных суммах, и в том же 1781 году по постановлению суда были распроданы с молотка его книги. К своим проигрышам Фокс относился с полнейшей невозмутимостью. Когда ему случилось проиграть за один ириссет все свое состояние до последнего пенни, он, выйдя из-за карточного стола, погрузился в чтение Геродота. Иной раз он после крупного проигрыша тут же забывался крепким сном. Тем более похвальной — в свете этих финансовых затруднений — представляется верность Фокса своей партии. Он оставался убежденным противником американской войны и не изменял своим принципам ради получения доходной должности.

Фокс любил популярность, как никто другой, но считал унижительным домогаться ее недостойными средствами. При этом он был крайне застенчив. Когда вся публика первого театра Парижа встала, приветствуя его, он, засмущавшись словно девица, забился в глубь ложи. Мадам де Рекамье, красивейшая из тогдашних красавиц, с большим трудом уговорила его совершить с ней прогулку в коляске, дабы дать парижанам возможность увидеть знаменитого англичанина, являвшегося наряду с нею предметом их горячего поклонения. А однажды вечером в Воксхолле его совершенно одолели зеваки, повсюду следовавшие за ним по пятам. В подобных случаях застенчивость делала его неловким.

Фокс постоянно оттачивал свое красноречие в палате общин. Палата была для него своего рода дискуссионным клубом. По его собственному признанию, он выступал всякий раз, когда бывал в

палате, «за исключением одного-единственного вечера, и я жалею, — добавил он, — что не взял слово также и в тот вечер». Его отличала как оратора непринужденная манера речи: за словом в карман он не лазил. Фокс произносил речи экспромтом, без предварительной подготовки, всячески избегая цветистой риторики. Он говорил энергично, просто, ясно; при этом он никогда не уклонялся в сторону от обсуждаемой темы, никогда не отрывался от уровня понимания своих слушателей, никогда не пускался в туманные рассуждения и никогда не надоедал палате. Начинал он свои выступления невнятной скороговоркой, неловко жестикулируя. Но, по мере того как он воодушевлялся, речь его начинала литься гладко, становилась выразительной и красноречивой. Когда же Фокс выступал по важнейшим вопросам, он вещал словно пифия, «вдохновенная богами», и с него ручьями катился пот.

Летом 1788 года Фокс отправился со своей любовницей миссис Армистед в заграничное путешествие. За все время путешествия он открыл газету лишь один раз — узнать результаты ньюмаркетских скачек, ибо он не преминул сделать ставки. Своего адреса он никому не сообщал и посему не получал никаких известий из Англии.

В годы своей непопулярности Фокс сохранял привычную бодрость духа, не поддавался унынию. У него была широкая натура, чуждая всякой мелочности. Его письма к племяннику, которого он любил как сына, проникнуты чувством радости: он очарован обществом миссис Армистед, восторгается хорошей погодой и красотой пейзажей Сент-Эннз-хилла, вспоминает наиболее понравившиеся ему картины итальянских мастеров, делится впечатлениями о прочитанных книгах. Так, он обращает внимание молодого лорда Холланда, совершавшего тогда путешествие по Европе, на выставленный в галерее Питти ¹ портрет папы Павла III кисти Тициана, который называет «лучшим в мире произведением портретной живописи»; высказывает мнение, что шедевром Тициана является находящаяся в Венеции картина «Мученик Петр», высоко отзываясь о картинах Гверчино в Ченто и т. д. Теперь Фокс уже не испытывал прежних денежных затруднений, поскольку в 1793 году его друзья собрали по подписке 70 тысяч фунтов стерлингов, чтобы заплатить его долги и кушать ему ренту. Два года спустя он женился на своей любовнице. Миссис Фокс была толста и некрасива, но обладала приятными и вполне светскими манерами.

В эту пору Фокс вел спокойный, размеренный образ жизни, много читал, переписывался на литературные темы с Гилбертом Уэйкфилдом. В качестве четырех лучших литературных произведений века он называл «Исаку» Метастазियो, «Элоизу» Попа, «Заиру» Вольтера и

¹ Галерея дворца Питти во Флоренции.

«Флегю» Грея. О Бэрнете он отзывался как о мастере исторической школы, произведениями Драйдена восхищался и помышлял об их падении. Зато не выносил прозу Мильтона и оставался равнодушен и стихам Уордсворта. Его кумиром был Гомер, сумевший сказать все. Фокс ежегодно перечитывал его поэмы, отдавая предпочтение «Одиссее», хотя и признавал при этом, что «Илиада» совершеннее. Еврипида он предпочитал Софоклу. «Если я начну выражать мои восторги по поводу Еврипида, — писал он, — я никогда не кончу». Снова и снова перечитывал он «Энеиду», особенно ее трогательные места. Тогда же Фокс начал писать свою «Историю революции 1688 года», но работа продвигалась крайне медленно, капля по капле. Он часенъко читал вслух своей жене, чье общество по-прежнему было ему приятно и интересно. Он придиричиво следил за тем, чтобы все оказывали миссис Фокс должное уважение, придавая подобным соображениям, как утверждали окружающие, непомерно большое значение. Фоксу нравилось делать вместе с женой покупки. Сэр Гилберт Эллиот был весьма изумлен, когда встретил супругов Фокс, направляющихся в лавку, чтобы приобрести дешевый фарфор, и отметил, что оба они весьма бережливы.

Другой гость застал Фокса недвижимо распростертым на траве — оказывается, он хотел обмануть птиц, притворившись мертвым. Любовь в шалаше так же естественно пришлась ему по вкусу в пятьдесят лет, как Ньюмаркет, парламент и ночные бдения за картонным столом — в двадцать пять.

Гиббон говорил, что Фокс сочетал в себе способности незаурядного государственного мужа с мягкостью и простодушием ребенка. И добавлял, что Фокс, как никто другой, был совершенно свободен от скверны недоброжелательства, тщеславия и лживости. Но лучше всего сказал о нем Берк, просто и емко: «Это человек, достойный любви...»

Впрочем, мнения бывают разные. В разговоре с сэром Уолтером Фаркхаром Джордж Селвин заявил: «Гений — понятие неопределенное. Я не считаю человека действительно способным, если он не достиг той цели, к которой стремился, неважно, на каком поприще. Возьмем Чарлза Фокса. У него было три страсти: азартная игра, политика, женщины. Он с головой ушел в игру и почитал себя умелым картежником, но просядил в карты огромное состояние, едва достигнув совершеннолетия. Его заветной целью была власть, но ему ни разу не удавалось удержать ее хотя бы на год. Он мечтал блистать в свете как галантный обольститель и женился на шлюхе».

Ни способности, ни даже голоса избирателей погоды в политике не делали; политика зиждилась на коррупции и покровительстве. С 1688 года у кормила правления Англии стояли представители знатных вигских семейств, для которых государственная власть была не более как средством получения доходных должностей для себя и для своих родственников. Должности переходили от отца к сыну, словно дело касалось не политики, а портняжного ремесла. Посты и теплые местечки раздавались по возможности на семейной основе, а в случае необходимости предоставлялись в виде взятки.

Крупных партий фактически не существовало, были лишь их осколки — клики сторонников и противников короля, группировавшихся вокруг того или иного политического патрона. Не заболел Чэтам подагрой, может, и не было бы никакой американской войны. Но разыгравшаяся у Чэтама подагра дала возможность проявить себя всем политическим атомам¹, и они резво забегали туда и сюда, тяготея либо ко двору, либо к семействам, готовым платить за услуги. Ведь если политический претендент на должность Чэтама не окажется ставленником короля, то, значит, он будет креатурой Гренвиллов или Рокингемов, Графтонов или Ричмондов, Ратлендов или Бедфордов, Бентиков или Кавендишей.

На политическую авансцену вышли двое давнишних сподвижников Чэтама: друг короля лорд Норт, добродушный, приятный в общении, готовый всех примирить, и лорд Шелберн.

Секрет влиятельности Норта как министра заключался не в заискивании перед королем, а в исключительно тактичном обращении с палатой. Норт обладал на редкость грубой, неказистой, непривлекательной наружностью. Большие, постоянно вращающиеся глаза навывкате (притом крайне близорукие), огромный рот с толстыми губами и надутые щеки придавали ему сходство со слепцом трубочом. Но за этой топорной внешностью скрывалось много полезных талантов. Норт отличался остроумием, дружелюбием и крепким природным здравым смыслом. Самым большим его пороком была лень, самым серьезным недостатком — нерешительность. Он вел себя одинаково нерешительно и на светских и на политических собраниях. Тем не менее он повсюду был желанным гостем.

Никогда еще слово «джентльмен» не употреблялось так часто и в таком похвальном смысле, как употреблялось оно применительно к лорду Норту и ко всему, что бы он ни говорил и ни делал в палате общин. Стараясь побороть стихию болезненной обидчивости, которая

¹ Этот образ взят из политической сатиры Т. Смоллетта «История и приключения атома», высмеивающей борьбу английских парламентских партий.

овладела тогда парламентариями, Норт однажды заявил: «Один из членов этой палаты, коснувшись в своей речи моей персоны, назвал меня «этой тумбой, что зовется министром». Спору нет,— продолжал Норт, похлопывая себя по плотным бокам,— действительно тумба. Следовательно, упомянутый член, назвав меня тумбой, не погрешил против истины, и мне не на что обижаться; но сказав «эта тумба, что зовется министром», он наделил меня прозвищем, которое сам бы хотел носить больше всего на свете, и поэтому я воспринял его слова как комплимент».

Во время заседаний в палате Норт часто прикладывал к лицу платок. Как-то раз после утомительно длинных дебатов кто-то упрекнул его: «Боюсь, милорд, вы проспали дискуссию». «Увы, не проспал», — последовал ответ.

Подобные добродушные остроты сыплются из него как из рога изобилия. После своей отставки он должен был бы уйти с политической арены. Есть такие вещи, которые можно оправдать, но нельзя одобрить. Коалиция его светлости лорда Норта с мистером Фоксом принадлежит к их числу.

Номинальным преемником Чэтама стал лорд Шелберн, государственный деятель и философ, менее талантливый, чем Берк, но более дальновидный. На деле он зарекомендовал себя худшим из коллег в кабинете министров, человеком неискренним и двуличным; из-за этой своей скверной репутации он получил прозвища «Малагрид» и «иезуит с Беркли-сквер». Что же представлял он собой в действительности? Это был знатный вельможа, живший на широкую ногу и щедро раздававший подачки. У него в доме дневали и ночевали лучшие умы того времени: теоретик финансов Прайс, Пристли, Бентам. Он оказывал покровительство всему тому, что больше всего заслуживало покровительства. При недюжинных способностях обладал столь же недюжинным трудолюбием. Шелберн содержал у себя в Лэндсдаун-хаусе целый штат своих собственных секретарей, изучавших и анализировавших отчеты о государственных делах. Да он и сам был ходячим министерством. Что же касается его дурной репутации, то отчасти тут была повинна его манера держать себя. Слишком уж он старался быть приятным, слишком настойчиво уверял в своей искренности — одним словом, производил впечатление человека вкрадчивого и льстивого. Шелберн знал все на свете, за исключением, может быть, правил игры в «фараон». В среде денди — завсегдатаев Брукса — он казался какой-то челепой и пугающей фигурой. В часы, когда Фокс и Шеридан обычно бывали навеселе, он знакомился с содержанием донесений, отправленных ему из Парижа. Он являл собой полную противоположность тому, что назы-

вают «добрым малым», «компанейским человеком»; необщительный по характеру, он всегда и везде держался особняком. Мало того, что эта его отчужденность отталкивала от него коллег и приводила к недоумению монарха; она мешала ему примкнуть к какой-либо партии и обеспечить себе сколько-нибудь реальную поддержку.

Старые виги (как, впрочем, и новые) возлагали надежды на другого кандидата — Рокингема. Он имел безупречную репутацию, был знатен, богат и восприимчив. Он стал бы послушным орудием в руках Берка. Только благодаря дружелюбному характеру Рокингема и держится вместе распадающаяся семья вигов, в которой Шелбери играет роль семейного адвоката, Фокс — расточительного наследника, Шеридан — его веселого собутыльника, а Берк — домашнего учителя.

Результаты августовских выборов 1780 года оказались обескураживающе неблагоприятными для сторонников Норта. Премьер-министр стал жаловаться на плохое здоровье и упадок сил. Он хотел заключить мир с Америкой, но монарх воспротивился этому. А тут еще угрожающе обострились голландский и индийский вопросы — при самых лучших намерениях Норт чувствовал себя бессильным. Если бы не настояние короля, он с радостью ушел бы в отставку еще в начале года. Теперь же гордоновские бунты, направленные против католиков, нанесли новый удар по его и без того шатающемуся правительству. Настал момент, когда парламентское большинство Норта сократилось до десяти голосов, потом оно сократилось еще больше. Норт не на шутку встревожился. Все его приверженцы, предчувствуя скорое его падение, старались ухватить напоследок лакомый кусок для себя. Сторонники Фокса с удвоенной энергией рвались к власти. Но это еще не был конец долгого правления Норта. Когда же правительство Норта все-таки пало, началась политическая чехарда: за полтора года сменились три кабинета.

4

В эту пору Георгу III минуло сорок два года, и шел двадцать первый год его непопулярного царствования. Он стремился быть королем-патриотом, но выбирал самые неудачные средства для достижения этой цели. Обращаясь к парламенту со своей первой речью и мечтая завоевать любовь народа, он заявил: «Я рожден и воспитан здесь, в этой стране, и горжусь тем, что я британец». (Прозрачный намек на немецкое воспитание двух его предшественников.) К сожалению, заявление это не произвело ожидаемого впечатления, главным образом потому, что король сказал «британец» вместо «англичанин». История его женитьбы тоже не пробудила чувства романтического преклонения перед монархом. На заре своего царствования он

был покорен красотой и необычным очарованием леди Сары Леннокс, племянницы Фокса, и даже пытался, весьма неуклюже, сделать ей предложение. Однако его любовь не смогла противостоять влиянию придворного окружения, и он выбрал себе в жены Шарлотту Мекленбургскую, не отличавшуюся особой красотой и лишенную очарования, а леди Сару Леннокс назначил, чтобы утешить ее, подружкой невесты на свадьбе. Но даже эта неприглядная матримониальная история нанесла несравненно меньше вреда престижу монарха, чем его пристрастие к непопулярному шотландцу Бьюту. И только в 1784 году произошло единение между королем и его подданными.

Король желал не просто царствовать, а править. Он не был ни гением, ни пророком, но это был король с головы до ног. Он не ведал страха. По его словам, он не потерпел бы, чтобы кто-нибудь из членов его королевского семейства обнаружил недостаток храбрости. Ему было ненавистно все показное и притворное. Он подавал своим подданным пример простоты и высоко ставил семейные добродетели. Однако, как бы приветливо он ни держался с чернью, он свято чтит генеалогию. По его мнению, джентльменом мог считать себя только тот, чья родословная насчитывала по меньшей мере три поколения, и категорически отказывался утверждать в звании епископа тех, кто не являлся таким «джентльменом». Даже его антипатия к Фоксу становилась меньше в силу того, что он не мог не признать в нем джентльмена, «с которым, посему, не противно иметь дело». Но король унаследовал некоторые фамильные черты, которые характеризуют Ганноверскую династию не с лучшей стороны. Вот как отделил Александр Поп отца Георга:

«У них семейная черта —
Свинцовый, тусклый взор.
Не выражая ни черта,
Глядят на вас в упор.

Пошли счастливицу принцу бог
Блудниц, коня, седло,
Немного денег в кошелек,
Тень мысли — на чело».

Как и его предшественникам, Георгу III приходилось бороться со своими собственными религиозными предрассудками: подобно Стюартам, он свято веровал в божественное право королей на неограниченную власть. Для него Америка, оказавшая открытое неповиновение помазаннику божию, восстала против самого всевышнего. Взбунтовалась против бога и Франция, и он готов был сражаться (и заставить сражаться всю Англию) за монархию. В яром антикато-

лицизме он мог бы потягаться с Кромвелем. Невежество было основным его пороком.

Но первой своей задачей он считал борьбу с вигской олигархией, чьему диктату вынужден был подчиняться. Питт, вызывавший у него восхищение, потому и пользовался его доверием, что не был связан с олигархами-вигами никакими узами.

5

26 февраля 1781 года в палате общин происходило обсуждение внесенного Берком билля об экономической реформе. Мистер Бинг, член палаты от Мидлсекса, уговаривал Питта, недавно избранного от Эпплби, взять ответное слово и, по-видимому, понял его так, что он готов выступить. Питт же, напротив, выступать раздумал; ему и невдомек было, что мистер Бинг уже предупредил своих соседей о готовящемся выступлении новичка. Поэтому для него было полнейшей неожиданностью, когда, после того как закончил свою речь предыдущий оратор, раздались громкие крики: «Мистер Питт! Мистер Питт!» Все взоры в зале устремились на него. И ему пришлось принять вызов, брошенный, казалось, самой судьбой.

Питт встал — высокая, худощавая фигура. Никакого замешательства — ни одним жестом не выдал он своих чувств. В нем с первых же слов обнаружилась манера прирожденного парламентария. Ведь, как-никак, Питт принадлежал к четвертому поколению парламентариев: палата представителей была родным домом для его отца, деда, прадеда. Так что и он чувствовал себя в палате как дома.

Говорил он с полнейшим самообладанием, чистым и мелодичным голосом. Его речь произвела тем большее впечатление, что была произнесена экспромтом. Выступающий правильно строил фразу, выбирал точные выражения. Его аргументация отличалась последовательностью, связностью, законченностью, доводы были ясны и четки. С этого момента за ним укрепилась слава одного из лучших ораторов в палате. Он сел на свое место под громкие и долго не смолкавшие одобрительные возгласы. Лорд Норт, возглавлявший группировку политических противников Питта, сразу же заявил, что ему никогда еще не приходилось слышать столь превосходную первую речь. Когда кто-то заметил Берку, что Питт — достойный потомок старой гвардии, тот ответил: «Он не потомок старой гвардии, он и есть старая гвардия». А Фокс, еще не ведая, какую роковую роль сыграет Питт в его политической карьере, поспешил со своего места на передней скамье к более скромному месту Питта в задних рядах и сердечно поздравил его.

Подождевший в эту минуту к двум молодым людям парламентский ветеран воскликнул: «Я слышу, мистер Фокс, вы высказываете

Питту восторги по поводу его речи. Вам и карты в руки: ведь, кроме нас, никто другой в палате не смог бы сказать столь же блестящую речь; я уже стар, но все-таки надеюсь услышать словесные баталии между вами в этих стенах, где мне довелось слушать споры ваших отцов».

Фокса это упоминание о былых распрях между вигами привело в замешательство. Он промолчал. Но Питт и здесь оказался на высоте положения. «Я не сомневаюсь, генерал,— ответил он,— что вы намерены дожить до мафусаиловых лет!»

Питт убедил палату в том, что, как и его отец, он — оратор волею божьей и что произнесенная им речь прославила его. Но одной речи еще недостаточно, чтобы его стали называть «первым человеком в стране». Любопытствующие члены палаты с интересом ожидали следующего выступления Питта. И вот 31 мая 1781 года, когда в палате дебатировались финансовые вопросы, Питт встал, прося слова. Одновременно с ним поднялся со своего места и Фокс, но тут же сел, уступая Питту право выступить. Новая речь Питта имела такой же успех, как и первая. «Похоже, мистер Питт выходит в первые люди парламента», — сказал один из членов палаты, обращаясь к Фоксу. Без тени зависти Фокс ответил: «Уже вышел». (Увы, безоблачный парламентский медовый месяц не длится вечность.)

И действительно, Питт, человек с «чертовски длинным лицом упрямаца», высоким лбом, крупным носом и пронизательным взглядом, вскоре подчинил палату своему влиянию. Он свободно владел оружием сарказма и, не задумываясь, пускал его в ход. Когда он начинал говорить, на лицах многих и многих его коллег появлялось испуганное выражение: «Боюсь, как бы гром не обрушился на мою голову».

О том, что громы и молнии он метал не напрасно, свидетельствует хотя бы то, как часто ему удавалось превращать многочисленные убежденные «нет» в готовые «да».

Фокс говорил пылко, страстно, Питт — расчетливо и точно. Фокс старался убедить своих слушателей, Питт заставлял их соглашаться. Серьезные и рассудительные доверялись неизменно осмотрительному Питту и отказывали в доверии его сопернику.

До конца своих дней Питт оставался холостяком самых строгих правил. Питт Пиндар насмешливо сравнивал его целомудрие с добродетелью кембриджского студента, который отплатывается от цветочниц, явившихся из деревни единственно для того, чтобы продать молодым джентльменам свои розы и лилии. Столь же решительно избегал Питт и других искушений. Ни карты, ни скачки, ни театр не соблазнили его. Правда, иной раз он позволял себе залпом выпить бутылку портвейна перед приходом в палату. Холодно поклонившись при входе в зал, он стремительной и твердой походкой направлялся к

своему месту; шел он с высоко поднятой и откинутой назад головой, смотря прямо перед собой и не устаивая никого из сидящих слева и справа ни кивком, ни взглядом. Это была сама непреклонность. По замечанию Ромни, Питт задирает нос перед всем человечеством. Он являл собой полную противоположность Фоксу, который, входя в палату, держался с непринужденной общительностью, с каждым готов был перекинуться веселой шуткой. «Вас обдаст ледяным холодом, — писал Шелбери человеку, которому предстояло беседовать с Питтом, — и потребуется весь Ваш жар, чтобы вызвать кратковременную оттепель». Питт возвышался над людьми, такой же холодный, одинокий, величественный и недоступный, как альпийский пик.

Он не находил нужным покровительствовать литературе и изящным искусствам. В годы его правления ни филолог Порсон, ни историк Гиббон, ни лексикограф Джонсон не получили из казны ни единого фартинга. Питт считал литературу таким же товаром, как полотно и сталь, цена на которые определяется спросом и предложением.

Вот в каких выражениях, по свидетельству леди Энн Барнард, отзывался о Питте его друг Дандас: «Завидую я этому плуту! Когда я ложусь спать, мне покою нет от мыслей об экспедициях, штормах, морских битвах и сражениях на суше — бывает, всю ночь ворочаюсь в постели и глаз не сомкну. А ему стоит только положить голову на подушку, как он тотчас засыпает мертвым сном».

6

Палата общин состояла из 558 членов. Как и палата лордов, она помещалась в Вестминстерском дворце. Зал заседаний имел продолговатую форму; по боковым его сторонам шли узкие галереи; потолок был плоский. Позади кресла спикера находились окна, от которых было мало проку в разгар дебатов далеко за полночь. Палату освещала огромная люстра, свисавшая с потолка.

Особых удобств для публики не предусматривалось: ведь заседания парламента — дело внутреннее, келейное. Достаточно, что члены палаты знали друг друга — им незачем было знать кого бы то ни было еще. Они составляли все вместе узкое, замкнутое в своем кругу собрание бонвиванов с красными носами, пудренными волосами, в камзолах замысловатого покроя, штанах до колен и туфлях с блестящими пряжками. Они сидели плечом к плечу, плотными рядами, так что прения в парламенте внешне напоминали дневной прием при дворе, где присутствовали только мужчины. Члены палаты общин не аплодировали, ибо предпочитали выражать свое отношение к происходящему не с помощью рук, а голосом. «За, за, — звучал

коллективный голос палаты общин. — Против! Правильно! Правильно! О-о-о!» Смех. Весьма красноречивым бывало молчание.

С одной стороны, палата общин являлась лучшим клубом в Европе; с другой стороны, она представляла собой что-то вроде дискуссионного общества.

ГЛАВА 2

ФЛОРИЗЕЛЬ¹ И КОАЛИЦИЯ

1

Шеридан был горячим приверженцем разоблачителя Фокса. Иными словами, он принадлежал к радикальной группировке «новых вигов». Его назначили помощником председателя Вестминстерской ассоциации сторонников реформ, и он председательствовал на массовом собрании в Вестминстер-холле, посвященном делу борьбы за всеобщее избирательное право и даже за ежегодное переизбираемый парламент. «Выборы раз в год, — требовали участники собрания, — и если понадобится, то и чаще». Шеридан ратовал за «а то и чаще».

Фокс ввел Шеридана в клуб Брукса, это святилище вигов; палата многого ждала от прославленного драматурга. 29 ноября 1780 года он произнес свою первую речь, которая была посвящена вопросу об обвинении членов палаты, представляющих Стаффордский избирательный округ, достопочтенного Эдуарда Монктона и его самого, во взяточничестве и подкупе избирателей. Шеридана слушали затаив дыхание, и, пока он говорил, в палате стояла необычная тишина. Но как только он сел, слово взял Ригби, государственный казначей вооруженных сил, и обрушился на него с градом грубых и оскорбительных выпадов. Фокс вынужден был выступить в защиту Шеридана. Между тем выступление Шеридана разочаровало палату. В следующий раз он выступал по вопросу о том, есть ли необходимость применить войска против участников гордоновских бунтов. Слышавший эту речь издатель Вудфол сказал Шеридану: «Парламент — это не ваша стихия». Шеридан, потирая рукой лоб, ответил: «Да нет же, я чувствую призвание и, ей-богу, еще покажу себя в полном блеске!»

«Благородный лорд с синей лентой ордена Подвязки» все-таки дошутился: 20 марта 1782 года его кабинет пал, и король, оказавшийся в безвыходном положении и притом стремившийся снискать себе популярность, послал за лордом Рокингемом. Впрочем, Георг III и тут без борьбы не уступил. Перед этим он дважды призывал к себе

¹ Флоризель, принц Богемии — герой «Зимней сказки» У. Шекспира. В постановке 1779 года роль героини этой пьесы, Утраты, играла Мэри Робинсон, тогдашняя возлюбленная Георга, принца Уэльского, который стал называть себя Флоризелем.

лорда Шелберна, но лорд Шелберн должен был признать, что без лорда Рокингема он не удержится, тогда как лорд Рокингем прекрасно удержится без него. Когда же в конце концов назначение этого вига премьером стало неизбежным, король, по сути дела, не пожелал видеть его, так что Рокингему пришлось проделать церемонию целования рук и все прочие предварительные церемонии через посредство Шелберна, который стал одним из министров кабинета и кавалером ордена Подвязки. Другой министр этого кабинета, Чарлз Фокс, рвал и метал, но не стал поднимать вопрос о привлечении Норта к суду, хотя ранее они с Берком яростно грозили ему импичментом. Надо полагать, пребывание у власти, как и благотворительность, покрывает множество грехов.

Преданность Шеридана Фоксу была вознаграждена: он получил в этом правительстве умеренного толка пост заместителя министра. Шеридан с головой окунулся в работу. Как и Фокс, он превратился из бездельника в труженика. Теперь он редко выступал. Он посвятил себя текущим делам и с живейшим интересом занялся двумя проблемами, требовавшими скорейшего разрешения: заключением мира с Америкой и Европой и предоставлением автономии Ирландии. Ходили слухи, что он отказался принять от американского правительства сумму в 20 тысяч фунтов стерлингов в качестве подарка за старания покончить с войной еще в 1781 году.

Тогда как друзья свободы видели в американской независимости зарю новой эры, старая гвардия видела в ней лишь унижение для Англии. Предстояло заключить мир с Францией, Голландией и Америкой. Трудность состояла в том, чтобы примирить капитуляцию с патриотизмом.

Мнения в кабинете министров разделились. Шелберн заявил, что, как только он признает независимость Америки, солнце Великобритании закатится. Выступив затем от имени короля, он просил об отсрочке официального признания независимости Америки. Фокс же настаивал на немедленном и сепаратном заявлении о признании. Шеридан был еще более горячим сторонником Америки, чем Фокс. Как и Фокс, он добивался исключения из текста договора с Францией любых статей, касающихся американской независимости, из опасения, что, если требование Франции о предоставлении независимости Америке получит выражение в виде особого договорного пункта, эта держава непременно усилит свое влияние в Новом Свете.

С самого начала между Фоксом и Шелберном возникли разногласия относительно разграничения их сфер компетенции и методов ведения переговоров. Их представители в Париже противоречили друг другу, излагая позицию кабинета по отношению к Франции и к американским колониям. Узнав о том, что происходит в Па-

разе, Фокс потребовал отзыва представителя Шелберна, совершившего несколько оплошностей. Однако кабинет отказал Фоксу в поддержке.

1 июля 1782 года Рокингом умер от инфлюэнцы, и во главе реорганизованного вигского кабинета встал Шелберн. Фокс категорически отказался остаться в кабинете и сотрудничать с Шелберном, а вслед за ним из состава кабинета вышли Берк, Шеридан, лорд Джон Кавендиш («пустое место» с титулом) и другие его единомышленники. Они образовали партию оппозиции. Чарлз и Дик, руководитель и его ближайший помощник, сдружились еще больше. Они сосредоточили теперь всю свою энергию на свержении Шелберна.

Недолговременное правление Шелберна было всего-навсего междуцарствием. Слишком уж немногих из своих приспешников он смог удовлетворить. Норт не оставлял надежды пробраться к власти. Бентики и Кавендиши только и ждали подходящего случая. 2 января 1783 года были подписаны прелиминарии Версальского договора. 27 января палата отложила обсуждение текста предварительного договора с Соединенными Штатами. 21 февраля палата большинством в семнадцать голосов (а этого большинства было вполне достаточно) выразила кабинету вотум недоверия по вопросу о заключении мира. Звезда Шелберна закатилась, зато уже восходила над парламентскими горизонтами звезда молодого Питта.

На какое-то время воцарился хаос. (Виноват был король, который всегда противился тому, что должно быть, и цеплялся за то, чего быть не должно.) Месяца полтора Англия жила без правительства. Георг упрашивал Питта сформировать кабинет. Питт отказывался, желая предоставить Фоксу, с которым он в конце концов порвал, возможность сломать себе голову. Тогда король призвал на помощь Норта. «Герцог Портлендский готов встать у кормила правления», — отвечал королю Норт. «В таком случае спокойной ночи», — отрезал король. Наконец под номинальной эгидой Портленда был создан коалиционный кабинет, куда вошли непримиримые и несоединимые противоположности, Фокс и Норт, хотя не кто иной, как Фокс, клялся, что никогда в жизни не пожмет руки негодяю Норту. Но гнусности правления Шелберна сгладили вражду между ними. К тому же Фокс заверил по-латыни, что в ссорах он незлопамятен, а в дружбе верен до гроба.

Король был в отчаянии. Портлендему не нравился. Фокса он ненавидел. Он вздыхал, плакал, бранился и даже грозил бросить все и уехать в Ганновер. Все это время он пекся о создании «всеохватывающего» кабинета министров, однако, что именно он имел в виду, было «выше человеческого понимания». Норт стал в новом кабинете министром внутренних дел, Фокс — министром иностранных дел, Берк — государственным казначеем вооруженных сил, а Шеридан,

вместе с сыном Берка, — министром финансов. Полная посредственность лорд Джон Кавендиш был назначен канцлером казначейства.

Коалиция с самого начала не пользовалась популярностью. Против нее была страна, против нее был монарх. С лица Питта не сходила горькая усмешка. Когда Фокс целовал королю руки, тот повернулся к нему спиной, очень напоминая в этот момент пугливую лошадь на скачках, которая вот-вот сбросит с себя седока.

И вот коалиция, осыпая щедрыми милостями как радикалов, так и реакционеров, поспешила взять бразды правления в свои руки. Это было не правительство, а уродливое детище тайных интриг. Оно не было порождено ни общим делом, ни необходимостью. То был союз талантов, а не союз принципов. С точки зрения нации, коалиция являлась мошенническим сговором, с точки зрения монарха, — чудовищем.

Под прикрытием коалиции тайно сложился еще один союз, который поставил правительство Норта — Фокса на грань краха. Речь идет о секретном пакте между «фокситами» (вигами-экстремистами) и молодым принцем Уэльским, которому назначают годовое содержание.

Этот злополучный альянс связал партию прогресса с сумасбродным и распутным наследником престола.

Георг, принц Уэльский, был тогда шумливым, легкомысленным молодым человеком, всецело предававшимся погоне за удовольствиями. Он был своеволен, распущен, расточителен. Если его отец являл собой образец благоприличия и супружеской верности, то он, напротив, прославился крайним беспутством. Его любовные связи стали притчей во языцех. Помимо пяти его более или менее «исторических» романов (с Утратой Робинсон, миссис Фицгерберт, леди Джерси, леди Хертфорд и леди Кэнингхем) называли имена еще одиннадцати его любовниц. Кроме того, у него были еще две любовницы, чьи имена до нас не дошли, и многочисленные короткие интрижки.

Список своих побед он открыл, соблазнив фрейлину своей матери. Ее величество, полная подозрений, обратилась к сыну со следующими словами: «Что ни говори, жизнь фрейлины, в общем-то, чрезвычайно однообразна».

«Совершенно согласен с вашим величеством, — отвечал принц. — Должно быть, жить так — смертная скука; ну, что может быть более удручающим, чем непрерывное участие в церемониальной процессии через приемный зал в гостиную; предписание этикета ни с кем не заговаривать первой; обязанность занимать время от времени место в королевской карете вместе с пятью другими дамами в широких

кринолинах, по крайней мере дважды в год шить себе новый придворный наряд да высиживать долгие часы в боковой ложе во время королевских представлений, нагоняя своей церемонностью зевоту на соседей?»

«Скажи мне, Джордж, может, фрейлина делает не только все это, но и кое-что еще?» — спросила королева со значением.

«Ну конечно, — откликнулся принц, — она бесплатно посещает спектакли, концерты, оратории; бесплатно лечится у придворных врачей и бесплатно получает у аптекарей лекарства».

«Но ты забыл упомянуть еще кое-какие ее действия, весьма существенные», — сказала королева.

«Вполне возможно, — заявил принц, — действия фрейлины никогда не являлись предметом моего образования».

«Ну что ж, тогда я тебе напомню, — продолжала королева, — тем более что ты познакомился с этими действиями совсем недавно. Ты правильно сказал, что фрейлина ходит на спектакли, концерты и оратории бесплатно, но ты забыл добавить, что она к тому же ходит на свидания при луне с молодыми принцами — интересно, это тоже бесплатно?»

Принц свободно говорил по-французски, по-итальянски и по-немецки, хорошо знал классиков и питал любовь — показную — к искусству и литературе. Вкус у него был не вполне безупречен: слишком уж тяготел принц к цветистому и кричащему. Но если учесть, что у его отца вкуса не было вовсе, он выигрывал от сравнения с королем, и его вкус почитали за эталон. Он любил развлечения на открытом воздухе и прекрасно сидел в седле. Он метко стрелял, превосходно фехтовал, а при случае умело пускал в ход кулаки. Ему нельзя было отказать в храбрости — он смело глядел в лицо смерти. «Вот она, смерть, дружок», — приговаривал он, находясь на краю гибели. С другой стороны, ему было непереносимо все, что препятствовало исполнению его капризов. Вдобавок к тому он лгал на каждом шагу, оправдываясь тем, что так уж его воспитали. «Вы знаете, я неправдив, — заявил он однажды, — и братья мои — тоже лжецы. Дело в том, что королева с раннего детства приучала нас говорить двусмысленно».

Для лондонского общества, по горло сытого скукой, царившей при дворе первых трех Георгов, этот юный принц, рожденный на английской земле, воспитанный в Англии и говоривший по-английски без вестфальского акцента, стал принцем-душкой. Принц Уэльский был и впрямь захватителен: высокий, хорошо сложенный, с красивым мужественным лицом, он уступал по красоте разве что герцогу Йоркскому, которого называли новым Аполлоном. И даже много-много лет спустя, в 1829 году, мадам дю Кайля, фаворитка Людовика XVIII, была поражена красивыми чертами его лица, его «belles jambes et sa

perrique bien arrangée — ses belles manières»¹. Менуэт он танцевал лучше всех своих сверстников. Ему завидовали все щеголи. Все красавицы хотели бы иметь такую очаровательную улыбку, как у него, а его поклон был, несомненно, самым царственным поклоном во всей Европе.

Принц был своим человеком среди франтов и денди. Первый его выход в свет произвел сенсацию: на туфлях принца сверкали пряжки нового фасона. Эти пряжки были его собственным изобретением и отличались от всех применявшихся ранее пряжек тем, что имели дюйм в длину и целых пять дюймов в ширину, спускаясь почти до подошвы по обе стороны стопы. Когда он впервые появился в палате лордов, на нем был камзол из черного бархата, богато расшитый золотыми и красными блестками, на красной атласной подкладке. Он носил туфли с красными каблуками; волосы у него были тщательно расчесаны на обе стороны и завиты, а сзади красовались два маленьких завитка. Шитье простого кафтана нередко обходилось принцу, после многочисленных переделок и, следовательно, столь же многочисленных поездок портного Дэвидсона из Лондона в Уиндзор, фунтов в триста.

Принц Уэльский был занимательным собеседником, большим говоруном и охотником посплетничать. В людях он выше всего ценил умение держаться с ним почтительно, но без подобострастия, и способность развлекать его. Он любил музыку, хорошо пел и играл на виолончели под аккомпанемент фортепьяно. С одинаковой похвалой отзывался он об игре соперников Кросдилла и Черветто², заметив, что «в исполнении Кросдилла чувствуется солнечный пламень и блеск, тогда как исполнение Черветто, нежное и лиричное, напоминает лунный свет». Принц часто бывал в опере, увлекался камерной музыкой и покровительствовал многим музыкальным обществам. Джиардини, человека весьма достойного, сказавшего про принца Уэльского, что это музыкант среди принцев и принц среди музыкантов, следовало бы объявить льстецом, если бы в этой фразе не подразумевалось с тонким юмором, что это лесть-издевка.

Эрскин называл принца, тоже не без язвительности, «знатоком космогонии» (намекая на Векфильдского священника), поскольку у него имелась в запасе пара цитат из классиков: одна — из Гомера, другая — из Вергилия, которые он, рисуясь, старался при каждом удобном случае вернуть в разговоре.

Принцем владела страсть к накопительству — правда, не денег, а одежды. Все кафтаны, башмаки и панталоны, которые он носил на

¹ «Стройными ногами и прекрасно завитым париком, его изысканными манерами» (франц.).

² Джон Кросдилл (175?—1825) и Джиакомо Черветто (1682—1783) — известные виолончелисты того времени.

протяжении пятидесяти лет, хранились в его гардеробе; вплоть до конца своих дней держал он в памяти полный каталог этой коллекции предметов туалета и мог когда угодно потребовать любой из них. У него было пятьсот кошельков, и в каждом из них лежали забытые там мелкие деньги. Он хранил бесчисленные связки любовных писем от женщин, стопы дамских перчаток, груди женских локонов.

Обратная сторона картины весьма неприглядна. Это был распущенный хлыщ и пьяница, расточитель и игрок, «скверный сын, скверный муж, скверный отец, скверный подданный, скверный монарх, скверный друг». Похождения принца расстраивали его отца больше, чем любые поражения в американской войне. Принц Уэльский шатался по публичным домам, напивался до бесчувствия и бывал доставляем домой в мертвецки пьяном виде. Частенько его отводили в полицейский участок. Он проматывал огромные суммы и был вечно в долгу. Поддав под дурное влияние герцога Кумберлендского и герцога Шартрского, он с безудержной расточительностью расходовал 10 тысяч фунтов в год только на одежду. Ростовщики брали у него все новые долговые расписки. Тем не менее принц продолжал предаваться многочисленным развлечениям, нисколько не смущаясь отсутствием денег. «Фараон» у миссис Хобарт, крикет в Брайтоне, скачки в Ньюмаркете, любительские спектакли в Ричмонде и балы-маскарады в Уоргрейве — вот что поглощало его внимание. Золотые союзы рекой уцлывали из его карманов: он проигрывал их в кости, покупал на них красивые камзолы и кружевные манжеты или же обменивал их на сверкающие драгоценности, чтобы украсить прекрасные шеи вившихся вокруг него женщин.

При всем том он оставался маменькиным сыночком, баловнем королевы. Мать читала ему вслух из «Тэтлера»¹ историю о молодом человеке с добрым сердцем и мягким характером, который, погнавшись за наслаждениями, втянулся в беспутную жизнь, но беспутничает только в силу привычки, постоянно испытывая угрызения совести, мучительный стыд и чувство неудовлетворенности. Материнский голос растроганно дрожал, в глазах королевы блеснули слезы. Но наследник престола не знал ни стыда, ни совести и не внимал голосу любящей матери.

Принц давал аудиенцию друзьям и выслушивал всяческие новости, валяясь полуголый в постели; кровать служила ему треном, спальня — кабинетом и совещательной палатой.

Фокс утверждал, что на принца можно повлиять двумя способами: запугать его или же дать ему денег на развлечения. Он посулил принцу годовой доход в 100 тысяч фунтов стерлингов и единоре-

¹ Сатирико-нравоучительный журнал, издававшийся совместно Р. Стилом и Д. Аддисоном.

менную выплату 30 тысяч фунтов на погашение его долгов. Король пришел в ярость. Он плакал, жалуясь герцогу Портлендскому; он совещался с лордом Темплом. Но тут в дело вмешался Фокс, принц пошел на уступки, и коалиция была спасена,

2

В начале ноября 1783 года Фокс затеял в парламенте грандиозную игру ва-банк. Вот уже в течение шестнадцати лет признавалось необходимым установить более строгий парламентский контроль над замкнутой и неразборчивой в средствах корпорацией, которая распорядилась семимиллионным годовым доходом, шестидесяти тысячной армией, а также жизнями и судьбами тридцати миллионов человек.

Индия превратилась в сущий рай для авантюристов, жаждущих обогатиться. Всякий, кому удавалось заполучить местечко в Ост-Индской компании, мог считать, что дела его устроены. Ведь должность с номинальным жалованьем в триста фунтов приносила ее обладателю 50 тысяч фунтов в год. «Что такое Англия? — вопрошал Уолпол. — Раковина, которую набобы наполняют богатствами Индии и которую опорожняют вертопрахи-макарони». Осуществление каких-то реформ стало неизбежным, и вот Фокс внес на рассмотрение парламента свой Ост-Индский билль.

В индийском вопросе Берк и Фокс, учитель и ученик, действовали заодно, однако это был союз противоположностей. Оба они умели выступать страстно, но страстность Берка была сродни апостольскому пылу, страстность Фокса — ярости бунтовщика. Оба фанатически отстаивали свое дело, но были фанатиками в разной степени. Когда Берком овладевала какая-то идея, он, словно вновь рожденный Данте, зрел перед собой геенну огненную. Фокс не был таким идеалистом; он обеими ногами стоял на земле. Но в груди этого насквозь земного человека пылало страстное, отзывчивое сердце, способное возбуждать энтузиазм людей. Оба деятеля сошлись на том, что если плоха система, то олицетворяющий ее человек еще хуже. Уоррена Хейстингса необходимо посадить на кол. Если корона оказывает влияние на раздачу Ост-Индской компанией должностей и привилегий, то, значит, это представляет собой вопиющее злоупотребление исключительным правом.

Шеридан и в силу своего политического темперамента и в силу своих убеждений держался золотой середины. В его идеях было гораздо меньше абстракций, в его позиции — гораздо меньше твердости. Веря в благое назначение билля об Индии, он умело и энергично выступал в его защиту, а затем и печатно изложил свои доводы, доказывающие превосходство этого билля перед биллем

Питт как в частности, так и в принципе. Его захватывала драматическая сторона проблемы. Он горячо откликнулся на громкие призывы помочь «попранному Индустану» и рад был унижить лоснящихся от жира монополистов, жадно поглощающих награбленную на Востоке добычу. Но, в отличие от Фокса, Шеридан не хотел ставить свое политическое бытие на карту из-за чистой формальности — процедуры принятия парламентского акта. Не было в нем, или почти не было, идеализма Берка. При своей ненависти к несправедливости, он, как комедиограф, понимал, сколь нелепы любые крайности. Шеридан не пылал жаждой мщения и сохранял полное душевное равновесие. Если парламент покончит с порочной системой управления Индией, рассуждал он, зло будет исправлено и отпадет надобность приносить в жертву зарвавшегося губернатора. Однако если парламент откажется исправить зло, то Уоррена Хейстингса надлежит привлечь к суду. Такова была точка зрения Шеридана, его собственная, — он не позаимствовал ее ни у Берка, ни у Фокса. Тогда как Берк витал в облаках, а Фокс погружался в глубины, Шеридан оставался трезвым реалистом, охотно предоставлявшим в их распоряжение свое остроумие и свой здравый смысл.

В соответствии с положениями внесенного Фоксом Ост-Индского билля предлагалось создать коллегия в составе семи комиссаров, назначаемых вначале парламентом, а потом королем, для осуществления контроля над административной и торговой деятельностью, над порядком назначения должностных лиц. В билле были названы семь кандидатов в комиссары — все до одного члены партии Фокса, что оказалось весьма опрометчивым шагом.

Директора компании громко негодовали: билль нарушает исключительные права, подрывает королевскую прерогативу, ставит под угрозу все публично-правовые компании; кроме того, он широко открывает двери для коррупции и фактически отдает верховную власть в руки вигам. Сельские сквайры сокрушенно покачивали головами и поносили «этих мошенников». Купцы чуяли во всей этой затее воровство и клялись, что в сравнении с ним патриотические поборы Хейстингса — ничто. Питт предрекал, что, если билль будет принят, «никакие общественные устои — ни одна публичная корпорация, ни Английский банк, ни даже сама Великая хартия вольностей — не будут застрахованы от нововведений алчной коалиции, которая, широко раскрыв хищную пасть, собирается поглотить право назначения на должности, оцениваемое в два с лишним миллиона фунтов стерлингов». Фокса обвиняли в стремлении сделаться королем Бенгала, императором Востока и, в силу обретенного таким образом могущества, западным деспотом. На карикатурах его называли Карло Ханом и изображали едущим по Леденхолл-стрит на слоне (лорд Норт), которого ведет Эдмунд Берк.

За стенами палаты общин чернь выкрикивала: «Нам не нужен Великий Могол! Нам не нужен тиран Индии!» Землевладельцы Мидлсекса и даже избиратели Вестминстерского округа — этого оплота Фокса — протестовали против билля, считая его несправедливым и неправильным. Билль объявляли изменническим, реквизиционным, антианглийским, антиконституционным. Повсеместно царила тревога, и англичане, охваченные подозрительностью, на какой-то момент сплотились вокруг своего монарха.

Однако на каждой стадии обсуждения билля в парламенте его поддерживало огромное большинство. Поздним вечером 8 декабря 1783 года настал критический момент третьего чтения. Фокс и слышать не хотел ни о каких отсрочках: пора приступать к голосованию. Напрасно майор Скотт (представитель Хейстингса) молил его словами Дездемоны (мольба эта звучала тем более иронично, что у Фокса было смуглое, как у Отелло, лицо): «Дай эту ночь прожить! Отсрочь на сутки!»¹ Напрасно «Дьявол» Уилкс называл всю эту историю с биллем сплошным жульничеством. Напрасно еще один член палаты утверждал, что у билля голос Иакова, а «руки Исавовы»². Министры одержали верх. Только сто два члена палаты вышли вслед за Питтом при голосовании в коридор; двести восемь членов поддержали коалицию.

Фокс во главе ликующей процессии перенес билль в палату лордов, где он был назначен ко второму чтению и опубликованию. Георг III предпринял отчаянную попытку поставить на своем. Он вручил лорду Темплу бумагу, в которой говорилось, что «всякий, кто проголосует за Индийский билль, не только перестанет быть другом ему [королю], но и сделается его врагом, а если эти слова недостаточно вески, граф Темпл уполномочен употребить любые выражения, какие он сочтет более вескими и уместными».

Георг с нетерпением ожидал в Уиндзоре результатов решающего голосования. И вот голосование состоялось. Наутро следующего дня король, как обычно, спозаранку выехал на псовую охоту со сворой королевских шотландских борзых. Но сегодня мысли короля были далеко, и, когда гончие погнали зверя, он не сдвинулся с места, словно бы ожидая с минуты на минуту прибытия важных новостей. И тут же показался скачущий во весь опор всадник. Король нетерпеливо распечатал доставленный пакет. Пробежав письмо глазами, он воздел руки к небу и пылко воскликнул: «Слава богу, дело сделано; палата отвергла билль!» «Итак, — добавил он, — с мистером Фоксом покончено». Король тут же направил к Норту и Фоксу посыльных с уведомлением, что он не имеет возможности лично принять их от-

¹ «Отелло». — Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8-ми тт., т. 6, с. 411.

² Библия, Бытие, гл. 27, ст. 22.

ставку, и с предписанием сложить с себя полномочия министров, а 19 декабря назначил премьер-министром Уильяма Питта.

Провал Ост-Индского билля прозвучал похоронным звоном по коалиции. Фокс, обратившись к излюбленным Берком восточным образам, воскликнул, что мера, разработанная ради освобождения тридцати миллионов человек, была задушена «подлой удавкой придворных янычар».

Падшие ангелы уповали на будущее: ведь битва еще не проиграна. Премьер-министр, осмелившийся править страной наперекор огромному большинству в палате общин, — это такая мишень, которая вселяла в его противников надежду на успех и побуждала их действовать с удвоенной энергией. Если только им удастся помешать королю, или, скорее, Питту, распустить парламент (хотя это было бы вполне конституционной мерой), они еще возьмут реванш, сделав невозможным управление государством.

Итак, Питт встал у кормила государственной власти. В кофейнях и клубах денди посмеивались над его назначением:

«Мы целый свет повергли в изумление:

Вручили школьнику бразды правленья!»

Да и сам Фокс добродушно рассмеялся, услышав эту новость. Близилась двухнедельные рождественские каникулы, никому и в голову не приходило, что министерство сможет продержаться до следующего рождества. «Ну что ж, — говорила миссис Кру, — пусть мистер Питт потешится, пока каникулы, но, уж будьте уверены, его правление не будет долговечнее рождественского сладкого пирога».

Осыпаемый насмешками Питт невозмутимо гнул свою линию. Он был исполнен решимости еще не одно рождество встречать премьер-министром «правительства сладкого пирога».

После каникул продолжалась сессия парламента. У Питта не было большинства в палате общин; его не поддерживал в палате ни один министр кабинета... Друзья уговаривали его рекомендовать роспуск парламента. Фокс немедленно взял слово и поставил под сомнение право короны распустить парламент во время сессии: «Яков II сделал это и тем самым положил конец своему правлению». В ответ на это Питт заявил, что он не подвергнет опасности королевскую прерогативу и не продаст ее палате общин.

Завязалась битва, продлившаяся многие месяцы. По выражению Джонсона, «в этом бою скрестились скипетр Георга III и язык мистера Фокса». Лидеры вигов денно и нощно совещались в Бэрлингтопхаусе. Шеридан, ставший к этому времени надежной опорой своей партии, доводил себя этими ночными бдениями до полного изнеможения.

Вражда между партиями разгорелась с небывалой дотоле силой. Даже знатные леди перестали выбирать выражения. «К чертям Фокса!» — крикнула герцогиня Ратлендская в переполненном оперном зале. «К чертям Питта!» — крикнула в ответ леди Мария Уолдгрив, а леди Сефтон заметила: «Вот вам великие арии в истории Англии». Разумеется, для герцогини, которая только что одарила школы для бедных детей по случаю рождения у нее первой дочери и, соперничая с миссис Кру, увлекалась новой блажью — пажами-негритами, все это было элегантным развлечением. Но вообще-то среди всех партийных приверженцев женщины были самыми ревностными. Именно в ту пору миссис Тикелл называла Питта «несчастливым полудьяволом, заслуживающим изгнания».

В палате общин шли бурные дебаты. Шестнадцать раз на протяжении последующих десяти недель счетчики голосов объявляли, что Питт — в меньшинстве. Фокс всеми силами старался добиться отставки Питта. Тщетно. Питт не уходил. Питта поносили, ставя ему в вину и его молодость, и его низкопоклонство перед королем, и его двойную игру, которая разрушила коалицию. Шеридан называл его «низким и лицемерным». Лорд Суррей (впоследствии герцог Норфолкский) каждые две минуты вскакивал с места, чтобы внести какое-нибудь агрессивное предложение.

Во время прений стоял неопиcуемый шум и гам. Однако Питт не сдавал позиций и внес на обсуждение парламента свой собственный билль об Индии, который тоже был отвергнут. В какой-то момент Питт начал опасаться, что его дело проиграно, но за спиной Питта стоял король, убеждавший его не уступать. «Если вы увидите в отставку, мистер Питт, придется уйти и мне».

Второго января верный оруженосец Фокса, герцог Норфолкский, выдвинул предложение о вынесении вотума недоверия министрам. Шеридан, собрав все свои силы, произнес громовую речь. Питт утверждает, что он якобы «стойко оборонял крепость, именуемую конституцией», но разве мыслима, спрашивал Шеридан, конституционная крепость без гарнизона в лице нижней палаты? «Нынешние министры стараются возвести сооружение, призванное защитить их от любых нападений, но они возводят его на уже подкопанной земле, и, какими бы твердыми ни были опоры, какими бы крепкими и прочными ни были контрфорсы, какими бы легкими ни были своды, фундамент неизбежно окажется слабым, коль скоро земля под ним подкопана. Поэтому возводимое здание не устоит; более того, оно рухнет тем скорее, чем больше будет его тяжесть. Тайное влияние — вот что является подкопом под конституционное целое; оно стало четвертым сословием в конституции, поскольку ни король, ни лорды, ни общины не владеют монополией на него... Следует навязать королю такое правительство, которое он не смог бы прогнать». Далее

Шеридан доказывал правоту Фокса и громил Питта, которого называл «королевским ставленником». Но, несмотря на все красноречие Шеридана, чаша весов уже начала склоняться в противоположную сторону.

Страна быстро сплывалась, вставая на защиту своего монарха. Многие давние противники двора превращались теперь в горячих его приверженцев. Из Мидлсекса и Вестминстера поступали многочисленные обращения в поддержку короля и с осуждением министров. Уличная толпа напала на Фокса; Питт тоже подвергся нападениям толпы; оппозиционное большинство таяло. Было совершенно очевидно, что новое министерство пользуется массовой поддержкой в стране.

Первого марта большинство Фокса в палате общин сократилось до двенадцати голосов. Неделью спустя у него было большинство всего лишь в один голос. 23 марта Питт решил, что созрел момент для роспуска парламента.

Берк назвал эту меру «криминальным роспуском». Джорджиана Девонширская, сообщая эту новость матери, присовокупила, что она сейчас одевается и что у нее в гостиной что-то пишут «герцог Портлендский и Ч. Фокс».

Виги потерпели сокрушительное поражение. На всеобщих выборах избиратели провалили 160 кандидатов от оппозиции (их стали называть «великомучениками Фокса»). Шеридану посчастливилось: он получил большинство голосов избирателей Стаффорда.

Затраты Шеридана на избирательную кампанию составили более 1300 гиней, как это явствует из его счета предвыборных расходов. 40 фунтов стерлингов было потрачено на угощение пивом, 10 — на покупку угля нуждающимся, 10 — на «приведение к присяге молодых горожан». Основная часть всей суммы была передана 248 горожанам без указания конкретного назначения этой субсидии. Пять гиней было пожертвовано на больницу, две гиней — на утешение «вдов священников», еще две — на оказание прочих благодеяний. Что и говорить, пиво покрывает множество грехов и явно преваблирует над благотворительностью! Впрочем, из других источников мы узнаем, что на благотворительные цели было роздано целых сто гиней.

Однако главным событием года стала историческая «вестминстерская предвыборная кампания» Фокса.

ЧАРЛЗ ДЖЕЙМС ФОКС

«Гражданская и религиозная свобода!
Старинные роды и потомственная аристократия!

Свобода выборов!

Герцогиня Девонширская и знатные леди,
а также

свобода печати!

Ура! Ура! Ура!

Боже, спаси народ».

...Герцогиня Д-я, собирая для мистера Фокса голоса избирателей, попросила мясника отдать свой голос Фоксу. «Я пообещаю вашей светлости проголосовать за него, — ответил лавочник, — и собрать еще пять голосов в его пользу, но только на одном условии». — «На каком же?» — «А на том, что ваша светлость подарит мне поцелуй». «Только и всего? — воскликнула восхитительная Джорджиана. — Так возьмите же его»².

В Ковент-Гардене творилась подлинная вакханалия. Предвыборные выступления Фокса и его соперников лорда Худа и сэра Сесила Рэя, «лисы, льва и осла», стали главными зрелищами сезона. Из-за них поубавилось публики в театрах, совсем опустела опера. Сэр Сесил Рэй ратовал за введение налога на служанок, который Шеридан, выступая в палате общин, назвал «подарком холостякам».

...Когда г-ня Д-ширская вербовала на сторону Фокса избирателей в Сент-Олбенсе, она, выходя из кареты, чтобы посетить жилище ремесленника, случайно порвала туфельку, да так сильно, что с трудом удерживала ее на ноге. Красавица, посвятившая себя политике, с живой и веселой непринужденностью вышла из столь затруднительного положения: со словами «я рада служить моим друзьям даже босиком» она лихо сбросила туфельку с ноги...

¹ Здесь и далее обыгрывается тот факт, что фамилия Фокс в английском языке звучит так же, как слово «лиса» (fox).

² Мы должны с первых же строк предупредить наших читателей, что все оскорбительные и пристрастные высказывания о добродетельной и очаровательной г-не Д-й почеркнуты нами из газеты с дурной репутацией, чьи клеветнические домыслы, при всей их злонамеренности, не произведут никакого впечатления на тех, кому дорога истина, равно как и на тех, кому известна личность издателя. (Примеч. автора.)

(Аналогичный случай. Когда Юлий Цезарь высаживался в Африке, он, прыгая с борта галеры на берег, споткнулся и упал на землю. Столь зловещее предзнаменование могло бы посеять панику среди суеверных легионеров, если бы Цезарь с большим присутствием духа не обратил дурное предзнаменование в благоприятное. Он как бы обхватил землю и воскликнул: «Teneo te Africa» — «Я держу тебя, Африка», высказывая решимость завоевать ее наперекор судьбе. Какую прекрасную пару составили бы Юлий Цезарь и герцгиня Девон-я!..)

...Некая леди, известная своей красотой и знатностью, обращается с просьбой ко всякому мяснику, сапожнику или прочему мастерскому, которого она удостоила бы в будущем поцелуя, чтобы он целовался честно и не допускал неподобающих вольностей...

...Мистер Фокс, вербуя себе сторонников, завел разговор с одним ремесленником, человеком прямым и грубым, и попросил его отдать ему, Фоксу, свой голос. Наш ремесленник отрезал: «Не стану я поддерживать вас. Я восхищаюсь вашими способностями, но осуждаю ваши принципы». На что мистер Фокс ответил: «Мой друг, я одобряю вашу искренность, но осуждаю ваши манеры»...

...Толстушка миссис Хобарт агитирует за сэра Сесила Рэя, но ее чары не оказывают действия: ведь все козырные дамы — на руках у Фокса. Красоту цветов на ковент-гарденском рынке затмевает сияние женской красоты...

...Небезызвестная герцогиня горячо упрашивала одного джентльмена, имеющего право голоса и в Вестминстере и в Суррее, проголосовать за Фокса, но тот сказал ей: «Очень сожалею, сударыня, но и принял твердое решение не голосовать ни за лиса, ни за гуся»...

...Дамам, много разъезжающим по городу в поисках голосов избирателей, рекомендуется брать с собой мягкие бархатные подушечки, которые предохранят их от чрезмерной тряски в карете...

...Генриетта-стрит стала ныне прибежищем всех модных актрис: Утрата бывает там постоянно, одетая в цвета Фокса. (Похоже, Утрата поскучнела и побледнела. Неужели пр... по-прежнему равнодушна?)...

...Когда мистер Фокс попросил одного хеймаркетского шорника проголосовать за него и собрать для него голоса друзей, тот протянул Фоксу веревку с петлей, показывая, в каком смысле он готов удружить ему. «Премного вам благодарен, — отвечал кандидат, — но мне было бы жаль лишать вас этой вещи — похоже, это семейная реликвия»...

...Г-ня Д-я, обольстив кузнеца, принялась за ирландца-подмастерья, который в полной мере воздал ей за ее поцелуй: «До чего же лгучи глазки у вашей светлости — ей-богу, я мог бы зажечь от них свою трубку»...

«За Фокса, бесспорно, стоят небеса
(Пусть то при дворе отрицают).
Отдайте за Фокса свои голоса,
Раз ангелы их собирают».

...Вчера герцогиня Девонш...я собирала голоса избирателей в пользу мистера Фокса по многочисленным вестминстерским пивным. Примерно в час она осушила кружку портера в питейном заведении Сэма, что на Уордор-стрит...

...Три обольстительные герцогини, не зная устали, обрабатывают избирателей, причем каждая действует своим излюбленным способом. Старшая, вдовствующая герцогиня Портлендская, прибегает к милой болтовне и многословным уговорам; другая герцогиня, ее дочь, пленяет своею мягкостью, проявляя при этом благо-разумную сдержанность; зато прелестная чаровница завлекает нежными взорами и добивается своего величавой лаской...

...Чернобурый лис рыщет по всему округу, зубоскаля да подшучивая над тем, что его противники неизменно проводят предвыборные собрания в аукционных залах...

...Как утверждает г... Д...я, даже если ее друга Чарли прокатят на выборах в Вестминстере, она предоставит в его распоряжение единственный округ, где она хозяйка положения...

...Принц У-й собственной персоной объявился на арене предвыборной борьбы, украшенный кокардой в виде лисьего хвоста, обвитого лавровыми ветками. Он сопровождал герцогиню и ее восхитительную свиту и свободно, непринужденно держался со всеми. Его друзья, певец капитан Моррис, забияка Сэм Хаус и священник-войка Бейт-Дади, вносили приятное разнообразие в происходившее...

...Когда герцогиня Д..., выйдя из кареты у дома одного лавочника на Т...-стрит, стала упрашивать хозяина отдать свой голос Фоксу, тот сказал ее светлости, что сама она очаровательна, глаза ее пленительны, губки соблазнительны, но, поскольку все эти прелести несколько не меняют ни принципов мистера Фокса, ни его поведения, он останется при своем прежнем решении голосовать за сэра Сесила Рэя...

...В субботу г-ня Д. и леди Данкеннон обходили дома, собирая голоса в пользу г-на Фокса, причем, как отмечалось избирателями, это были самые дивные создания из числа посещавших их за время кампании, «они словно с картинки к нам сошли».

...То обстоятельство, что мистер Фокс вынужден изо дня в день полагаться в своей предвыборной кампании на силу женских чар, лишь доказывает неправедность отстаиваемого им дела, ибо кандидат, рассчитывающий исключительно на помощь дам, поистине дошел до крайности...

«Зачем Ваша скромность покинула Вас,
Прелестнейшая герцогиня?
Ведь если б и избран был Фокс на сей раз,
Он, пост сохранив, вряд ли б честь Вашу спас,
Утраченную отныне».

...Герц-ния Девон-я начинает свой обход избирателей с Сент-Мартинс ле Гранд и завершает его в приходе Сент-Маргарет. Правильно! Солнце всегда должно восходить на востоке и садиться на западе.

...На днях ее светлость уволила своего чернокожего парикмахера. Женщины непостоянны, и, как знать, может быть, вскоре она даст отставку и своему смуглокожему патриоту?..

...«Держу пари на пять гиней,— говорит одному избирателю прославленная собирательница голосов,— что вы не проголосуете за г-на Фокса. Вот деньги — пусть они будут у вас». «Пойдет!» — отвечает Независимый Избиратель Вестминстера, вследствие чего Доверенному Народу обеспечен еще один голос на выборах...

...В то время как ее светлость занимается обхаживанием избирателей, ее муж, примерный семьянин, находит себе занятие в детской: напевает «баю-баюшки-баю», мерно качая колыбель...

...Единственное объяснение загадочной приверженности протестантов к народным кандидатам заключается в том, что они привыкли повиноваться воле своих избирателей...

...Его светлость герцог Д-й спешно отправил свою дорогую супругу в деревню, где, надо полагать, она подвергнется такой же строгой проверке, как и результаты выборов...

...Если мистер Фокс перестанет быть Доверенным Народом, он все же будет вправе называть себя, поскольку пользуется поддержкой стольких дам, Доверенным женщиной.

...Создана Вестминстерская фирма Фокс, Дебри, Д-р, Уэлтки, Хаус и К°...

...Одна знатная и красивая леди, которая вот уже несколько раз пешком обходила дома избирателей, собирая голоса в пользу своего любимого кандидата, столкнулась с проявлением нескромности, которое, впрочем, она могла бы предвидеть заранее: некий мужчина предложил ей сто голосов за одно проявление ее благосклонности...

...Мистер Шеридан сочиняет пародии, сатирические и шутливые стихи, устраивает сюрпризы и обедает в «Короне и якоре», где неизменно провозглашает свой любимый тост: «За свободу печати!»

...Самая скромная среди сборщиц голосов — это миссис Шеридан. Годы смягчили черты ее лица, придав им выражение обезоруживающей нежности...

...Три подмастерья каменщика, обитающие на чердаке в Лонг-айре, проголосовали за некоего кандидата и получили от него бла-

государственное письмо. Будучи неграмотными, они отнесли письмо своему хозяину, которому таким образом стало известно об их постыдной сделке...

Если принять во внимание, сколь часто посещают знатные леди Ковент-Гарден, не приходится удивляться тому, что они заражаются духом партийной борьбы и с таким жаром ратуют за своих любимых кандидатов...

«ОДА

Г-не Девонширской

Нет, ни одна из наших дам
В подметки не годится Вам!
У Вас такая прыть!
Ведь кто б еще из дома в дом
Вот так ходил бы день за днем,
Чтоб голос раздобыть.

На рынке, в лавке, в мастерской
Пленяете Вы пол мужской.
Ваш так приветлив вид!
Тот ручку лобызает Вам,
Тот дерзко тянется к устам,
Тот хуже поровит.

Остались шлюхи не у дел.
Клиент совсем к ним охладел,
Твердит с презреньем: «Сгинь!»
Не тот царит сегодня дух,
Чтоб целовать нам потаскух,
Поддай нам герцогинь!»

...Каждое воскресенье герцогиня Девонширская отбывает в Чизик; надо надеяться, она пользуется возможностью сходить там в церковь и замолить грехи, совершенные за неделю...

...Было бы поистине чудом, если бы оказалось, что на всех счетах, присланных мистеру Фоксу портным, стоит расписка в получении...

...Просто чудо, что у леди Ар-р все тот же цветущий вид и яркий румянец, что и двадцать лет назад...

...Вчера констебль, сущий зверь, сбил с ног юношу, кричавшего: «Да здравствует Фокс!» Была предпринята попытка разгромить штаб-квартиру Фокса — «Шекспировскую таверну», но в завязавшейся битве завсегда таи отразили атаку бунтовщиков...

...Просто чудо, что кредиторы Ш-дана не повесились много лет назад...

...В нижнюю ложу Ковент-Гарденского театра, пошатываясь, входит молодой человек, франтовато одетый и с выражением благодушия, веселости и жизнерадостности на улыбающемся лице, «вином разгоряченном». Вслед за ним входит джентльмен с эмблемой сторонника Фокса на шляпе, при виде которого приверженец Бахуса громко восклицает: «Да здравствует Фокс!» Сидящий по соседству важный человек флегматичного вида, как оказалось, политический противник Фокса, отнесясь к этому заявлению со всей серьезностью, тут же адресует к нарушителю спокойствия со следующими словами: «Вы отдаете себе отчет, сударь, где вы находитесь?» «Да здравствует Фокс!» — восклицает щеголь. «Сударь, вы мешаете публике», — урезопивает его важный человек. «Да здравствует Фокс!» — раздается в ответ. «Да вы, сударь, пьяны», — возмущается важный. «Да здравствует Фокс!» — повторяет щеголь. Важный начинает выходить из себя: «Таких, как вы, следовало бы в море топить!» «А мне, сударь, море по колено!» — отвечает нарушитель спокойствия. Тут степенный человек встает, надуваясь от важности. «Сударь, — говорит он, — вы оскорбили леди и джентльменов вокруг меня, и я требую, чтобы вы принесли им извинения». «Леди и джентльмены вокруг меня, — заявляет щеголь с добродушным блеском в глазах, — если я вас оскорбил, простите меня великодушно, а что касается этого грубияна с кислой физиономией (тут он с невыразимым презрением оглядывает важного), то перед ним я и не подумаю извиняться. Поэтому «Да здравствует Фокс!», и посмотрим, хватит ли у этого типа смелости выйти потолковать со мной». С этими словами наш щеголь выходит вон, а важный человек, не ожидавший такого отпора, предпочитает не выходить вслед за своим неприятелем из театра и смиренно сидит до конца спектакля...

...Подумать только, пр... ратует против супружеских измен и прелюбодеяний!..

...Просто чудо, что л-ду Н-ту удалось избежать топора и веревки...

...Нам сообщают о том, как избирали мистера Джона Скотта в округе Уиобли в Херефордшире. Добравшись до Уиобли, мистер Скотт поинтересовался, как принято здесь проводить предвыборную кампанию; ему сказали, что перво-наперво он должен зайти в дом, где живет самая хорошенькая девушка во всем округе, и поцеловать ее. Так он и поступил, а затем посетил собрание избирателей, к которым обратился с речью. «Моя речь понравилась слушателям, и я кончил ее так же, как начал: поцеловал самую хорошенькую девушку городка, действительно очень славненькую». Не мудрено, что молодой Скотт собрал наибольшее число голосов в Уиобли...

...Нам сообщает один подписчик из Вестминстера. «Бог ты мой, сударь, до чего же это отрадное зрелище, когда знатная леди подходит прямо к нам, простым смертным, делающим всякую черную работу, протягивает нам руку, приветливо здоровается, звонко смеется, тепло говорит с нами, пожимает каждому руку и обращается с такими словами: «Отдайте ваш голос нам, достопочтенный сударь, голосуйте за друга народа, нашего друга, вашего друга». Тут, сударь, мы начинаем нерешительно мяться — тогда они, эти знатные леди, посылают за нашими женами и детьми, а если и это не помогает, они не долго думая обещают подарить тому, кто отдаст им свой голос, поцелуй, да не один — целую дюжину. Бог ты мой, сударь, раздавать поцелуи им ничего не стоит — и так это у них естественно получается!»

Примечание: когда кузен Питта Гренвилл, молодой, элегантный и красивый, посетил в ходе своей предвыборной кампании поэт Каупера в Олни, он перецеловал всех дам в гостинной, поцеловал вдобавок служанку на кухне и вообще произвел впечатление исключительно любвеобильного, добросердечного, щедрого на поцелуи джентльмена. Не удивительно, что за Гренвилла было подано большинство голосов в Бекингемшире...

2

И вот 14 мая 1784 года были оглашены окончательные результаты голосования. Избранию подлежали два кандидата. Голоса распределились так:

Лорд Худ6694
Фокс6234
Сэр Сесил Рэй5998

Победные крики сотрясали воздух. Фокса подняли и понесли на стуле в центре триумфальной процессии, едва ли уступавшей по пышности королевской: реяли флаги и эмблемы, впереди скакали конные герольды, в арьергарде катили кареты шестеркой, в которых восседали ослепительные красавицы — их светлости герцогиня Девонширская и герцогини Портлендские. Карлтон-хаус превзошел себя, устроив роскошное празднество на лоне природы. В садах разбили девять шатров, и в каждом накрыли столы. Столы ломились от яств: всевозможные печения и сладости, мороженое, клубника, виноград, фрукты. Гостей потешали своими проделками клоуны и шуты, специально нанятые для этого случая. Расположенные на достаточном расстоянии друг от друга, играли четыре оркестра. Его высочество и герцогиня Девонширская были первой парой в контрдансах и ко-

тильонах. То был мир картин Ватто, оживший прекрасным майским днем на английской земле.

Вечером это блестящее общество было на грандиозном балу у миссис Кру. Все сторонники Фокса, включая и принца, явились в одеждах желто-синих цветов. После танцев гостям был сервирован изысканный ужин. Капитана Морриса посадили во главе стола и стали громко упрашивать его спеть «Младенца и няню». Он исполнил эту пьесу в лучшей своей манере, а тесно окружившие его дамы с воодушевлением подпевали ему. Затем дамы выпили за его здоровье. Поблагодарив милых дам, капитан Моррис провозгласил тост «за истинно синих и за миссис Кру». Прекрасная хозяйка тут же провозгласила ответный тост: «За истинно синих и за всех вас». После тостов капитан Моррис развлекал общество шуточными песенками, которых у него оказался неистощимый запас, причем пел он их с таким жаром, что у всех прелестных слушательниц глаза сверкали от удовольствия.

На этом балу присутствовал и блистал Шеридан. Не прошло и полугода с того момента, когда он с почестями принимал у себя в Друри-Лейне Аморетту, которая, направляясь в Кру-хилл, приказала повернуть карету, ради того чтобы повидаться со своим королем Аргуром. Миссис Тикелл уверяла свою сестру, что это была совершенно невинная выходка, и смеялась над всей этой историей. Тем не менее миссис Шеридан писала ей из аббатства Делапре: «Ш. в городе, и миссис Кру тоже; я в деревне, и *мистер Кру* тоже; удобно все устроилось, не правда ли?»

Недолго звучали заздравные песни по случаю победы на вестминстерских выборах. Обнаружилось, что общее число поданных голосов было больше общего количества избирателей, значившихся в избирательных списках. Рэй потребовал проверки правильности выборов, и верховный бейлиф признал это требование обоснованным. На долгие месяцы победитель лишился своего места в парламенте и даже был вынужден искать себе временное место в качестве представителя Оркнейских островов. Только этим унижительным способом удалось Доверенному Народу пробраться обратно в палату общин.

Леди Эстер Стэнхоп, племянница Питта, делилась мыслями со своим врачом: «О господи, как несносны бывают люди, воображающие, что лучший способ вступить в беседу — это внезапно обрушить на вас поток глупостей! Приняла ее одного человека, притом весьма здоровомыслящего, и он вошел в комнату со словами: «Леди Эстер, насколько я понимаю, вы знаете толк в ножных протезах — посмотрите-ка на мою деревяшку. Вот, видите, вроде как мышцы.

Говорят, это нога ирландца — носильщика портшеза, но разве у него не подлинно античная форма?» Другой, войдя, обращается ко мне: «Какую ужасную шляпку носит леди такая-то. Я только что видел ее и никак не могу прийти в себя!» Третий, едва завидя меня, восклицает: «Знаете, лорд такой-то в безнадежном состоянии. Он упал со страшной высоты и так страдает!» — «Боже правый, что же с ним случилось?» — «Как, неужели вы не знаете? Так он же свалился со своего высокого поста в правительстве!» И они думают, что это верх остроумия!..

Не успела я войти в комнату, как меня останавливает один довольно известный человек и говорит: «Леди Эстер, позвольте мне заверить вас в моей полнейшей преданности мистеру Питту». С первой фразой он еще справился, а потом пошел мямлить: «Я всегда... Гм... Если вы... Гм... Всячески заверяю вас, леди Эстер, что я питаю самое искреннее уважение... Гм... Черт меня побери, леди Эстер, да нет такого человека, которого бы я... Гм... Я безмерно почитаю его и, тьфу, пропасть... Гм...» И тут бедняга, не умеющий связать двух мыслей, потерянно замолкает, и неизвестно, как вышел бы он из затруднительного положения, если бы к нему на помощь не пришла герцогиня Ратлендская, которая, чтобы выручить его, сказала: «Леди Эстер вполне убеждена в вашей искренней приверженности интересам мистера Питта». В руке у него, доктор, была красивая трость с янтарным набалдашником — трость прислали ему из России, и стоила она добрую сотню гиней!..

Посмотрите на нынешних принцев, а какие мужчины были в этой семье! Спали не больше четырех часов в сутки и всегда имели такой здоровый, цветущий вид. Впрочем, теперешние мужчины вообще уже не те, что в мое время. Я не имею в виду Джека... и ему подобных, красавцев и все такое, но викудышных собеседников. На этих хоть приятно смотреть. Но разве теперь есть такие мужчины, как лорд Риверс, как герцог Дорсетский? Разве найдешь теперь таких рыцарей без страха и упрека, как герцог Ричмондский и лорд Уинчилси? Мужчины нынешнего поколения ничтожны, им недостает характера, силы духа.

А женщины? Покажите-ка мне таких истинно светских женщин, как леди Солсбери, герцогиня Ратлендская, леди Стаффорд! Впрочем, я за всю свою жизнь знавала лишь четырех светских дам, которые умели принять и занять гостей, каждому воздать должное в соответствии с его положением в обществе, войти в гостиную и непринужденно поговорить с каждым из присутствующих, при всех случаях жизни сохраняя достоинство и самообладание. А это искусство приобретается с огромным трудом. Одна из них — это старая герцогиня Ратлендская; три другие — маркиза Стаффордская, леди Ливерпул и вдовствующая графиня Мэнсфилдская; все остальные

дамы из общества были им не чета. Бывало, залюбуешься, глядя, как леди Ливерпул входит в гостиную, полную людей; одному она поклонится, с другим поговорит, а в тот момент, когда, как вам кажется, она неминуемо заденет третьего, она вдруг грациозно, нагоящая юла, повернется и так приветливо произнесет несколько любезных слов, что очарует всякого. Впрочем, леди Ливерпул была из рода Герви, а эти Герви, как я уже говорила вам, порода особая. Что же касается герцогини Девонширской, то это было постоянное «Ах, ах, ах», «Что же мне делать?», «Боже мой, я так боюсь!» и сплошное жеманство, что никак нельзя назвать хорошими манерами. А у некоторых дам были тогда изысканнейшие манеры, такие ровные, уверенные, поистине безупречные. Вообще хорошее воспитание — очаровательная вещь, не правда ли, доктор?»

ГЛАВА 4

КАРЬЕРА ОРАТОРА

1

Политические бури в парламенте крепчали, но теперь они бушевали уже не вокруг американской войны, а вокруг Индии, Ирландии, впоследствии Франции. Летом 1784 года в центре обсуждения вновь оказался индийский вопрос: рассматривался Индийский билль Питта, поначалу отклоненный, но в конце концов принятый значительным большинством. Торговая монополия и коммерческие функции компании были оставлены в неприкосновенности, но осуществлявшаяся ею политическая власть была передана контрольному совету, назначаемому короной. Фокс обрушивал на этот билль громы и молнии. Берк утверждал, что билль «вызовет отвращение Европы и Азии». Шеридан метал свои сатирические стрелы в Питта и восточных магнатов.

К этому времени Шеридан уже покорила свою аудиторию. Он стал выдающимся оратором, искусно владевшим оружием остроумия, насмешки и эпиграммы, наделенным яркой фантазией и трезвым взглядом на вещи. При этом у него была поистине женская интуиция. Он не столько анализировал предмет, сколько проникал в самую его суть. Он умел легко и вместе с тем с полной серьезностью охарактеризовать существо положения: «Пусть англичане и не проливали свою кровь, но национальная честь Англии истекала кровью». Многие его высказывания стали ходячими фразами. Был у него и еще один дар, благодаря которому слушатели внимали ему как зачарованные. Он обладал редкостным по мелодичности голосом, выражавшим все оттенки чувства (правда, иногда этот голос звучал с хри-

потцой). Фокс, выступая, лаял; Берк пронзительно выкрикивал; Питт, всегда величественный и импозантный, говорил порой так, словно рот у него набит ватой. У Шеридана подобных недостатков не было; его звучный, певучий голос приковывал внимание слушателей, пленял и очаровывал их. Байрон всего лишь раз слышал Шеридана (много лет спустя), тем не менее на него произвели большое впечатление его голос, его манера говорить и его остроумие; Шеридан был единственным членом парламента, которого он готов был бы слушать еще и еще.

Свои речи Шеридан создавал точно так же, как диалог своих пьес. Разработав сюжет и характеры, он мог сочинять диалог в дороге, в гостях, на прогулке — в общем, где угодно и когда угодно. Премьер-министр, высмеивая красноречие Шеридана, уподобил его «взрыву пены и воздуха»¹, а карикатурист Гилрей популяризировал это высказывание в своей известной карикатуре «Откупоривая старый херес»².

Многие коллеги Шеридана в парламенте превосходили его по объему своих познаний в разных областях. Математическая задача, которую Уиндхем считал приятным развлечением для ума, являлась для Шеридана такой же книгой за семью печатями, как изречение на санскрите; Питт гораздо лучше его знал классическую литературу; Фокс владел древнегреческим так, как Шеридану и не снилось, а Берк вообще обладал энциклопедическими познаниями. Зато ни Питт, ни Уиндхем, ни Фокс, ни Берк не могли тягаться с Шериданом по части умения представить в драматической форме любой обсуждаемый предмет.

Поначалу Питт решил было, что с Шериданом легко будет расправиться. И вот он обрушился на досаждавшего ему противника: «Я больше, чем кто-либо другой, восхищаюсь способностями этого почтенного джентльмена, вспышками его изысканного остроумия, порывами его пылкой фантазии, его драматическими эффектами, его тонкими эпиграммами. И если бы он приберег все это для сцены как таковой, он, несомненно, снискал бы то, чего неизменно добивался благодаря своим замечательным талантам, — рукоплесканий публики, и это послужило бы ему вознаграждением *sui plausu gaudere theatri*. Однако эта палата — неподходящая сцена для подобных изысканных постановок».

Шеридан не замедлил с ответом: «Что касается только что сделанных здесь личных выпадов, то они не нуждаются в комментариях. Палата, конечно, по достоинству оценила их вкус, их смысл,

¹ Непереводимая игра слов: другое значение слова «froth» (пена) — пустословие, болтовня, а слово «air» (воздух) имеет также значение «манерность» (airs).

² Эти слова, которые могут быть также переведены как «Откупоривая старину Шерри» («Uncorking Old Sherry»), автор избрал в качестве заголовка для настоящей книги.

их уместность. Тем не менее позвольте мне заверить человека, приближенного к ним, что, когда бы он ни счел возможным повторить подобное намеки, я встречу их с полнейшим добродушием. Более того, ободренный панегириками моим талантам, я постараюсь, если когда-нибудь вернусь к занятиям, на которые он намекает, усовершенствовать — пусть это звучит самонадеянно — один из лучших характеров в драматургии Бена Джонсона, а именно — Сердитого мальчика [то есть хлыща и хвастуна] из «Алхимика».

2

Что бы там ни говорилось, но одному делу, защите Ирландии, Шеридан был предан всей душой. Он поставил на службу интересам этой несчастной страны все свое красноречие. Ирландия имела свой независимый парламент, но английские тарифы по-прежнему связывали по рукам и ногам ее торговлю. Бедственное положение страны порождало беспорядки, бунты. Тогда Питт взял на себя задачу обеспечения для Ирландии взаимовыгодной торговли. На этот шаг он пошел не по принципиальным соображениям, а по причине назревшей необходимости принимать срочные меры. Руководствовался он при этом, несомненно, добрыми намерениями, но практический способ претворения их в жизнь широко открывал дверь для злоупотреблений. К одиннадцати его первоначальным предложениям было присовокуплено в ходе обсуждения в палате общин целых шестнадцать новых (после чего палата отложила их рассмотрение). Четвертое предложение серьезно ограничивало ирландскую независимость; ряд других был продиктован стремлением выторговать у Ирландии за те блага, которые она должна была получить в соответствии с предложениями Питта, обязательство оказывать Англии военную и военно-морскую поддержку в мирное время. Ирландии, пылко говорил Шеридан, предлагают «безумную вещь — бороться за укрепление своих собственных оков. Ее, только что избавившуюся от пут и кнута, обхаживают теперь, как горячую, норовистую лошадь, которую трудно поймать; вот почему министру по делам Ирландии поручено вернуться в поле, успокоить и уговорить ее, держа в одной руке торбу, а в другой узду, дабы накинуть ее на голову лошади, как только она потянется к овсу».

Щедрость Питта по отношению к Ирландии не являлась бескорыстным благодеянием. Его подвела политическая неопытность: стараясь угодить обеим сторонам, он в конце концов навлек на себя неудовольствие и Ирландии, протестовавшей против ограничения ее торговли, и Англии, считавшей монополию торговли своим священным правом. Это дало лорду Мэнсфилду повод пошутить: «Нет, Питт все-таки не великий министр; впрочем, он великий юный министр».

12 мая 1785 года Питт открыл прения по Ирландскому биллю; памятная дискуссия, происходившая при переполненной палате, затянулась до восьми часов утра. Фокс обвинил Дженкинсона, наперсника короля, в том, что он взял на себя роль суффлера, подкалывающего ораторам из-за кулис; Дженкинсон не ответил на это обвинение. 19 мая обсуждение возобновилось, и страсти накалились еще сильнее. Берк рвал и метал, дав волю своему гневу. «Не позавидуешь статуе, у которой такой пьедестал, но не позавидуешь и пьедесталу, на котором стоит такая статуя», — заявлял он. «Мой единственный пьедестал — это британская конституция!» — восклицал Фокс, и так далее и тому подобное, сплошные личные выпады и взаимные обвинения. 30 мая Шеридан призвал палату вернуться к рассмотрению существа дела. Он подверг сокрушительной критике то положение билля, которые фактически обязывали Ирландию предоставлять Англии военную поддержку на море и на суше. Щедрости, великодушия тут нет и в помине, утверждал он; налицо низкая сделка. Все оказалось обманом, ложью, надувательством. «Новый план урегулирования торговли преподносят ирландцам как великое благодеяние, а к этому плану присоединяют, под видом коммерческого правила, требование, чтобы они отказались от своей конституции. Налицо ни больше ни меньше как прямое мошенничество, обман и грабеж: у Ирландии отнимают все полученные ею торговые преимущества, а заодно и конституцию, которая гарантирует ей эти преимущества, а взамен не дают ничего, кроме права вызвать ненависть нашей страны, попытавшись конкурировать с ней, что не принесло Ирландии никакой выгоды, но могло бы повредить интересам Великобритании».

Речь Шеридана произвела большое впечатление и получила широкую известность. В Дублине ее напечатали в форме памфлета. Миссис Шеридан, находившаяся в тот момент в Кру-хилле, писала: «Мне рассказывали, что Шеридан произнес лучшую речь по ирландскому вопросу и что это было нечто неслыханное. Я же здесь ничего не слышу, кроме похвал, которые он расточает мне и которые (между нами говоря) доставляют мне большое удовольствие, хотя и исходят от собственного мужа». Когда же в августе все предложения Питта были неожиданно отвергнуты в ирландском парламенте, свидетель этого краха в ликующих выражениях писал Шеридану: «Тысяча поздравлений! Мы пожинаем плоды полной победы». За Шериданом укрепилась репутация человека, провалившего Ирландский билль в палате общин.

Питт, по замечанию одного его современника, отличался исключительной осмотрительностью, и в девяти случаях из десяти бывал прав он, а не Фокс. Но тот единственный раз, когда прав был Фокс, стоил всех остальных, вместе взятых. Именно так обстояло дело в

случае с Ирландским биллем. В течение всех прений по нему Питт говорил нерешительно, запинаясь, дрожащим голосом. Неуверенность, разброд царили и в его мыслях, потому что у Питта слово обычно стимулировало мысль. Шеридан как-то раз сказал о нем: «Такой уж у него мозг: действует только тогда, когда работает его язык, — точь-в-точь как у машин, приводимых в движение маятником».

Шеридан часто выступал на протяжении всего 1785 года. Так, он высказался о налоге на слуганок («это предложение явно не ирландского происхождения»), несколько раз выступал по вопросам общего налогообложения, произнес речь по поводу предложения Питта о проверке счетов некоторых общественных учреждений. Фокс громогласно протестовал против такого расследования, называя его антиконституционным; Берк клеймил его как «прямое нарушение Великой хартии вольностей». Шеридан, не впадая в крайности, довольствовался тем, что назвал эту меру ненужной. В ходе прений по вопросу о частичной отмене акцизных сборов с хлопчатобумажных тканей он удачно сослался на «Роллиаду» — политическую сатиру, опубликованную оппозицией.

«Роллиада» впервые увидела свет в начале 1785 года и выдержала двадцать два издания. Она представляла собой пеструю смесь пасквилей в прозе и стихах, острых, забавных, изысканных, в которых высмеивались все меры, вызывавшие негодование сторонников Фокса, все слабости и промахи сторонников Питта. Эти сатиры сочинялись приверженцами Фокса, собравшимися за кубком вина в скромной гостиной книгопродавца Беккета; постоянной мишенью для их сатирических стрел служила «партия курильщиков и плевалщиков», созданная в палате общин Роллом специально для того, чтобы кашлем, отхаркиванием и прочими неподобающими звуками заглушать и прерывать выступления Берка. Круг авторов «Роллиады» был многообразен. В него входили Ричард Фицпатрик и Джордж Эллис; доктор Лоуренс, с виду тучный, грузный и неуклюжий («он заполняет собой всю комнату»), но в действительности человек блестящего ума и неукротимой энергии, полиглот, писавший по-латыни, по-гречески, по-французски и по-итальянски; художавый Исаак Рейд с его гнусавым выговором и актерскими замашками; священник Бейт-Дадли — писака и воитель; Тикелл, стремившийся блистать; Джон Тауншенд, повторявший свою последнюю остроту; наконец, Джозеф Ричардсон, повсюду следовавший за Шериданом и вечно попадавший по своей неловкости во всякие истории.

Ричардсон стал незаменимым человеком для Шеридана, с которым он даже имел некоторое внешнее сходство: он улаживал его ссоры с женой, помогал ему во всех делах и чуть ли не каждый день обедал у Шериданов на Брутон-стрит. Больше всего на свете Ричардсон

любил споры. «Стоит сказать Ричардсону, что вчера вы обедали там-то, как он тут же спросит: «Хорошо провели время? Споры были жаркие?»»

Наезжая в свой загородный домик в Богноре, Шеридан часто брал с собой Ричардсона. Как-то раз Ричардсон решил поехать с Шериданом в Богнор, узнав, что там будет лорд Тэрлоу, его близкий друг. «Ну, отведу я там душу! — предвкушал Ричардсон. — Я так люблю ходить под парусом, бродить по песку, спорить с лордом Тэрлоу и понюхивать табачок, глядя на море, что восхитительнее этой поездки ничего не могу представить себе».

«Итак, — рассказывал Шеридан Майклу Келли, — в путь он отправился полный радостных предвкушений. В первый же день, прыгая в лодку, чтобы пуститься в плавание под парусом, он упал и растянул связки ноги, после чего был доставлен к себе в комнату, не имевшую, кстати, вида на море. Наутро он послал за цирюльником, чтобы тот побрил его, но, поскольку ближе, чем в Чичестере, не нашлось ни одного профессионального брадобрея, ему пришлось удовольствоваться услугами местного рыбака, который вызвался заменить цирюльника и сильно порезал его как раз под носом, что полностью лишило его возможности нюхать табак; в тот же день за завтраком он, жадно набросившись на креветок, проглотил одну вместе с головой, усам и прочим; застряв у него в горле, она причинила ему такую боль и вызвала такое воспаление, что врачи запретили ему разговаривать в течение трех дней. Вот так в двадцать четыре часа, — закончил свой рассказ Шеридан, — рухнули все его надежды побродить вдоль берега, походить под парусом, понюхать табачок в свое удовольствие и вдосталь наспориться».

ГЛАВА 5

ГОСТЕПРИИМНЫЕ ПРИСТАНИЩА

1

Лидеры виггов, находившиеся в оппозиции к Питту, безусловно были баловнями больших домов. Три дворца гостеприимно распахивали перед ними свои двери: Девоншир-хаус, собиравший в своих стенах цвет красоты и остроумия; Бэрлингтон-хаус, славившийся своими итальянскими галереями, и Карлтон-хаус, игрушка принца. В Карлтон-хаусе некогда жил дед принца Фридрих. Когда этот дворец предоставили принцу в качестве резиденции, он обнаружил, что здание находится в полуразрушенном состоянии. Принц призвал архитектора Холланда и поручил ему перестроить дворец. Холланд

добавил ионические перегородки, коринфские портики и колоннаду непонятного назначения:

«Зачем вас, колонны, поставили в ряд?»

«Мы сами не знаем», — они говорят».

Украшением дворца были превосходный вестибюль и великолепная лестница с позолоченными перилами, ведущая в залитые светом парадные апартаменты. Но снаружи здание выглядело воплощением безвкусицы. Оно являлось одним из бездарнейших сооружений, портивших облик Лондона. Канова назвал его уродливым сараем. 10 марта 1784 года принц задал в Карлтон-хаусе, заново отделанном и обставленном, пышный бал в ознаменование его открытия, а месяц спустя устроил завтрак на шестьсот персон. Дворец принца стал неофициальной штаб-квартирой вигской партии.

Другой дворец, Девоншир-хаус, также служил пристанищем для вигов, но поклонники его очаровательной хозяйки представляли собой причудливую смесь темпераментов, политических взглядов и характеров. Некоторые из них, несмотря на всю свою гениальность, в обществе были скучны. Берк, как знаменитость, был почетным гостем, но наводил на собравшихся тоску. Доктор Джонсон, бывая в салонах Пиккадилли, тоже не умел показать себя с лучшей стороны. Но он прекрасно понимал, какие преимущества дает принадлежность к столь избранному кружку. Когда миссис Трейл похвалила в его присутствии песню Гаррика из «Флоризеля и Утраты»¹, с особенным восхищением отозвавшись о строке «Буду с бедняками есть и смеяться с простаками», доктор Джонсон возразил ей: «Ну нет, сударыня, это никуда не годится. Бедный Дэвид! Смеяться с простаками — вот странная фантазия! И кто же это станет по своей воле есть с бедняками? Нет, нет, позвольте мне смеяться с мудрецами и есть за одним столом с богачами!»

Завсегдатаями Девоншир-хауса были и члены избранного кружка остроловов из Стробрерри-хилла², состоявшего из мужчин не первой молодости. Большинство из них из кожи лезло вон, стараясь подтереть свою репутацию остроумцев. Ведь получить репутацию остроумного человека почти так же легко, как репутацию человека безнравственного, но первую куда труднее сохранить. Главой этого узкого кружка был Хорас Уолпол, всегда готовый пожертвовать дружбой ради меткой эпиграммы. Его преданность герцогине носила не вполне искренний характер, и «императрица моды» в любой момент могла стать жертвой его язвительной критики. Вхож в эту компанию был и Джордж Селвин, хотя так и осталось невыяснен-

¹ «Флоризель и Утрата» — пасторальная драма Д. Гаррика по мотивам «Зимней сказки» У. Шекспира.

² Стробрерри-хилл — загородный дом Хораса Уолпола.

ным, кем он являлся — остроумцем или шутником. Он тоже славился своим ядовитым языком.

Само собой разумеется, своими людьми у герцогини были Чарльз Фокс и окружавшие его денди: полковник Фицпатрик, воин, политик и поэт; Джеймс Хейр («имеющий многих друзей»), удостоиться поклона которого в опере было для светского человека более лестно, чем получить приглашение от принца Уэльского; граф Карлейль, самый эlegantный щеголь своего времени, и Чарльз Грей, красавец, незаурядный человек, подающий надежды государственный деятель и любимец герцогини. (Ее любовь не осталась безответной. Он был отцом ее дочери.) Ну и конечно, желанным гостем у герцогини был Шеридан. Здесь, в Девоншир-хаусе, он познакомился с принцем. Между ними завязалась дружба, ставшая для Шеридана роковой. У многогрешного Георга не было сердца — воображение Шеридана заполнило эту пустоту.

Имелось у вигов и еще одно излюбленное место встреч — клуб Брукса. Обед подавали там в половине пятого, а счет приносили в семь. Ужин начинался в одиннадцать и кончался в половине первого. В обеденном зале азартные игры не допускались; правда, разрешалось подбросить монету, чтобы установить, кому платить по счету. Хозяин, Брукс, являл собой воплощенную любезность. Вот как описал его Тикелл:

«Наш щедрый Брукс, что голубь беспорочный,
Спешит для всех открыть кредит бессрочный.
Презрев коммерцию, быть скрягой не умеет,
С восторгом в долг дает, при платеже краснеет».

В силу вышеупомянутой застенчивости Брукс кончил свои дни в нищете.

Партийные страсти вигов разгорались в клубе Брукса с такой силой, что, например, когда Георг III лишился рассудка, у картежников вошло в привычку объявлять «хожу с дурачка» вместо «хожу с короля». Впоследствии клуб приобрел репутацию уныло-респектабельного заведения, о котором говорили: «Обедать у Брукса — это все равно что обедать в доме покойника герцога, который лежит в гробу в комнате над столовой».

Все в том же клубе Брукса принц однажды принялся отстаивать экстравагантную теорию доктора Дарвина, согласно которой источником острого наслаждения, которое испытывает мужчина, созерцая грудь красивой женщины, являются первые приятные ощущения теплоты, утоления голода и покоя, получаемые им от женской груди в младенчестве. Шеридан тотчас же возразил ему: «Правду говорят,

что от великого до смешного один шаг. А как же нам быть с детьми, вскормленными на коровьем молоке? Что-то не слышно, чтобы, возмужав, они трепетали от восторга и любви при виде деревянной доски!»

2

В 1784 году принц арендовал Брайтонский павильон, главное здание приморского курорта. Это неприязнительное, милое сооружение было превращено в дворец в диковинном, псевдовосточном вкусе. Местами архитектура была выдержана в античном стиле, местами — в готическом, а центральный купол напоминал турецкую мечеть: повсюду возвышались остроконечные башенки в мавританском духе; одна часть здания смахивала на египетский храм, другая — на китайскую пагоду, третья — на что-то индийское. Безобразие этого архитектурного монстра не поддавалось никакому описанию. Это был настоящий сумасшедший дом или, если хотите, дом, сошедший с ума. Невозможно было разобрать, где здесь начало, где середина, где конец. Перестройки Павильона никогда не прекращались. Внутри были оборудованы китайская галерея, концертный зал с яркими фресками и зелено-золотыми драконами, желтая гостиная с восточной колоннадой, круглая зала, или ротонда, и, самое главное, банкетный зал с куполообразным потолком, изображающим звездное небо.

Впрочем, Павильон имел и кое-какие достоинства: многочисленные балконы и веранды давали доступ свежему воздуху и морской прохладе, почти из каждого окна открывался вид на море. (Но и эти достоинства во многом были сведены на нет. Принц распорядился поставить в зале печь собственного изобретения, призванную равномерно обогревать все здание. Увы, тогда как в комнатах наверху поддерживалась приятно теплая температура, в помещениях нижнего этажа было жарко, как в пекле, так что Шеридан и другие гости сидели за обеденным столом, изнывая от духоты и обливаясь потом.)

Неподалеку от Павильона, на центральной эспланаде, принц построил дом для своей любовницы, и его часто видели у нее на балконе, особенно рано утром. (Для многих оставалось загадкой, как это он туда попадал.) Принц имел обыкновение часами сидеть на этом балконе, беседуя со своей возлюбленной и время от времени удостоивая поклоном либо улыбкой кого-нибудь из знакомых, прогуливающих вниз по эспланаде.

Его собственные покои помещались на первом этаже. Вокруг своей кровати принц приказал установить раздвижные ширмы из эбланнами в них особым способом зеркалами, в которых отражалась эспланада. Нежась в постели, он мог теперь непринужденно созерцать фигурки гуляющих, которые шли, шли и шли к нему, но так никогда

и не приближались вплотную, а уходили в никуда, не подозревая, что возлежащий на подушках Гулливер рассматривает их, словно каких-нибудь букашек.

Принц выезжал на верховые прогулки по склонам холмов, брал на скачках, прогуливался без провожатых по эспланаде, пил в обществе друзей и знакомых чай в ресторации при курзале. Время от времени в курзале можно было посмотреть выступление клоуна Гримальди или какую-нибудь новую пьесу. Погожими летними днями из Павильона часто доносился характерный деревянный звук ударов биты о шар: принц увлекался в Брайтоне игрой в крикет. Игрок он был не ахти какой, но играть любил страстно. Тем более что в белой касторовой шляпе, фланелевом камзоле, отороченном синей лентой, белых коротких штанах и до блеска начищенных туфлях он, по общему мнению, выглядел особенно авантажно. Наигравшись, принц и его партнеры, такие же неумелые игроки, завершали приятно проведенный день обедом, который подавали в шатре на лужайке.

Иногда принц нанимал «купальную машину» — кабину для раздевания на колесах — и плавал в море. Приставленный к нему персональный спасатель по прозвищу Курильщик бдительно следил за ним. Как-то раз, когда принц заплыл, по мнению Курильщика, слишком далеко, тот стал кричать: «Эй, господин принц, господин принц, плывите обратно!» Видя, что принц не слушается, он бросился в воду, настиг ослушника и за ухо выволок его на берег. «Ну, нет, — ворчал он при этом, — я не хочу, чтобы король повесил меня из-за утопшего по моему недосмотру принца Уэльского. Дудки, не доставлю я ему такого удовольствия!»

Однажды две приехавшие из Лондона щеголихи спросили у Курильщика, где бы они могли достать молока ослиц для поправки своего здоровья. Старый грубиян посоветовал им сосать друг друга.

Помимо Берка, Фокса и Шеридана в Павильоне часто гостили такие весельчаки и выживохи, как Джордж Хэнгер, герцог Норфолкский, капитан Моррис и братья Барримор.

Герцог Норфолкский, прозванный Бродягой, пил как бочка и ел за четверых; это был такой грязнуля и неряха, что слуги пользовались случаем, когда он мертвецки напивался, чтобы вымыть его. Его неряхливость стала притчей во языцех, и, когда герцог однажды спросил у приятеля, не знает ли он какого-нибудь средства от ревматизма, тот, не задумываясь, ответил: «Послушайте, милорд, а вы никогда не пробовали чистую рубашку?»

Герцог предпочитал обедать в дешевых тавернах и поглощать свою отбивную и портер в компании престолюдинов-ремеслен-

ников, которые относились к нему с покровительственной фамильярностью, не подозревая, что этот заплывший жиром неопрятный старик в потертой одежде — первый пэр королевства. «Вид у меня совсем не щегольской, — признавался он другу, — наверно, я слишком мало внимания обращаю на мой костюм». По этой причине ему приходилось подчас терпеть маленькие неудобства. Заглянув в заведение, где устраивались петушинные бои, он по примеру других зрителей решил сделать ставку на одного из петухов, дравшихся в тот момент на арене. Но никто из присутствующих не пожелал иметь дело со столь плохо одетым господином. Впрочем, некоторое время спустя один щеголеватый молодой человек (несомненно, джентльмен), проявив великодушие, которым герцог не мог не восхититься, подождал его: «Подойди-ка сюда, любезнейший мясник, я принимаю твое пари».

Любимыми блюдами герцога были отварная рыба и жареное мясо, любимым напитком — вино, потоки, каскады вина. Герцог выпивал чудовищные количества спиртного, не пьянея. После того как его собутыльники, пившие с ним наравне, валились под стол, он отправлялся пьянствовать куда-нибудь еще. При этом он не обнаруживал ни малейшего признака опьянения вплоть до того момента, когда, сидя за столом, внезапно терял дар речи. На зов немедленно являлись четверо ливрейных лакеев с неким подобием носилок. В полном молчании и с проворством, выработанным долгой практикой, они взгромождали герцога на носилки и, плавно ступая, выносили его огромную колышущуюся тушу из комнаты.

По количеству своих незаконнорожденных детей герцог мог бы поспорить с самим Карлом II, а по их национальному разнообразию далеко превзошел его. К старости он содержал уже целую армию женщин. Содержание выдавалось в форме чеков, подлежащих оплате в один и тот же день и час в одном и том же банке. Когда матери с прижитыми от герцога детьми всех возрастов являлись в банк за деньгами, карие глаза и еврейские носы причудливо чередовались с голубыми глазами, смуглой цыганской кожей и черными кудряшками волос. А герцог в это время сидел с кем-нибудь из друзей в задней комнате банка, откуда он мог, оставаясь незамеченным, рассматривать каждую из получательниц через застекленное отверстие в стене. «Боже, вырядилась как попугай!» — «Ну, сущая старая ведьма!» — «Клянусь честью, она выглядит так же молодо, как двадцать лет назад!» — непрерывно комментировал он.

Приезд герцога Норфолкского в Брайтон неизменно служил сигналом к устройству оргий. Во время одной из таких оргий герцог повздорил (напившись, он вечно искал ссоры) с принцем Уэльским и его братом, придравшись к какой-то вымышленной обиде, и потребовал карету, чтобы возвратиться к себе в Эрандел. Принц не

хотел его отпускать, но знал, что спорить с подвыпившим герцогом бесполезно. Когда подали карету, принц проводил герцога до двери и потихоньку приказал кучеру поехать с полчаса в окрестностях Павильона. Герцог был так пьян, что не замечал, где он едет; потом он заснул, а когда карета остановилась, решил, что приехал домой. Его отнесли обратно в Павильон и уложили в постель.

Чарлз Моррис, бард этой теплой компании, развлекал ее песнями собственного сочинения, иногда чувствительными, иногда веселыми, но всегда умными. Он происходил из хорошей семьи, вращался в высшем обществе и был своим человеком в Карлтон-хаусе. Он легко и весело шагал по жизненному пути, не зная ни усталости, ни подагры, ни других страданий, которыми люди расплачиваются за старости за печальную привилегию жить на свете. Лицо его неизменно сияло бодростью и весельем. «Сколько бы ты ни прожил, Чарлз, — говорили ему друзья, — ты все равно умрешь молодым».

Третьим членом этой компании был Джордж Хэнгер, славный ирландский джентльмен не первой молодости. О его бурной юности рассказывали множество занятных историй. Он жил в цыганском таборе, влюбился в юную цыганку и обвенчался с ней по обряду ее племени. Гордый своей победой, он представил свою молодую жену братьям-офицерам. Каково же было его возмущение, когда черноокая красавица жена сбежала от него с каким-то лудильщиком! После смерти старшего брата он стал четвертым лордом Колрейном, но не пожелал носить этот титул. Когда один знакомый обратился к нему со словами: «Дорогой лорд Колрейн, надеюсь, я имею честь видеть вашу светлость в добром здравии», — его светлость не на шутку рассердился: «Да как вы смеете, негодяй вы этакий, называть человека именем, которого он стыдится?! Не знаю да и знать не хочу, где находится лорд Колрейн, там (показывая на небо) или там (указывая в противоположном направлении), но я как был, так и остался просто Джорджем Хэнгером».

Впервые Хэнгер появился при дворе, будучи приглашен на бал по случаю дня рождения королевы. Поскольку в Америке он воевал в составе егерского корпуса ландграфа Гессен-Кассельского, на бал он явился в мундире майора гессенской армии: короткий синий китель с золотыми аксельбантами, широченный пояс и шпага. Этот кургузый мундир составлял такой разительный контраст с расшитыми бархатными и шелковыми костюмами других, что обращал на себя всеобщее внимание. В зале шушукались: кто этот чудак в нелепом одеянии? Когда же он пригласил красавицу мисс Ганнинг на менюэт и после первой фигуры, разойдясь в танце со своей прелестной дамой, нахлобучил себе на лоб широченную шляпу, украшенную двумя громадными черно-белыми перьями, он стал так уморительно смешон, что даже его величество не смог удержать улыбки.

Зулыбались надменные министры, а принц Уэльский просто покачивался со смеху. Даже очаровательная партнерша Хэнгера едва сумела закончить — из-за душившего ее смеха — менуэт. Впрочем, Хэнгер сам расхохотался и тем самым вывел мисс Ганнинг из затруднительного положения.

Нелепый вид и шутовские манеры Хэнгера во время менуэта и последовавшего за ним контрданса так развеселили двор, что было решено сыграть с ним шутку. С этой целью принц сочиняет насмешливое письмо, а Шеридан, с чьим почерком майор не был знаком, переписывает письмо набело.

На следующий день Хэнгер получает приглашение отобедать у принца; Шеридана же умышленно на эту трапезу не приглашают. Принц с самым серьезным видом поздравляет Хэнгера с удачным дебютом на балу, и Хэнгер, приняв его комплименты за чистую монету, показывает ему только что полученное анонимное письмо. Хозяин соглашается с ним, что письмо носит заведомо оскорбительный характер. «Гром и молния! — воскликнул майор. — Мне бы только узнать, кто автор этого послания, — я немедленно потребую от него сатисфакции».

«Восхищен вашим мужеством, — подзадоривает его принц. — Какая дерзость утверждать, что у вас был нелепый вид!»

«И к тому же уменьшать вашу величественную, прямую и перпендикулярную фигуру!» — вставляет Фокс.

«И осуждать вашу жестикуляцию!» — вставляет капитан Моррис.

В конце концов майору сообщают, что письмо написано рукой Шеридана, и он вызывает Шеридана на дуэль. После третьего выстрела Хэнгера Шеридан падает. «Клянусь богом, убит наповал, — констатирует капитан Моррис. — Бежим!»

Вечером того же дня Шеридан, к большому облегчению Хэнгера, появляется за обеденным столом у принца. «Как же?.. Как это?.. Вы живы? — запинаясь, произносит он. — А я думал, что убил вас».

«Не совсем, мой дорогой, — успокаивает его Шеридан. — Я еще недостаточно хорош для того, чтобы меня взяли на небо, и не вполне созрел для преисподней. Посему я решил пока задержаться на этом свете. Но умираю я натурально, не правда ли, Хэнгер?» Оказывается, пистолеты дуэлянтов не были заряжены пулями.

Когда Хэнгер бывал в ударе, они с принцем бегали взапуски с деревенскими барышнями по эспланаде на приз — новую женскую рубашку или же открывали пальбу по колпакам дымовых труб на соседних домах.

Но жизнь в Брайтоне становилась тусклой и скучной без милых повес братьев Барримор. Старший брат, лорд Барримор, носил прозвище Хелгейт; средний, хромой от рождения, — Криплгейт, младший — Ньюгейт, по названию единственной тюрьмы, в которой

он ни разу не бывал. Имелась у них еще и сестра по прозвищу Биллингсгейт¹. В детстве Барриморы слыли отчаянными головорезами, совершенно безответственными и дьявольски умными. Рано лишившись родителей, братья и взрослыми оставались все теми же проказниками мальчишками, которые однажды ночью, вооружившись молотками, топорами и лестницами, поменяли вывески на всех гостиницах и постоялых дворах в округе. Так, любимым развлечением лорда Барримора, великовозрастного озорника, было ездить глухой ночью на козлах очень высокого фэзтона по самым узким улочкам и, размахивая кнутом налево и направо, бить стекла в окнах. Он называл это «впускать рассвет».

На лорда Барримора свалилось огромное состояние, позволявшее ему сколько угодно сорить деньгами. Все его прихоти исполнялись, чего бы это ни стоило. «На расходы наплевать» — было излюбленным его выражением до конца жизни. Больше всего на свете он любил порабатать кулаками. Один из лучших боксеров того времени Том Хупер состоял у него на службе в качестве лакея и партнера для тренировок. По вечерам оба они, переодевшись, выходили на улицу и задирали прохожих, чтобы учинить хорошую драку. Однажды лорд Барримор превратил в ринг брайтонскую эспланаду. Он затеял ссору с сыном Фокса, директора Брайтонского театра, и вступил с ним в кулачный бой, в котором ему пришлось туго. Тогда принц, судивший этот поединок в присутствии толпы зевак, воскликнул: «Черт возьми, Барримор, веди себя как мужчина!»

Средний брат, Генри, и некий мистер Хоурт, член парламента, повздорили за игрой в вист в таверне «Замок» и условились встретиться наутро, в 5 часов, на эспланаде, чтобы разрешить свой спор с помощью пистолетов. Явившись на место дуэли, Хоурт, человек тучный и пожилой, принялся с самой серьезной миной раздеваться и предстал перед своим противником в одних подштаниках. Дело в том, пояснил Хоурт, что он служил хирургом в Ост-Индской компании и по собственному опыту знает, как важно предохранить раны от загрязнения. К счастью, поединок окончился дружным смехом и выстрелами в воздух.

Братья Барримор не оставили в покое даже любовницу принца. Они подбили Генри въехать на коне в ее жилище и верхом подняться по лестнице на второй этаж. Подняться-то он поднялся, а вот заставить лошадь спуститься вниз ему не удалось. В конце концов пришлось послать за кузнецами.

У любовницы Георга часто гостила ее сестра, леди Хаггерстон. Это была хорошенькая женщина, но немного глуповатая. Вот,

¹ Хелгейт — буквально «врата ада», Криплгейт — буквально «хромые ворота», Биллингсгейт — название рыбного рынка в Лондоне, в переносном смысле — «сквернословка».

например, леди Хаггерстон приглашает принца на сельский праздник, который она устраивает у себя в саду. Для полноты картины она одалживает в деревне трех крутобоких рогатых животных. По прибытии принца с друзьями ее милость выпархивает из калитки в одежде молочницы с очаровательным намерением приготовить дорогому гостю его любимое блюдо — сбитые сливки с вином и сахаром. В одной руке у нее серебряный подойник, а в другой — декоративная скамеечка. В крохотном фартучке, подвязанном под корсажем, и в изящном чепчике молочницы с развевающимися лентами леди Хаггерстон резво подбегает к его высочеству и приседает перед ним в грациозном сельском реверансе. Затем, легко переступив через пук плетеной соломки и подобрав платье (чтобы показать свою очаровательную ножку), она пригославляется к дойке: устанавливает поудобнее скамеечку и подойник. Храбро прислонившись к скотине весьма угрюмого вида, она пытается приступить к своим сельским трудам. Увы, выбранное ею животное оказалось не того пола. Обиженный всем этим маскарадом, бык взбрыкивает и пускается паутек, едва не опрокинув скамейку, подойник и саму незадачливую доярку, которая сконфуженно ретируется на свою маленькую молочную ферму и от стыда запирается там.

Принц, который и бровью не повел во время этой немой сцены, громко, так чтобы было слышно, расхваливает опрятный вид фермы, потом смотрит на небо и отмечает, что погода стоит очень хорошая, затем направляется к карете.

Принц и его закадычные друзья любили водить компанию со всяческим сбродом. Старый лорд Тэрлоу весьма недвусмысленно выражал свое мнение по поводу этого паноптикума. Встретивший его в Брайтоне принц спросил, почему тот не заходит к нему в гости. «Я не ходок к вам в гости, — ответил лорд Тэрлоу, — покуда ваше высочество не обзаведется компанией получше». Однажды, когда лорд Тэрлоу был зван в Павильон, туда неожиданно преподжаловал из Лондона сэр Джон Лейд (которого Трейл собирался посватать за Фэнни Бёрни), и принц вынужден был включить его в число гостей. Но ему пришлось отвести лорда Тэрлоу в сторонку и тактично извиниться, сославшись на то, что сэр Джон — его давний друг. «Я не имею ничего против сэра Джона Лейда, когда он на своем месте, — проворчал старый законник, — а его место — на козлах кареты вашего высочества, а не за вашим столом». Однажды жестокая подагра приковала Тэрлоу к постели в его доме на скалах, и принц вызвался навещать его. Но тут-то он и получил самый суровый упрек от лорда-канцлера: «Передайте его высочеству, что его

визит делает мне честь, но только пусть он не берет с собой своих подонков».

Среди этих подонков были такие личности, как, например, леди Лейд, в прошлом любовница «шестнадцатиструнного Джека», чью казнь через повешение она потом наблюдала в Тайберне. От него она переняла такой обширный и изощренный лексикон, что принц, желая охарактеризовать кого-либо как законченного сквернослова, говорил: «Он ругается, как леди Лейд». Принц никогда не испытывал к ней любовного влечения, но восторгался ее искусством наездницы.

Был вхож к принцу и некий Макмагон, незаконнорожденный сын дворецкого и горничной, который позволил своей жене принять ухаживания герцога Кларенса и в результате вышел в люди. Это был низенький человек с красным прыщавым лицом, постоянно носивший одежды желто-синего цвета — цвета приверженцев принца... Вились вокруг принца и другие странные личности — занятые, но с подмоченной репутацией.

Брайтонское общество состояло главным образом из богатых купцов, безденежных искателей приданого, разорившихся распутников, дочек рыбаков да нескольких городских дам из окрестностей Нортон-Фолгейта, толстых и безвкусно одевающихся. Блестящими аристократами Брайтона были офицеры конной гвардии; они образовывали замкнутую касту и держались в стороне от местного общества. У многих из них имелись свои чистокровные лошади, коляски, содержанки. В час дня они выстраивались на плац-параде, выслушивали команду, отдаваемую младшим офицером караула; потом осушали кубки вина, часов в пять обедали, а к восьми отправлялись в театр — *Vive l'Amour et Bacchus*¹.

В двух брайтонских тавернах, «Замке» и «Старом корабле», собирались богатые посетители; еженедельно в каждой из этих рестораций церемониймейстер устраивал ассамблеи, подбирая приглашенных не по критерию нравственности, а по критерию аристократичности. Имелись там и залы для карточной игры. Была в Брайтоне гостиница — большая общая спальня, оборудованная в помещении, первоначально предназначавшемся для турецкой бани; был там театр и некое подобие Воксхолла — так называемая Прогрулочная роца, редко обсаженная по краям неказистыми тополями и украшенная цветниками, беседками, извилистыми аллеями, рвом с водой и деревянной эстрадой для певцов. Морской берег был под стать большинству посещающих его — такая же живая, дерзкая, назойливая и опасная стихия. Купальни (кабины на колесах), даже женские, в отличие от купален в Уэймуте, Маргете и Скарборо, не имели верха. Поэтому на них были постоянно наведены теле-

¹ Да здравствует Амур и Бахус (франц.).

сконы, через которые можно было наблюдать дам, выходящих из моря или плещущихся и барахтающихся в мутной воде у берега подобно стайке обезумевших наяд во фланелевых рубашках. На эспланаде возвышался игорный дом для избранных — Храм фортуны, где отдельные представители благословенной знати имели обыкновение оставлять и свое доброе имя и состояние. Слово *haveo* было паролем для принятия, *debeo*¹ — сигналом к исключению. В Брайтоне можно было снять жилье на любой вкус, начиная от апартаментов у моря за двадцать фунтов в неделю и кончая углом в каком-нибудь хлеву, сдаваемом на ночь за полкроны. Содержатели мебелированных комнат и ночлежных домов стремились лишь к одному — ободрать постояльцев до нитки. Напрокат сдавались кареты и фургоны любого вида, начиная от коляски и кончая жалкой повозкой, на которой вы могли ехать как король, как преступник или как краб, то есть сидя по движению, задом или боком. На эспланаде имелись две библиотеки, предлагавшие читателям широкий выбор пустых романов. Была в Брайтоне и приходская церковь, куда приходило молиться простонародье. Дело в том, что церковь стояла на холме, и люди знатного происхождения находили воскресный визит в храм божий слишком затруднительным. По счастью, приходский пастор, человек славный и услужливый, препоручил своих незнатных прихожан заботам своего помощника-викария, а сам любезно открыл для благородной паствы Королевскую часовню, где за каждое место уплачивалась определенная мзда. Да и как же мог бы он поступить иначе? Ведь, конечно же, благословенное божество с большим вниманием выслушает герцогиню, которая, откинувшись на спинку кресла и закрывшись веером, «отражает» козни дьявола, нежели набожные молитвы грубого плебея, бухнувшегося на колени! В библиотеках лежали раскрытые книги для записи пожертвований, где содержалась просьба к читателям вносить свою скромную лепту на содержание приходского пастора, чей доход составляет менее семисот фунтов стерлингов; кстати сказать, его предшественник, пользовавшийся бенефицием, оставил после смерти 30 тысяч фунтов.

Утренние прогулки верхом, шампанское, легкомысленные развлечения, шум и гам, нелепый ералаш — такова полная картина жизни в Брайтельмстоне².

¹ *Haveo* — иметь; *debeo* — не иметь, быть должником (латин.).

² Брайтельмстон — прежнее название Брайтона.

ДОРОГОСТОЯЩИЙ КАПРИЗ ФЛОРИЗЕЛЯ:
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИЗ РИЧМОНД-ХИЛЛА

Принц воспылал пламенной страстью к красавице миссис Фицгерберт. Когда весной 1784 года она, сняв с себя вдовый траур, приехала в Лондон, чтобы провести здесь сезон, на великосветском небосводе взошла новая яркая звезда: золотоволосая фея, не знающая ни пудры, ни румян, с сияющими глазами и лучезарной улыбкой. У нее был тонкий изящный профиль и точеная фигура, плавные линии которой еще не приобрели излишней округлости. Принц не замедлил плениться красотой миссис Фицгерберт.

Познакомившись с ней, принц больше не теряет ее из виду. Он находит, что она не только красива, но к тому же талантлива и умна, и жадно ищет ее общества. Под любым предлогом старается он встретиться с ней, повсюду сопровождает ее, всегда держится рядом, и его ухаживание становится настолько заметным, что в свете только о нем и говорят.

Она же продолжает смотреть на их веселое и милое подшучивание друг над другом, как на минутную забаву, не больше. Она рассчитывает, что, проявив достаточно здравого смысла, сумеет удержать увлечение принца в рамках приличия. Но принц, когда его обуревают страсти, не желает признавать никаких рамок, никаких приличий. Он жаждет обладать своей возлюбленной на таких условиях, какие мужчина его статуса обычно предлагает даме ее общественного положения. Но миссис Фицгерберт, женщина стойкая и добродетельная, с презрением отвергает бесчестные домогательства первого принца крови. Ошеломленный таким необычным, если не беспрецедентным, сопротивлением и не привыкший ни в чем-либо себе отказывать, ни мириться с тем, чтобы ему в чем-нибудь отказывали, его высочество еще больше воспламеняется, а противодействие и уклончивость его дамы сердца только распалют его. Ей все труднее становится отражать столь пылкий и столь продолжительный приступ. Не на шутку встревоженная, она пытается порвать знакомство с принцем, но от принца не так-то легко отделаться. Чем сильнее она противится ему, тем настойчивее становятся его ухаживания. Что бы она ни делала, это лишь подогревает его пыл.

Все эти проявления бурной страсти не заставляют ее уступить. Неподатливость ее объясняется не упрямством, а тем, что для нее вопрос стоит только так: или замужество, или ничего. Однако трудности, стоящие на пути к законному браку, представляются непреодолимыми. Миссис Фицгерберт — католичка, а согласно закону о престолонаследии наследник, женившийся на папистке, теряет право на корону. Более того, согласно закону о браках членов ко-

ролевской семьи (призванному «поощрять потомков Георга II к прелюбодеяниям и адюльтерам») женитьба принца, не достигшего двадцатипятилетнего возраста, без согласия родителей считается юридически недействительной. Правда, герцог Глостерский женился на женщине, стоявшей много ниже его на социальной лестнице, но там был совсем другой случай. Герцог Глостерский не был наследником престола. Закона о браках членов королевской семьи тогда еще не существовало, а его невеста принадлежала к англиканской церкви.

Поскольку и законный брак и внебрачная связь одинаково исключались, миссис Фицгерберт, трогательно объяснившись с принцем, отказывается видеться с ним и отвечать на его письма. Принц безутешен. Доказывая искренность и силу своей страсти, он катается по полу, бьетя головой о стену, рвет на себе волосы, истерически рыдает и клянется, что покинет Англию, откажется от короны, распродаст свои драгоценности и наберет достаточно денег, чтобы бежать с предметом своей любви в Америку.

До ушей принца доходят слухи, что она уезжает за границу, и он пытается заколоться кинжалом. (Как утверждали злые языки, на самом деле его домашний врач Кит пустил ему кровь, чтобы несколько остудить жар его страсти, а принц размазал кровь по одежде, чтобы выглядеть более интересным в глазах своей возлюбленной.) Но Мария уезжает.

Принц не знает, что делать: он бы бросился за нею следом, но ему неизвестно, где она. Он чуть было не отправляется в Гаагу. Он часами льет слезы. Наконец, полный отчаяния, он решает найти ее. Здесь ему везет больше. Он рассылает во все концы света своих эмиссаров и вскоре узнает, где она скрывается. (Его агенты с таким громким топотом скачут взад-вперед по дорогам Франции, что троих из них арестовывают по подозрению в участии в какой-то политической интриге.) Раз обнаружив ее, он устанавливает тайную слежку за дальнейшими ее передвижениями. Затем он начинает бомбардировать ее письмами. Он заполняет бесконечные страницы своих посланий страстными мольбами, горестными сетованиями, просьбами о помощи, угрозами покончить с собой, если она будет упрямиться, — короче говоря, всем, что может тронуть или взволновать сердце чувствительной женщины. (Одно письмо принца было длиной в тридцать семь страниц.) Куда бы она ни переезжала — из Парижа в Швейцарию или из Швейцарии в Лотарингию, — повсюду за ней следовали посланцы принца и его письма.

Миссис Фицгерберт колеблется, и это решает дело. Она безоговорочно верит всему, что он пишет ей, всем его обещаниям, всем его клятвам. Она больше не сомневается в искренности его любви. Он находит ответ на каждое ее возражение, соглашается на все ее

условия, готов всем рисковать ради нее. И вот, наконец, не в силах больше противиться его мольбам и тронутая его преданностью, она капитулирует и дает обещание вернуться в Англию и стать его женой. И раз уж она сдается на милость победителя, она не станет искать компромиссов. После выполнения одного неперемennого условия, поставленного ее совестью и ее верой, она во всем полагается на честь мужчины, которому она отныне вверяет свою жизнь.

Ею движут бескорыстные побуждения. Возможно, она убедила себя в том, что должна принести себя в жертву ради его счастья. Возможно, она наивно поверила тому, что он не может без нее жить. Быть может, она сочла своим долгом избавить его от дурных советов и сделать его достойным того положения, которое когда-нибудь ему придется занять. Но самым правильным, по-видимому, будет самое простое объяснение. Она уступает, потому что любит его.

Распространяются слухи о предполагаемой жеманности, и Фокс пишет принцу длинное и почтительное письмо, в котором предостерегает его от столь опасного шага. Эта женитьба была бы опасна для принца, опасна для миссис Фицгерберт, опасна для всей страны. (Фокс предпочел бы видеть миссис Фицгерберт в роли любовницы его высочества и с презрением отвергает всякую мысль о том, что она может стать невестой принца. Он вообще циничен в своем отношении к большинству женщин — за исключением своей будущей жены.) Принц отвечает ему запиской в несколько строк: «Не волнуйтесь, мой милый друг. Поверьте мне, скоро весь свет убедится в том, что недавно распушенные злонамеренные слухи не только не имеют, но и никогда не имели под собой никаких оснований». И больше в письме ни полслова об этой истории. Письмо это принц написал 11 декабря 1785 года, а через четыре дня обвенчался.

У миссис Фицгерберт была великолепная кожа. В шестьдесят она была у нее такой же нежной, как у шестилетней. С большой тактичностью скрывала миссис Фицгерберт от посторонних недостатки принца. Она, например, подсказывала ему: «Не пишите, дорогой, этому человеку — он небрежен и потеряет ваше письмо». Или же урезонивала его, когда он начинал говорить глупости: «Вы сегодня пьяны, дружок; прошу вас, попридержите язык».

Во время суда над Уорреном Хейстингсом миссис Фицгерберт, чья женственная красота достигла тогда полного своего расцвета, привлекала к себе больше внимания, чем королева или принцесса. Она была единственной женщиной, к которой Георг питал искреннюю привязанность. Больной, незадолго до смерти, он расспрашивал о ней и умер с ее портретом на шее.

Теперь, когда страсть его удовлетворена, принц снова с головой окунается в водоворот развлечений: приемы, маскарады, боксерские матчи, скачки и дружеские попойки следуют друг за другом бесконечной чередой. Он безоглядно тратит огромные суммы на переделку и украшение Карлтон-хауса. Он тратит 30 тысяч фунтов стерлингов на содержание собственной конюшни. К концу года долги принца составляют целых 160 тысяч фунтов. Он просит помощи у короля и поговаривает о том, что готов ради сокращения расходов жить инкогнито на Европейском континенте. Король отказывает ему в помощи и не отпускает его путешествовать. С каждым месяцем принц запутывается все больше. Он едва не соглашается принять пенсию от беспутного герцога Орлеанского на унижительных условиях, но Шеридан отговаривает его от этого шага. Тогда принц обращается к кабинету министров с просьбой провести через парламент постановление об ассигновании ему 250 тысяч фунтов стерлингов, рассчитывает большинство слуг, запирает часть помещений Карлтон-хауса, распродает с аукциона лошадей и экипажи. Он живет в чужих, одолженных ему домах, ездит в одолженных каретах, транжирит одолженные гинеи. В конце концов он отдает себя на милость палаты общин, и вот 20 апреля 1787 года мистер олдермен Ньюнхем официально уведомляет палату, что он намерен внести предложение, имеющее целью выволить принца Уэльского из теперешних его запутанных и бедственных обстоятельств.

Когда начинается обсуждение этого вопроса, грубый и бесцеремонный барон Ролл, прослышавший о женитьбе принца, взрывает бомбу в рядах обеих партий, пригрозив расследованием с целью выяснения истины. Слово берет Шеридан: он торопится предотвратить публичное обсуждение слухов о женитьбе принца на католичке, ибо это может вызвать повторение гордоновских бунтов. Питт вынужден отступить. В тот же вечер Шеридан отправляется в гости в Карлтон-хаус, где смущенный хозяин разуверяет его: «Фу! Какая чушь! Смешно говорить!»

Тем временем Питт и друзья принца приходят к взаимному соглашению. Есть надежда, что король смягчится. Счастливый возлюбленный со смехом заверяет Фокса, что он не женился, а Шеридан посещает миссис Фицгерберт и сообщает ей, что парламент потребует некоторых разъяснений насчет характера ее отношений с принцем. Шеридан успокаивает ее: отрицание в самых общих выражениях удовлетворит как общественность, так и ораторов — мастеров по части уклончивых ответов.

Но вечером 30 апреля Фокс, спеша замаять всю эту историю, совершает оплошность. Он заходит слишком далеко. «Выступая непосредственно по поручению принца Уэльского», он уполномочен заверить его величество и министров его величества «в том, что факт,

о котором идет речь, вымышлен от начала до конца; он не только не имел места, но, как подсказывает здравый смысл, никогда и *не мог* иметь места».

Но Ролл, отметая все софистические ухищрения, упорно гнет свою линию. Пусть с юридической точки зрения этот брак и не мог иметь места, но ведь церемония бракосочетания могла состояться и без санкции закона. Фокс (быть может, вливший в себя к тому времени бутылки три вина) снова вскакивает с места и напропалую отрицает все и вся. Он опровергает «клеветнический слух, о котором идет речь, целиком и полностью, как с юридической точки зрения, так и с фактической». Выступив с этим полным и категорическим отрицанием, Фокс выходит за пределы порученной ему миссии и ставит Георга в чрезвычайно щекотливое положение.

Наутро принц с деланно беззаботным видом сообщает своей подруге неприятную новость и, сжимая ее руки в своих ладонях, восклицает: «Подумай только, Мария, что наделал вчера Фокс. Он явился в палату и отрицал, что мы с тобой — муж и жена. Слыхала ли ты что-нибудь подобное?» Мария молчит и бледнеет. Теперь вся Англия, каждая лавка эстампов будет выставлять напоказ ее позор. Ее доброе имя опорочено. Она грозитя уйти от принца, если он не защитит ее честь, и негодует на Фокса, запятнавшего ее репутацию. Фокса она и раньше недолюбливала, а теперь, естественно, ее неприязнь переходит в ненависть. Она клянется, что никогда больше не скажет с ним ни слова, и все попытки сэра Филиппа Фрэнсиса помирить ее с Фоксом ни к чему не приводят. По ее словам, Фокс, выступив в палате общин с заявлением, сделать которое он не был уполномочен, смешал ее с грязью, словно уличную шлюшу.

Принц посылает за Греем, который застает его нервно расхаживающим по комнате в состоянии крайнего возбуждения. Не мешкая, принц объявляет Грею, зачем тот понадобился ему. Грей должен дать какие-нибудь благовидные разъяснения в палате по поводу отрицания Фоксом факта бракосочетания, причем изменить формулировку опровержения таким образом, чтобы успокоить миссис Фицгерберт. «Чарльз, несомненно, зашел вчера вечером слишком далеко, — говорит принц. — Вы, мой милый Грей, объясните им это». На что Грей отвечает так: «Фокс, безусловно, полагал, что он уполномочен сказать все те слова, которые он сказал, и что если произошла какая-нибудь ошибка, то исправить ее сможет только его высочество принц, переговорив лично с Фоксом и уладив это деликатное дело с ним самим». Но принц меньше всего хочет обсуждать это дело с Фоксом. Грей отлично это знает и, подобно большинству друзей принца, радуется публичному опровержению факта его женитьбы, неважно, справедливому или ложному. Он указывает принцу на то, сколь пагубным будет для него продолжение дискуссии

на эту тему, и решительно отказывается выполнить его просьбу. Этот отказ «огорчает, разочаровывает и сердит» принца. Он резко обрывает разговор и, бросившись на диван, бормочет про себя: «Ну ладно, уж Шеридан-то должен это сделать, даже если все прочие попрячутся в кусты». Принц так никогда и не простил Грею его отказа, и в его отношениях с Греем наступило охлаждение.

Возможно, для того чтобы отвлечься от забот и треволений, обрушившихся на него в связи с этой историей, принц прибывает на бал, который дает на Олбермарл-стрит леди Хоуптун, вдребезги пьяным. Поначалу он держится в рамках приличий и смирно сидит «бледный как полотно», но, выпив за ужином полторы бутылки шампанского, принц страшивает с себя оцепенение и становится на караул в дверях, к ужасу всех входящих и выходящих. Поймав в объятия герцогиню Ланкастерскую, он с громким чмоканьем целует ее. Потом он начинает задирать лорда Галлоуэя, грозя сорвать с него парик и выбить его фальшивые зубы, и совершает еще целый ряд аналогичных пьяных выходов, пока кто-то из спутников принца не вызывает его карету и чуть ли не силой заталкивает в нее дебошира. Бедная леди Хоуптун!

В конце концов Шеридан улаживает это дело в парламенте, подвергнув сомнению опровержение Фокса, «сделав тонкий комплимент даме, на которую, как это можно предположить, недавно намекали в парламенте», и похвалив палату за то, что она сочла ниже своего достоинства настаивать на расследовании, проведения которого она могла бы потребовать в свете поступков принца. Шеридан так искусно строит свою хвалебную речь, облакает в такую туманную форму все, кроме комплиментов, что миссис Фицгерберт удовлетворяется этим разъяснением и преисполняется признательности к оратору.

Впрочем, зрелое размышление заставляет умерить первые восторги. Лорд Окленд записывает в своем дневнике, что форма этого панегирика, похоже, противоречит его содержанию, тогда как язвительный Джордж Селвин, цитируя строку из «Отелло», замечает: «Мерзавец, помни, ее позор ты должен доказать!»¹ Но тактом Шеридана восхищаются, а миссис Фицгерберт приветствуют и восхваляют даже еще больше, чем прежде.

Тем не менее вся эта история причинила партии оппозиции моральный ущерб и вынудила ее воспользоваться кампанией, развернутой в порыве праведного гнева Берком против Хейстингса, с тем чтобы под ее прикрытием исправить допущенные ошибки и восстановить свой пошатнувшийся престиж. Вот какие мелочи лежат в основе раз у истоков грандиозных дискуссий.

¹ «Отелло». — Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8-ми тт., т. 6, с. 351,

Я ОБВИНЯЮ

Уоррен Хейстингс обвиняется в жестокости и преднамеренном обмане, общеизвестными становятся факты о царящей в Ост-Индской компании коррупции, а обсуждение всего этого вопроса происходит на фоне усиливающейся опасности того, что Георг III возьмет бразды государственного правления в свои руки, как он грозит это сделать. Поэтому виги, и среди них Шеридан, пользуются удобным случаем, чтобы в назидание другим наказать экс-губернатора, одержать победу во имя свободы и, осудив правителя, возвеличить подданного.

Сэр Филипп Фрэнсис, сторонник оппозиции и заклятый враг Хейстингса, представляет индийские дела в таком свете, чтобы привлечь на своего недруга гнев общественности: он объявляет первопричиной всех бед непомерное честолюбие Хейстингса и его нежелание считаться с другими. В свое время Фрэнсис дрался с Хейстингсом на дуэли и был ранен. С тех пор он, возведя недоброжелательность в ранг добродетели, лелеет свою злобу против Хейстингса как божью благодать и выставляет ее напоказ при всяком случае с фарисейской нарочитостью.

Фрэнсис стал главным инициатором дела о привлечении Хейстингса к суду; это он вдохновляет кампанию против своего недруга, консультирует и информирует ее организаторов. Он является не только суфлером, подсказывающим реплики из-за кулис, но также и автором, постановщиком и режиссером-распорядителем всей этой постановки. Берк, Фокс, Дандас, Шеридан, вся плеяда блестящих ораторов, обративших свое красноречие против Хейстингса, — это не больше как актеры в грандиозном спектакле, порожденном его воспаленной фантазией. Все двадцать два обвинения, выдвинутые Берком против Хейстингса, основываются на материалах, представленных Фрэнсисом. Манера их изложения обусловлена тонко продуманным планом: массы разрозненных фактов и документов, резкие инвективы, хитроумные инсинуации, не относящиеся к делу выпады и расплывчатые аргументы — все это идет в ход, чтобы подкрепить шаткие обоснования обвинения.

Личная же вражда, которую Берк питает к Хейстингсу, придает его обвинениям отпечаток искренней убежденности и эмоциональную силу. Между прочим, родственник Берка, некий Уильям, отправился в надежде разбогатеть в Индию, но вернулся в 1793 году домой с подорванным здоровьем, без гроша в кармане и с недостатком казенных денег. И в Англии и в Индии за ним укрепилась репутация крючкотвора. Уильям разработал два плана обогащения: 1) посредством сложных махинаций с обменом валют различных провинций

Индии; 2) посредством перевода в Англию с 25-процентным освобождением от уплаты громадного долга в бумажных деньгах, сделанного в Индии. Эдмунд Берк способствует осуществлению этих планов. И тот же Берк обвиняет Хейстингса в казнокрадстве и использовании служебного положения в корыстных целях. Лорд Корнуоллис называет операции Уильяма по обмену валют скандальными махинациями. Не затеял ли Берк дело о привлечении Хейстингса к суду из-за того, что тот не нашел для Уильяма достойного, на взгляд Берка, применения? Разумеется, в какой-то мере так оно и было. Берк органически неспособен поверить, что среди его сторонников может оказаться мошенник. На своих друзей и родных он смотрит как на божьих избранников, а их врагов считает отъявленными погодыями. В своих оценках людей и их мотивов он наивен и легковерен. Вне всякого сомнения, в кругу его родственников царит атмосфера финансового авантюризма. И вот в каких выражениях пишет Берк Уильяму: «О, мой любимейший, старейший и лучший друг, как далеко занесла тебя судьба! Да хранит тебя всемилостивый господь! Твои враги, твои жестокие и несправедливые преследователи, призваны к ответу и несут наказание — не за свои злодеяния по отношению к тебе, а за другие свои преступления, которым несть числа. Думаю, что... царству Хейстингса пришел конец».

И еще одна сенсационная история способствует разжиганию враждебных чувств. Сэр Фрэнсис ненавидит близкого друга Хейстингса сэра Илайджу Импея, занимавшего в прошлом пост главного судьи Верховного суда Бенгала, а ныне тоже привлекаемого к судебной ответственности. В феврале 1779 года, еще до своего отъезда из Индии, Фрэнсис попал в скверную историю: его заметили и схватили в тот момент, когда он глухой ночью спускался с балкона прелестной семнадцатилетней красавицы миссис Гранд. Слуги миссис Гранд, связавшие его веревками, с удивлением обнаружили, что вместо грабителя они поймали члена Верховного суда Бенгала. Мистер Гранд развелся с женой и возбудил против Фрэнсиса судебное дело о возмещении убытков. Верховный суд под председательством Импея присудил пострадавшему пятьдесят тысяч рупий. Скомпрометированная леди уехала во Францию и там вышла замуж за Талейрана. Одно из серьезных обвинений по делу об импичменте связано с именем индийца Нанкомара, который подал жалобу на Хейстингса. Тот счел ниже своего достоинства ответить на обвинения Нанкомара, но враждебный губернатору совет, членом которого был и Фрэнсис, признал Хейстингса виновным. Немедленно вслед за этим Нанкомара обвинили в подделке долгового обязательства, и он предстал перед судом, возглавляемым Импеем. Применим ли был английский закон по отношению к индийцам в случаях, подобных этому? Импей отправил Нанкомара в тюрьму и на виселицу.

Каким бы широким ни казался круг вопросов, в связи с которыми против Хейстингса выдвигались обвинения по импичменту, они лежали на периферии обширной сферы общественно полезной административной деятельности губернатора. Самые выдающиеся его достижения оказались вне поля зрения. А ведь он насадил порядок там, где царил хаос; очистил авгиевы конюшни аппарата управления Бенгалом; успешно боролся с наиболее вопиющими злоупотреблениями, чинимыми этой администрацией; наконец, предотвратил крах британского правления в Индии. Он взял на себя нелегкий труд разъяснить служащим компании, что их задача состоит не только в том, чтобы торговать, сражаться, ни тем более грабить, но и в том, чтобы управлять.

Когда в июне 1785 года Хейстингс прибыл в Англию, во всех землях, находившихся под его управлением, царили мир и спокойствие. Спасение Индии для британского господства служило своего рода компенсацией за все внешнеполитические катастрофы последних лет. При всем том Хейстингс вернулся без состояния из страны, где большинство наживалось на грабеже. Он не принадлежал к числу сребролюбцев, которые «усердно трясли индийскую смоковницу». Лорд Корнуоллис, приступивший к управлению Индией в начале 1786 года, правил ею, опираясь на административные основы, заложенные отозванным правителем.

Но не подлежит сомнению и то, что, ведя отчаянную борьбу за верховенство Англии, Хейстингс не гнушался таких распространенных на Востоке методов, как поборы и вымогательство. Компания постоянно настаивала на том, чтобы Хейстингс пополнял ее казну, и он делал это. Принимались и тайные взятки, которые каким-то ловким способом проводились через счета компании. В общем, Востоком управляли на основе критериев, отличных от критериев Запада.

Среди выдвинутых против Хейстингса обвинений главными были три следующих. Во-первых, он предоставил британские войска в распоряжение союзного Англии наваба¹ княжества Ауд, с тем чтобы дать ему возможность покорить племя рохиллов, обитавшее у северных границ владений наваба и совершавшее разбойничьи набеги на Ауд. Во-вторых, он наложил огромный штраф (500 тысяч фунтов стерлингов) на вассального князя, раджу Бенареса, который был повинен в неуплате дани (50 тысяч фунтов стерлингов) во время войны с султаном Типу. В-третьих, он позволил навабу Ауда (обещавшему внести свой вклад на покрытие расходов в связи с этой войной) ограбить — ради получения требуемых денег — свою род-

¹ Наваб (набоб) — титул правителей областей Индии, отколовшихся от империи Великих Моголов.

ную мать и бабу, хотя обе эти бегумы ¹ были взяты ранее под британское покровительство.

С самого начала Хейстингс ведет себя неразумно. Он допускает, чтобы его представитель майор Скотт чрезмерно углубился в детали; считает ниже своего достоинства ссылаться, защищаясь, на собственные заслуги; презрительно третирует своих врагов и навлекает на себя их яростный гнев. Защитники Индии добиваются создания лучшей системы правления, но система эта непонятна человеку, которому приходилось сразу же, на месте, принимать решения, определявшие судьбы миллионов людей, поскольку громадные расстояния исключали скорую связь. Еще более непримиримо относились защитники Индии к меркантильным стандартам Леденхолл-стрит ², являвшимся, как постоянно вдалбливали губернатору в голову, главным источником денег.

Все это Шеридану хорошо известно, но он, как и прочие его коллеги, отбрасывает эти соображения в сторону. Его соблазняет возможность блеснуть. Он честолюбив, а тут ему представился неповторимый случай проявить все свои способности: красноречие, иронию, умение представить факты в драматической форме и, кроме того, хорошее знание предмета, о котором мало кто подозревал. Не для того он вступил на политическое поприще, чтобы играть вторую, третью или пятнадцатую скрипку в качестве помощника заместителя министра либо помощника руководителя оппозиционной партии. Он чувствует в себе призвание и, ей-богу, еще покажет себя в полном блеске! К тому же появился дополнительный стимул выйти на авансцену. Питт переменял фронт на сто восемьдесят градусов и голосует против Хейстингса, приди к убеждению, что он не может по совести защищать Хейстингса и тем самым связывать свое собственное правление с деспотическими актами, которыми ознаменовалась административная деятельность губернатора.

Шеридан пощадил бы Хейстингса, если бы мог это себе позволить. Ведь он постоянно ратует за средний курс, считая компромисс венцом политической мудрости. Но тут он подпал под влияние Берка. В представлении Берка Хейстингс не человек, а исчадие ада, злой дух, разоривший Бенгал и отколовший от Англии Америку. Вся Беркову теорию управления можно суммировать в одной фразе: «Обман, несправедливость, угнетение, казнокрадство, порожденные в Индии, суть преступления того же рода, семьи и племени, что и те, которые рождены и возвращены в Англии».

7 февраля 1787 года палата общин собирается на заседание в качестве комитета полного состава под председательством мистера Сент-

¹ Знатные дамы в Индии.

² Леденхолл — рынок в Лондоне.

Джона. В полночь, в присутствии более пятисот членов парламента, слово берет Шеридан. Шесть часов подряд парламентарии как зачарованные слушают его речь; он говорит очень быстро, но удивительно четко, под конец у него садится голос, и он заканчивает свое выступление шепотом. Когда он умоляет присутствующие — члены палаты общин, лорды, публика — впервые в истории парламента устраивают бурную овацию, снова и снова разражаясь громкими рукоплесканиями. Друзья протискиваются к Шеридану и бросаются ему на шею. Берк заявляет, что красноречие, аргументация и остроумие этого выступления произвели удивительное впечатление, не имеющее себе равных. Фокс говорит: «Все, что я когда-либо слышал; все, что я когда-либо читал, при сравнении с этой речью тускнеет, теряет значение и улетучивается, как туман в лучах солнца». Питт признает, что Шеридан превзошел в красноречии всех ораторов древности и современности. Слушая речь Шеридана, сэр Гилберт Эллиот много раз чувствовал, как горло ему сдвигается рывками, а после не мог заснуть от волнения. Прослезился даже бесстрашный Дадли Лонг. Речь Шеридана побудила мистера Стэнхоупа в корне изменить свои взгляды и поколебала убеждения мистера Монтегю. Она так потрясла мистера Уилберфорса, мистера Мартина и других, что они потребовали закрытия заседания, с тем чтобы получить возможность собраться с мыслями перед голосованием. Действие речи было подобно легкому опьянению, против которого никто не мог устоять.

Мистер Логан, автор мастерской защиты Хейстингса, явился в тот день в палату общин, предрасположенный в пользу обвиняемого и предубежденный против обвинителей. По истечении первого часа выступления Шеридана мистер Логан заметил сидящему рядом другу: «Все это сплошное витийство, утверждения без доказательств». Еще через час он заговорил по-иному: «Какая замечательная речь!» На исходе третьего часа он воскликнул: «Действиям Хейстингса нет никакого оправдания!» Еще час спустя он уже кипел: «Поистине Хейстингс — ужаснейший преступник!» И под конец он с чувством провозгласил: «Из всех чудовищ беззакония Уоррен Хейстингс — самое страшное».

Потрясенные парламентарии, боясь самих себя, не решаются предпринять какие бы то ни было практические шаги, пока они немного не поостынут. На какое-то время обсуждение всех прочих вопросов становится невыносимым. Никто не может говорить ни о чем другом, кроме как о речи Шеридана в защиту княгини Ауда.

Шеридан не жалеет красок: Ганг, Джамна, визири, бегумы, евнухи, раджи, зенаны¹, гаремы — вся эта экзотика значительно

¹ Зенана — женская половина дома в Индии.

усиливает общий эффект. Его речи тенденциозны, пристрастны, его обличения преувеличенны. Но они будоражат и поражают национальное воображение.

(В напечатанном виде выступления Шеридана не в состоянии передать первоначального впечатления от них: ведь личное обаяние оратора играло тут не последнюю роль. «Сверкающие глаза, выразительное лицо, завораживающий голос — ничего этого нет. Остаются лишь холодные печатные знаки».)

«По велению моей совести я заявляю, что система, которой придерживался мистер Хейстингс при управлении Индией, представляла собой нескончаемую череду актов беспримерной жестокости, угнетения и грабежа. Его действия были прямой противоположностью тому, что предписывали ему делать парламент и Ост-Индская компания; комитет палаты общин неоднократно порицал его принципы. Но мистер Хейстингс говорит теперь нам: «Не ворошите прошлого, не пытайтесь взвесить тяжесть моих былых преступлений. Выслушайте мои собственные оправдания. Я докажу, что каждый случай казнокрадства, грабежа и убийства, приписываемый моим мерам, объясняется недоброжелательством моих врагов...» Бедный, несчастный джентльмен! Оказывается, ему не дают покоя муки оскорбленной невинности! Право же, из всех людей один только безупречный мистер Хейстингс отважился бы, представ перед судом этой палаты, апеллировать к собственной невинности.

Бесспорно, в свойствах его характера или в его способностях есть нечто такое, благодаря чему он в течение ряда лет оказывал сильнейшее влияние... Но для того чтобы выяснить истину, следует разобраться в том, что же представляет собой это «нечто». В чем выражается подлинное величие, как не в свершении великих дел с благими помыслами; в достижении высоких целей наилучшими методами, в умении сделать максимум добра самыми чистыми средствами? Но сплошь и рядом подлинное величие путают с лжевеличием. Такое лжевеличие включает в себя дерзость намерений, твердость характера, смелую предприимчивость и полное пренебрежение к очевидным различиям между справедливым и несправедливым. Деятель, лишенный принципов или придерживающийся худших из принципов, может ревностно и с успехом проводить в жизнь смелую и разорительную меру, преследующую дурные цели. Но даже этот безнравственный и предосудительный образ действий требует определенной предусмотрительности, хотя и употребляемой во зло, а также мудрости, хотя и извращенной. Я смею утверждать, не боясь быть опровергнутым, что как государственный муж мистер Хейстингс не имеет ни малейшего основания претендовать на величие того или иного рода. В принятых им мерах и во всей его личности нет, как мы видим, ничего основательного и дальновидного, ничего

благородного и величественного, ничего открытого, прямого, великодушного, мужественного и незаурядного. Все в нем порочно, бесчестно, низко и неискренне. Всякий раз, когда он становится перед выбором целей или средств их достижения, он инстинктивно избирает самые дурные. Его линия поведения — сплошное отклонение от прямых норм морали. Если в его более чем десятилетнем управлении и есть какой-то признак системы, то это заведомый отказ от всякой системы.

Если он и совершил что-нибудь великое, так это преступления, чудовищность которых подчеркивается ничтожностью его мотивов. Он и тиран, и мошенник, и фантазер, и обманщик в одно и то же время. Он притязает на роль завоевателя и законодателя, Александра Македонского и Цезаря, но в действительности он напоминает лишь Дионисия, тирана сиракузского, и Скапена. Его писания, хотя здесь он не испытывает недостатка в поклонниках, обнаруживают все то же врожденное скудоумие и отмечены печатью все того же ничтожества, перемешанного с гордыней. Все его письма, записи и официальные послания сухи, невразумительны, напыщенны и неинтересны; они лишены смысла, одухотворенности, простоты и интеллекта. Он подменяет доводы высокопарной фразой, прикрывает ложь метафорой, хитрит и изворачивается, пуская в ход витиеватый слог. Вот почему его сочинения претят уму, наделенному вкусом, подобно тому как его действия оскорбляют все лучшие чувства человеческого сердца.

Как сказал Дандас, крупнейший недостаток политических мероприятий, которые проводились в Индии, коренился в том, что все они основывались на меркантильных принципах. В годы правления Хейстингса эта торгашеская система была доведена до крайних пределов гнусности.

Этаким манером целые народы истреблялись ради получения пачки банкнот; целые края опустошались огнем и мечом ради обеспечения инвестиций; перевороты осуществлялись на основании одного аффиديвита; армия посылалась в поход, чтобы произвести единственный арест; города осаждались из-за долговой расписки; князя высылали ради банковского счета; государственных деятелей использовали в роли судебных приставов, генералов делали аукционистами, дубину превращали в инструмент банкирских контор, и во всех частях Индустана британское правление предстало в виде злодея, в одной руке держащего кровавый скипетр, а другой рукой очищающего чужие карманы.

Что касается ограбления бегум Ауда, то «кто не воспротивился бы столь чудовищным актам?». Богатство этих несчастных женщин было их единственным преступлением... На ни в чем не повинных жителей этого края обрушили ужасы войны; от резни и голода

отрава обезлюдела... Повсюду, куда бросали британскую армию, поднимала голову поверженная тирания и громко призывала к мщению. Можно сравнить обитателей Ауда с птичьей стаей. Вот они, тревожно трепеща крыльями, сбиваются на лету в плотную стаю при виде злодея коршуна, который, бросившись перед этим на одну из птиц и промахнувшись, выбрал теперь себе новую жертву и падает на свою добычу с удвоенной стремительностью и разгоревшимся хищным блеском в глазах... Я не нахожу слов для описания нападения на зенану... Смятение, шум и гам, вопли женщин, жестокость солдат, дрожь и трепет всей округи не поддаются никакому описанию... Пусть члены палаты общин попробуют нарисовать в своем воображении картину того, как кого-нибудь из британской королевской семьи подобным же образом окружают в его собственной резиденции, яростно атакуют, силой оружия заставляют расстаться со своей собственностью и слугами, со своими сердечными друзьями. Во всяком случае, нам, живущим в стране, где дом каждого человека является убежищем, неприкосновенность которого не посмеет нарушить рука властей предержажих, и где конституция воздвигла непреодолимую преграду на пути любого нарушения прав личности, на пути любого акта грубого произвола, такое проявление насилия не может не показаться беспримерной, чудовищной жестокостью».

Опрокинув один за другим все доводы, которые губернатор привел в свое оправдание, Шеридан переходит к пространной заключительной части своей речи. «Вот так издевается он над всеми естественными обязанностями и над справедливостью... Боже упаси нашу страну от того, чтобы его представление о справедливости когда-либо воцарилось в ней... Пора нашей палате встать на защиту поруганной репутации справедливости. Комитету предстоит очистить справедливость от той мишуры, в которую мистер Хейстингс обрядил ее, и показать справедливость во всем ее подлинном величии — не в виде sireны, облажающей разнузданных преступников, а как непоколебимую защитницу угнетенных и твердую противницу угнетателей, деятельную, пытливую и карающую... Надо ли говорить, что этот вопрос выходит за рамки партийных раздоров? Мне известно, на какие фракции разделена палата. Среди представителей народа недавно нашлись даже сторонники королевской прерогативы... Меры того или иного министра поддерживаются одним классом людей и встречают оппозицию со стороны другого. Но разве не случалось сплошь и рядом, что при рассмотрении важнейших проблем палата общин дружно отбрасывала в сторону все партийные и корыстные соображения? Когда дело идет о защите великой идеи справедливости, наш долг, наша гордость, наш интерес требуют от нас единодушия. Бесчеловечность предстала ныне перед нами в таком чудовищном облике, что мы обязаны рассматривать ее как

нашего общего врага. Надеюсь, мы осудим ее по всей строгости... Надеюсь, комитет станет действовать, не считаясь ни с влиянием министра или короны, ни с предвзятыми мнениями, порожденными своекорыстием...

Все законы, божественные и человеческие, обязывают нас избавить миллионы наших ближних от страданий и угнетения. Правда, мы не видим воочию сонма людей, взывающих к нам о помощи. Мы не слышим горьких жалоб погибающих... Но, загладив их обиды и покрав их притеснителя, мы окажем им помощь, великодушие которой будет пропорционально расстоянию, отделяющему нас от этих страдальцев. Неужели британский парламент станет дожидаться, чтобы плач голодных детей и вопли беззащитных женщин, истерзанных голодом и лишениями, раздались здесь, в этом зале, прежде чем он соизволит употребить свою власть для оказания помощи нуждающимся?.. Нет! Так пусть же палата общин Великобритании подаст пример другим народам и, протянув крепкую руку помощи через полмира, восстановит справедливость и защитит без вины пострадавших...

Предоставляя защиту беспомощным и слабым в каждом уголке земного шара, британский парламент наглядно продемонстрирует свое всемогущество. А благословения людей, спасенных тем самым от гнета алчных притеснителей, не пропадут даром... Ведь само небо соблаговолит стать вашим доверенным, принимая прочувствованные благодарения тысяч и тысяч... Я благодарю комитет за то, что он терпеливо выслушал речь, говоря которую я вышел за все пределы отпущенного мне времени и дошел до предела собственных сил, и предлагаю, чтобы комитет, заслушав показания и рассмотрев упомянутое обвинение, вынес постановление о том, что имеются достаточные основания для привлечения Уоррена Хейстингса, эсквайра, к суду за совершенные им тяжкие государственные преступления).

ГЛАВА 8

СУД

В распахнувшиеся двери Вестминстер-холла входит, во главе комитета, Эдмунд Берк. Он держит в руке свиток и идет впереди всех один с печатью озабоченности и глубокой думы на челе. За ним следует длинная процессия: сначала входят секретари; за ними — юристы всех рангов; затем появляются пэры Англии в расшитых золотом и отороченных горностаем мантиях, вслед за ними — епископы и министры, все как один в парадных одеяниях, предназначенных для особо торжественных случаев, потом входят принцы

крови, а замыкает шествие лорд-канцлер в мантии, шлейф которой несут за ним. Затем все участники этой процессии рассаживаются.

Сырые древние стены исторического зала задрапированы красным; длинные галереи до отказа заполнены блистательной публикой. Покруг королевы восседают светловолосые дочери династии Брауншвейгов¹, а из-за плеча ее величества выглядывает кудрявая головка бойкой Фэнни Бёрни. Среди сидящих на галерее величественная миссис Сиддонс, Гиббон, Рейнолдс и Парр, восхитительная герцогиня Девоширская, надменная миссис Фицгерберт и прелестная миссис Шеридан.

На открытом пространстве среди полыхающих красным драпировок оборудованы места для членов палаты общин — зеленые скамьи и зеленые столы. Устроители процедуры импичмента явились при полном параде. Даже Фокс, известный нарушитель правил этикета, на этот раз пришел в парике с косицей и при шпаге.

Встает парламентский пристав и приказывает хранить молчание в суде под страхом тюремного заключения. Затем встает другой пристав и громким голосом возглашает: «Уоррен Хейстингс, эсквайр, подойдите. Отвечайте на выдвинутые против вас обвинения; неявка на суд влечет за собой утрату залога». Вперед выходит худой и лысый человек в красном камзоле и при шпаге с украшенным бриллиантами эфесом. Перед ним торжественно выступает церемониймейстер с черной булавой, а справа и слева от обвиняемого идут его поручители. Вот он склоняется в глубоком поклоне перед лордом-канцлером и всем судом. Затем он медленно проходит к скамье подсудимых и там склоняется в еще более низком поклоне. Подойдя далее к барьеру, отделяющему места судей, и, опершись на него руками, он опускается на колени. Но так как в ту же минуту раздается голос, объявляющий, что ему дозволено встать, обвиняемый почти сразу поднимается с колен и в третий раз отвешивает низкий поклон суду.

Чиновник суда громким и каким-то загробытым голосом зачитывает официальное объявление о том, что Уоррен Хейстингс, эсквайр, бывший генерал-губернатор Бенгала, привлекается ныне к суду по обвинениям в тяжких государственных преступлениях, выдвинутым палатой общин Великобритании, и что «все те, кто имеет что-либо сказать против него, должны будут теперь выступить».

Воцаряется мертвая тишина. Но вот долгое молчание нарушает лорд-канцлер Тэрлоу. Говорит он спокойно и торжественно. Его выступление, судя по всему, призвано внушить уверенность в том, что ни высокий авторитет палаты общин, ни ее враждебность к обвиняемому не нанесут ущерба правосудию. По окошчании речи лорда-

¹ В советской историографии эту династию принято называть Ганноверской (герцогство Брауншвейгское являлось историческим ядром герцогства Ганноверского).

канцлера Хейстингс снова кланяется суду и, перегнувшись через барьер, с большим волнением отвечает: «Милорды... потрясен... глубоко потрясен... я предстаю перед вашими светлостями, одинаково уверенный в моей собственной невинности и в справедливости суда, перед которым я должен оправдаться...»

Снова воцаряется общее молчание, после чего один из юристов открывает слушание дела. Он оглашает по огромному пергаментному свитку перечень общих обвинений, выдвигаемых против Уоррена Хейстингса, но читает таким монотонным голосом, что публика не улавливает смысла его слов. Как только он кончает, встает другой юрист и что-то зачитывает точь-в-точь таким же монотонным голосом, так что присутствующие никак не возьмут в толк, обвинение это или защита. Подобное монотонное чтение разряжает напряженность в зале, позволяет всем несколько расслабиться.

Эта церемония занимает два дня. На третий день слово берет Берк. Его речь длится четыре дня подряд. Наэлектризованные торжественностью всего происходящего дамы на галереях теряют всякий контроль над своими эмоциями. Там и здесь подносятся к глазам носовые платки, передаются из рук в руки флаконы с нюхательной солью, слышатся истерические возгласы и всхлипывания. Миссис Шеридан выносят в глубоком обмороке. Но возбуждение публики достигает апогея, когда очередь выступать доходит до Шеридана.

Его обвинительная речь по делу об ограблении бегум прогремела на всю Европу. Он говорил четыре дня (3, 6, 10 и 13 июня), в один из которых довел себя до изнурения. Многие слушали его со слезами на глазах, миссис Сиддонс лишилась чувств, а в Вестминстер-холле негде было яблоку упасть от наполнивших его великосветских знаменитостей во главе с принцем Уэльским и герцогом Орлеанским. Кажется, здесь, в этом здании, собраны вместе знатность, богатство, гений, остроумие и женская красота Англии. Не было только герцогини Девонширской. Именно во время этой речи Гейнсборо, незадолго перед этим шуточно пообещавший Шеридану прийти на его похороны, простудился и нажил болезнь, которая вскоре свела его в могилу.

Интерес публики к речи Шеридана беспредельно. Каждый стремится всеми правдами и неправдами попасть в Вестминстер-холл. Билеты стоят 50 гиней, но желающих приобрести их столько, что у кассы творится вавилонское столпотворение. В шесть утра дамы уже одеты и толпятся во дворе Вестминстерского дворца; с девяти до двенадцати они сидят в зале, дожидаясь начала судебного заседания. Давка у входа такая, что просто чудом дело обходится без членовредительства. Впрочем, кое-кто лишается если не ног, то, во всяком случае, туфель. Несколько дам протискиваются в двери

босиком. Другие, потеряв свою собственную туфельку, надевают чужую, потерянную кем-то еще, и входят в Вестминстер-холл в туфле красного цвета на одной ноге и желтого — на другой.

Вот поднимается со своего места Шеридан, и тысяча сердец замирает от волнения. Вступительная часть его речи воспринимается слушателями как излишне сухая и официальная — это больше похоже на выступление юриста, чем на инвективу члена палаты общин. А его ораторская манера слишком уж напоминает исполнение его отцом роли короля Иоанна¹. Но с каждой минутой он говорит все лучше и лучше, его речь вызывает всеобщее восхищение. Берк расхваливает ее в самых пылких выражениях, а Уолпол замечает, что национальный упадок не является неотвратимым, когда «история и ораторское искусство дают такие славные победы». Вот в каких словах миссис Шеридан сообщает своей золовке «новость о триумфе нашего дорогого Дика — нашем триумфе»: «Нет никакой возможности, дорогая моя, передать тебе, какие чувства восторга, изумления и обожания вызвал он в сердцах людей самого разного звания. Даже партийные предубеждения не устояли против щедрого проявления гения, ораторского мастерства и душевности. Все, у кого есть сердце, станут, после того как они прослушали речь Дика, мудрее и лучше до конца своих дней. Представь же теперь, что должна чувствовать я! По правде говоря, я лишь с трудом могу, как сказал после речи Дика Берк, «опуститься в мыслях на землю» и говорить или думать о чем-нибудь другом, но наслаждение слишком острое становится болью, и в этот момент я страдаю от восторгов и тревожений минувшей недели. Мне, бедняжке, противопоказаны всякие крайности».

Когда в конце июля возвращается в Англию отец Шеридана, его верный слуга Томпсон встречает его со словами: «Сударь, ваш сын — первый человек в Англии; это всеобщее мнение, вы сами убедитесь». Алисия, которой довелось услышать заключительную часть речи Шеридана, тоже находится под сильным впечатлением от нее.

На заседании палаты общин, состоявшемся 6 июня после волнующего утреннего заседания суда в Вестминстер-холле, некий Бэрджесс берет слово, чтобы вынести на рассмотрение членов палаты какой-то второстепенный финансовый вопрос. Берк немедленно пригвозждает несчастного к позорному столбу. «Я считаю своим долгом принести самые горячие поздравления почтенному джентльмену в связи с тем, что он так удачно выбрал этот славный, знаме-

¹ Король Иоанн — герой одноименной пьесы У. Шекспира.

нательный день, когда все мы еще переживаем утренний триумф, чтобы выдвинуть на обсуждение дело столь важного характера!» — восклицает великий оратор с исполненным презрения сарказмом. Далее он язвительно восхищается могучим интеллектом своего невозмутимого коллеги, оказавшегося способным на такое большое умственное усилие, «тогда как все прочие члены палаты онемели от изумления и восхищения, пораженные чудесным красноречием его друга Шеридана, который сегодня снова удивил тысячи слушателей, с восторгом ловивших каждое его слово, таким проявлением талантов, какое не имеет себе равных в анналах ораторского искусства, и тем самым оказал высочайшую честь себе, этой палате и нашей стране».

Десятого июня, подходя к концу своей длинной обвинительной речи, Шеридан едва не лишается чувств, и Берку приходится заменить его. Фокс, проводив Шеридана на воздух, возвращается в зал и сообщает суду, что его друг чувствует себя очень плохо и не в состоянии продолжать выступление; поэтому он просит палату проявить к нему снисхождение, перенести заседание на один из ближайших дней. Слушание окончания речи назначается на 13 июня. Продолжив в назначенный день свое выступление, Шеридан извиняется за задержку и благодарит судей за то, что они пошли ему навстречу.

Шеридан стремится доказать, что Хейстингс должен нести ответственность за все свои беззакония. Подсудимый переложил вину на чужие плечи, свалил ее на своих подчиненных. Но ведь не кто иной, как он, умышленно санкционировал их методы. «Не стану утверждать, что это мои методы, — уверяет Хейстингс, — но они справедливы, благородны, гуманны и благоразумны». «Это откровение, — говорит Шеридан, — довершает картину. Оно наглядно показывает, на какой чудовищной лжи основывается его защита... Неужели же мне скажут теперь, когда я представил вашим светлостям доказательства того, что, уполномочив своего агента запугивать, принуждать, притеснять и убивать, более того, вменив ему эти ужасные акты в обязанность, он по получении известий о творимых агентом злодеяниях заявляет: «Рад слышать это — теперь я могу с легким сердцем возвращаться в Калькутту», а потом обвиняет своего агента в недостаточной жестокости, после чего называет все эти меры справедливыми, гуманными и благоразумными, — так неужели мне скажут после всего этого, что он не несет ответственности потому, что у меня нет доказательств относительно точного количества ударов плетью и веса кандалов?! Неужели мне скажут: «Это прекрасное дерево загублено не по его вине, потому что он приказал рубить, но не отдавал распоряжения обдирать кору» или «он не виноват, так как приказал вырвать сердце, но не отдавал приказа

о пролитии крови»? Итак, я утверждаю, что Уоррен Хейстингс полностью уличен в этих преступлениях, и возлагаю на него перед вашим судом всю вину за них; он должен ответить за них перед законом, перед правом справедливости, перед своей страной и перед богом...

Милорды, я закончил с представлением доказательств. Мне больше нечего добавить. Ведь только доказательства и факты близки моему сердцу. Именем правосудия, отправляемого ныне в столь величественной форме, я молю и заклинаю ваши сиятельства уделить самое серьезное внимание этому важнейшему делу. Это единственная просьба, с которой я к вам обращаюсь. Я не стану призывать вас выносить решение с абсолютно чистой совестью... Было бы дерзостью предостерегать вас против необъективности; я знаю, что она исключается. Нет, я прошу вас о другом: пусть не только будет благородно ваше сердце и чиста ваша совесть, пусть к тому же проникнется убежденностью ваш ум, прилежно протудировавший представленные вам доказательства. Затем я и упомянул о примере палаты общин, чтобы призвать ваши сиятельства рассмотреть и взвесить факты — не слова, которые можно опровергнуть или извратить, а именно факты, голые факты. Да, я призываю вас тщательно продумать и взвесить в уме доказательства, относящиеся к этому делу. И тогда, мы уверены, вы придете к неизбежному выводу. Как только обнаружится истина, процесс будет нами выигран. Вот почему я, говоря от имени и по поручению палаты общин Англии, заклинаю ваши светлости вашей собственной честью, национальной честью нашей страны, общечеловеческой честью, порученной ныне вашему попечению, свято выполнить эту вашу обязанность. Палата общин призывает вас выполнить свой долг во имя благородства человеческого сердца; во имя величия справедливости, так нагло оклеветанной этим человеком; во имя высокого достоинства вашего прославленного суда столь широкого состава; во имя священной присяги, которую вы даете в торжественный час вынесения приговора; ведь она понимает, что этот приговор явится для вас величайшей наградой, которая когда-либо радовала душу человеческую, ибо он даст вам сознание того, что вы сделали человечеству самое большое благодеяние из всех, когда-либо полученных им по воле людей, а не по произволению всевышнего.

Милорды, я кончил».

Берк подхватывает оратора, падающего от изнеможения, и заключает его в объятия.

О том, как речь Шеридана была принята публикой, насмешливо повествует один из юмористов той поры:

«На галерее зрителей обнял ажиотаж:
«Похоже, мы попали в театр на бельэтаж.
Актер на сцене блещет — не пахнет тут судом!»
Клич «браво!», рукоплещут, в суде стоит содом.
Берк бурно обнял Шерри, на нос слеза стекла.
«Великому оратору, — воскликнул он, — хвала.
Сегодня пир закатым — ты во главе стола!»

Суд над Хейстингсом кончается ничем. Скучное разбирательство затянулось на долгие годы. Эффектный спектакль утратил всю привлекательность новизны. Отзвучали обвинительные речи — шедевры ораторского искусства. Ничего не осталось от заманчивого зрелища, ради которого литераторы и ученые отрывались по утрам от своих книг, а дамы, вернувшиеся в два часа пополудни с маскарада, в восьмом часу уже вставали с постели. Остались допросы и перекрестные допросы. Остались отчеты о состоянии счетов. Осталось зачение документов, составленных из тарабарских слов — сплошные лаки и кроры, земиндары и омилы, саннады и перуанны, джагири и наззары. Остались препирательства между организаторами импичмента и адвокатами защиты. Остались бесконечные переходы лордов из палаты в Вестминстер-холл и обратно, так как всякий раз, когда возникала необходимость обсудить правовой вопрос, их сиятельства удалялись для того, чтобы рассмотреть его отдельно.

В результате всего судьи расхаживали, а процесс не сдвигался с места. Год спустя дебаты по вопросу о регентстве и положении во Франции полностью отвлекли внимание общественности от индийских дел.

Все эти проволочки бесят Берка. С каждым днем он становится все более несдержанным, неистовым и раздражительным. Шеридану до того надоели эти его приступы запальчивости, что он шутливо признался Джорджиане, что просто мечтает о том, чтобы Уоррен Хейстингс сбежал, а Берк устремился за ним в погоню. Можно себе представить, какую сенсацию произвел Берк на суде, когда, заметив какой-то переполох в зале и уверившись в том, что подсудимый собирается совершить побег, он, забывая о всяких приличиях, возопил: «Наденьте ему наручники!»

Однако верхняя палата, обремененная многочисленными законодательными и судебными обязанностями, не имеет возможности уделять импичменту больше нескольких дней в году. К тому же было бы большой наивностью ожидать, что их сиятельства поступят охотой на куропаток ради безотлагательного осуждения величайшего из преступников или же ради безотлагательного оправдания ни в чем не повинного человека. (Удачно укомплектованный суд, регулярно заседающий шесть дней в неделю по девяти

часов в день, завершил бы процесс по делу Хейстингса менее чем за три месяца. Палата лордов не закончила разбирательства и за семь лет.)

Заседания суда

1788 г.—35 дней

1789 г.—17 дней

1790 г.—14 дней

1791 г.— 5 дней

1792 г.—22 дня

1793 г.—22 дня

1794 г.— 3 дня

1795 г.—24 дня

142 дня

Наконец весной 1795 года объявляется решение суда: обвиняемого, прегрешения которого к этому времени уже наполовину забылись, все жизненные планы которого пошли прахом и о положительных качествах которого стали понемногу вспоминать, торжественно оправдывают.

Что же касается официальной реабилитации парламентом, этого заветного желания Хейстингса, то ее он так и не дождался. Впрочем, в 1813 году он получил от парламента косвенное удовлетворение. Будучи вызван в палату общин в связи с продлением срока действия хартии Ост-Индской компании, Хейстингс, уже глубокий старик, вновь предстал перед барьером, где некогда держал ответ в качестве обвиняемого. На этот раз его встречают дружными аплодисментами, причем члены обеих партий. Ему предлагают сесть, после чего в учтивой форме допрашивают его как свидетеля. Когда по окончании вопроса он уходит, члены палаты встают и снимают шляпы. (Его недоброжелатели, напротив, надвигают шляпы на лоб.) На следующий день почтенного старца принимает палата лордов и оказывает ему такие же почести. Оксфордский университет присуждает ему ученую степень доктора права, а студенты устраивают ему в Шелдонском театре продолжительную и бурную овацию.

Много лет спустя после процесса Шеридан и Хейстингс встретились в гостях у принца-регента в Брайтонском павильоне. Шеридан подошел к Хейстингсу и сказал: «Ту роль, которую я сыграл в давно минувших событиях, не следует истолковывать как отражение моих личных мнений, потому что тогда я выступал в качестве общественного обвинителя, чья обязанность заключается в том, чтобы постараться при любых обстоятельствах обосновать обвинения, которые ему поручено выдвинуть». Хейстингс отступил на шаг,

посмотрел Шеридану в глаза, отвесил ему глубокий поклон и промолчал. «Он мог бы оказать мне большую услугу, — заметил потом Хейстингс, — сделав это признание лет двадцать тому назад».

Бывший губернатор прослыл человеком сердечным, верным в дружбе и безгранично щедрым. Все свое личное состояние он потерял, заботясь об общем благе. Скончался Хейстингс 22 августа 1818 года. Последнее, что он сделал в жизни, — это положил себе на лицо платок, чтобы уберечь женщин, сидевших у его постели, от мучительного зрелища смерти.

ГЛАВА 9

УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВО КОРОЛЯ

1

Во время обеда король вдруг впадает в безумное иступление, кидается на принца Уэльского, хватает его за горло и со словами: «Да как ты смеешь затыкать рот королю Англии!» — колотит о стену. Расстроенный принц проливает потоки слез.

Его величество, чьи отрывистые ответы и резкость с оттенком подозрительности указывают, казалось бы, на флегматический темперамент, на самом деле являет собой прямую противоположность флегматику. Вскоре после его женитьбы возникают опасения, что он повредился в уме по причине неудовлетворенной любви к леди Саре Леннокс. Тревожные симптомы появляются вновь в мае 1788 года. У короля распухают руки и ноги, и он даже поговаривает об отречении. Полагают, что наследственная подагра затронула его мозг. Но Георг, повернувшись спиной к своим придворным, заявляет, что, как бы ни называлась его болезнь, это не подагра. Поскольку у короля есть привычка, осердясь, поворачиваться спиной к собеседнику, этому заявлению не придают особого значения. Впрочем, кое-кто распускает слухи, что кормилицей короля была душевнобольная и что в результате применения шарлатанских снадобий у него помрачился рассудок.

Наблюдение за королем поручают Уиллису, врачу-священнику. Поначалу король и слышать не хочет о том, чтобы его лечащим врачом был священник. Уиллис напоминает ему, что Спаситель исцелял больных. «Вы правы, — говорит его величество, — но я что-то не слышал, чтобы он брал за это семьсот фунтов стерлингов».

В течение лета король лечится челтнемскими водами, но в его состоянии не наступает никаких улучшений. Его повседневные поступки становятся все более странными. Так, он состязается в беге с лошастью. Некого Клементса он спрашивает, не он ли бежал с его прежней любовью, леди Сарой. Он занимается вышиванием в

обществе молодых придворных дам и делает вид, что играет на скрипке. Художника Уэста он берется обучить искусству смешивания красок и тут же демонстрирует свое умение, смешивая их ногой. Король кланяется дубу, хватая одну из нижних его ветвей и с самым сердечным, почтительным видом трясет ее, словно пожимая руку старому другу. Он срывает с сэра Джорджа Бейкера парик и заставляет его смотреть на звезды, стоя на коленях. Вообще он становится крайне резок и груб. Однажды он объявляет, что принц умер и что у женщин есть теперь шанс стать добродетельными. Послы, присутствующие на приемах, замечают странности в его поведении, но придворные не принимают их всерьез. Лорд Фоконберг клянется, что решительно все видели короля в смиренной рубашке, тогда как лорд Солсбери дает голову на отсечение, что король мыслит не менее здраво, чем он сам, — последнее, может быть, и верно.

Однако мало-помалу правда о плачевном состоянии короля выплывает наружу. Он подолгу невнятно толкует о леди Пемброк, к которой давно был равнодушен, и в конце концов заявляет, что она — Есфирь, в то время как королева — Астинь¹. Ему чудится, что он женат на леди Пемброк, и, думая, что вокруг нет никого, кроме слуг, берет стакан вина, разбавленного водой, и пьет за здоровье «*conjugia mea dilectissima Elizabethia*»², имея в виду все ту же леди Пемброк. У него поражено и зрение. Пытаясь разглядеть свою собственную жену, он так близко подносит свечу к ее лицу, что чуть не поджигает ей волосы.

К королю приглашают доктора Уоррена (посвященный королем в рыцари, он стал сэром Ричардом), заседает кабинет министров, тайно совещаются во дворце Бэрлингтон-хаус лидеры оппозиции. Они срочно вызывают Фокса, путешествующего с миссис Армистед по Италии, а в отсутствие Фокса принц обращается за советом к Шеридану.

Зловещая болезнь Георга быстро прогрессирует. В Уиндзоре он занимается тем, что с невероятной быстротой диктует одновременно «Дон Кихота» и Библию пажам, которых затем возводит в звания баронетов и рыцарей Священной Римской империи. Он без умолку говорит тридцать два часа подряд — обо всем на свете. Он воеет, вопит и ломает руки. Король подозревает своих сыновей и отбирает у герцога Йоркского его полк. Он просматривает придворный альманах и ставит пометки против фамилий лиц, которых он предполагает сместить с должности. Он укладывает спать пажа, уверяя, что это излечит его собственную бессонницу, после чего немедленно

¹ Библия, книга Есфирь, гл. 1, ст. 12.

² «Моей дражайшей супруги Елизаветы» (латин.).

очищает его карманы. При виде Питта, чрезвычайно расстроенного и огорченного, Георг начинает неистовствовать, требуя у своего министра денег, которые, как ему мерещится, тот задолжал ему. Теперь не может быть никаких сомнений в том, что король помешался.

Вскоре после этого лорд-канцлер Тэрлоу тайно встречается с Шериданом. Надо полагать, парламент потребует установления регентства, Питта выставят вон, и что станет тогда с Тэрлоу? Даже самый лояльный из лордов-канцлеров должен позаботиться о себе, и он заверяет Шеридана, что не принадлежит к правящей партии.

Двадцать четвертого ноября возвращается Фокс. Он примчался в Лондон, проделав за восемь дней путь из Болоньи, в состоянии крайней тревоги: в дороге он услышал (слух этот оказался ложным), что умер его горячо любимый племянник, будущий лорд Холланд. Крайнее утомление и беспокойство сказались на его здоровье, он похудел, осунулся и слег. Состояние его все ухудшалось, и он мысленно простился с жизнью. Целый день он в лихорадочном возбуждении говорит с друзьями, собравшимися у одра больного. Его мысли блуждают, он не может ни на чем сосредоточиться. В конце концов его отвозят в Бат, где с врожденной способностью выходить целым и невредимым из всяких передрыг он вскоре поправляется.

Ничто так не возмущает Фокса, как совещание его заместителя с Тэрлоу. Эти переговоры с противником побуждают его с подозрением следить за каждым шагом Шеридана. Но на самом деле Фокс — быть может, не вполне осознанно — не может простить Шеридану того, что в сложившихся обстоятельствах он стал самым влиятельным советником принца.

Теперь Шеридан трудится день и ночь: то он держит совет с соратниками по партии, то его поднимают в полночь с постели и он до зари совещается с принцем, то его спешно вызывают на встречу с принцем в Бэгшот. По многу дней кряду он ложится спать не раньше пяти-шести часов утра. Еще бы, ведь он является признанным посредником принца, визирем Карлтон-хауса. «Бродяга» герцог Норфолкский предоставляет ему во временное пользование свое имение Дипдин, и Шеридан то и дело скачет на почтовых, направляясь то из Лондона в Лезерхед, то из Лезерхеда в Сент-Эннз, где он советуется с Фоксом.

Виги высоко заносятся в своих надеждах. Изю дня в день поступают все новые сообщения о критическом состоянии здоровья короля. Установление регентства представляется неизбежным, и между лидерами вигов завязывается ожесточенная борьба за посты и власть. Они ссорятся друг с другом, как завистливые школьницы. Шеридан только наблюдает и ничего не добывается для себя. Принц предлагает ему пост канцлера казначейства в случае назначения его

самого регентом, но Шеридан отклоняет это предложение. Он предпочел бы, говорит он в ответ, подниматься на такую высоту постепенно. (Когда об этом предложении становится известно другим, один пылкий приверженец Фокса адресуется ему открытое письмо, в котором патетически восклицает: «Шеридан во главе министерства финансов! Да ведь в Париже будет иллюминация и праздничное гулянье, а все враги Великобритании возблагодарят провидение».)

Двадцать седьмого ноября короля перевозят в лондонский пригород Кью. Его выходки прискорбны и нелепы. Он танцует менуэт со своим аптекарем, надев специально заказанный к этому случаю новый парик. Он чуть не разрывает на куски двух своих слуг и выказывает некоторое отвращение к королеве. Он предлагает выдать эту жирную, ужасную мадам Швелленберг, которая не дает проходу бедняжке Фрэнсис Бёрни, за одного из приставленных к нему санитаров. Властный Уиллис стращает его смиренной рубашкой, угрожающе размахивая ею у него перед носом. Король крепко сжимает в объятиях перепуганную малышку принцессу Эмили и отпускает ее только после того, как к нему приводят ее мать. Он расстается со своими пажами и на прощание дарит каждому по паре бритв. Он воображает себя квакером и облачается в квакерскую одежду.

Тем временем врачи разделяются на два лагеря, вигов и тори, на доктора оппозиции и доктора партии Питта. В один и тот же момент медики рапортуют, что король при смерти и что король выздоравливает, что он в здравом уме и что он полоумен. То нарастает, то спадает волна зловещих слухов. Мало кто заботится о самом несчастном больном.

Принц Уэльский приглашает лорда Лотиана в комнату короля после наступления темноты, дабы его сиятельство мог услышать безумные речи монарха в ту пору суток, когда его бред достигает апогея. А у Брукса принц передразнивает жесты своего свихнувшегося отца.

Питт настроен агрессивно. Он не видит никакой необходимости в назначении кого бы то ни было регентом. Оппозиция пускается на всякие хитрости, чтобы ускорить решение вопроса о регентстве, но Питт противопоставляет им требование провести новые разыскания в области исторических прецедентов, которые отнимают не одну неделю и в результате дают, по меткому выражению Шеридана, несколько сентенций «на плохой латыни и отвратном французском». Все это исследование — не больше как уловка с целью затянуть дебаты до того времени, когда врачи-тори смогут возвестить о выздоровлении монарха.

В этот момент на сцену выступает королева Шарлотта. Она ведет сложную игру. Болезнь короля кажется неизлечимой. Неизбежно

встает вопрос о регентстве. Она не доверяет своему любимому сыну и ненавидит его советников. Других своих сыновей она недолюбливает. Питта она боится. Он может, воспользовавшись созданным кризисом, стать верховным правителем и на время превратить Англию фактически в республику. Чего королева хочет и добивается, так это совместного регентства, которое позволяло бы ей заниматься политическими интригами. Узнав о происках своей матери, Георг, принц Уэльский, приходит в бешенство и несдержанно высказывается по ее адресу. По его примеру секретарь и доверенный человек принца Джек Пейн непочтительно отзывается о королеве в присутствии герцогини Гордонской. «Ах ты ничтожный, никчемный, распоясавшийся, наглый, дерзкий щенок, — восклицает ее светлость. — Да как ты смеешь так развязно говорить о королеве — матери твоего хозяина!»

Возобновляется сессия парламента, и на рассмотрение палаты общины представляются заключения врачей. Фокс, смело взяв слово, утверждает, что конституционное право на регентство принадлежит принцу Уэльскому. Питт, сразу же сообразив, какое преимущество получает он перед противником, радостно хлопает себя по бедрам и восклицает, обращаясь к другу, сидящему рядом на скамье министров: «Ну, сейчас я покажу этому джентльмену где раки зимуют!» И вот, как только Фокс садится, поднимается Питт. Доктрина, с которой познакомил палату предыдущий оратор, говорит он, является изменой духу и букве конституции. У наследника престола не больше прав на исполнительную власть, чем у любого другого человека в королевстве. В случае утраты монархом дееспособности только парламент уполномочен определять условия временного междуправления. «Поэтому пусть палата не торопится, — предостерегает он в заключение, — опрометчиво отменять и аннулировать полномочия парламента, с которым так тесно связано само существование конституции».

Шеридан видит, сколь пагубно было бы для оппозиции настаивать на принятии решения о праве принца на регентство, и пытается отмежеваться от позиции, занятой Фоксом. Однако в итоге прений министерская партия одерживает полную победу. Вечером того дня в клубе Уайта ликуют и торжествуют, у Брукса же царит уныние.

Питт, игнорируя право принца, поначалу предлагает передать регентство королеве Шарлотте, а под конец выдвигает ряд условий, так ограничивающих полномочия регента, что принц не обладал бы абсолютно никакой властью. Шеридан, отлично понимая, что единственно возможным компромиссом является принятие ограничений, убеждает принца и его партию согласиться с ними. Но на предложение Питта необходимо дать определенный ответ, и вот принц

рассказывает своих верных советников по разным комнатам, поручив каждому отдельное секретное задание. На первом этапе он прибегает к услугам Лофборо и Берка, а затем привлекает к работе Фокса и Эллиота. Наконец, он просит Шеридана составить одно официальное послание из двух — этакий сплав послания Лофборо (лед и стужа) с посланием Берка (пламень и жар).

Однако Шеридан, прежде чем сесть за работу, отправляется гулять и заглядывает в Девоншир-хаус. У него есть обыкновение заходить, прогуливаясь, во дворец Девонширских, чтобы шутливо поболтать с герцогиней. Отсюда он посылает Фоксу записку с уведомлением, что будет у него завтра в девять утра. Но он допоздна засиживается в гостях, в результате чего его компиляция, набело переписанная рукой миссис Шеридан, готова только к двум часам дня. Придя к Фоксу, он замечает свою записку, прищипленную на самом видном месте к камину. Чарльз сердито напускается на него. Шеридан отвечает: «Я такой, каким сотворил меня господь, и терпеть не могу, когда меня отчитывают».

В дальнейшем по поручению принца составляется еще немало посланий: Шеридан пишет пространное письмо относительно королевы, Эллиот — более краткое письмо самой королеве; все тот же Шеридан составляет памятную записку королю и т. д. и т. п. Раздорам в королевском семействе не видно конца. Принимается закон о регентстве. Ирландия заявляет протест в пользу принца и присылает своих делегатов. Их насмешливо называют «вождями индейцев», а на одном балу дамы встречают их шиканьем и возгласами неодобрения. Впрочем, в знатных домах их принимают и чествуют. Особенно грандиозный и изысканный прием в их честь устраивает принц в Карлтон-хаусе, настоящий «пир разума и праздник души». Среди гостей блистают Берк и Шеридан. Беседа так же легка и искриста, как шампанское, которое пьют гости, а шампанское здесь подают лучшее на свете.

Но все напрасно. 24 февраля 1789 года официально объявляется, к вящему огорчению вигов, о выздоровлении короля. В середине марта в Лондоне устраивают иллюминацию и звонят в колокола. Вскоре после этого в соборе святого Павла торжественно отслужили в присутствии монарха публичный благодарственный молебен по случаю его исцеления. Неунывающий Шеридан принимает этот удар судьбы с присущей ему бесшабашной веселостью. Шери, как называют его жена и герцогиня, просто-напросто поднимает бокал и под пытливыми взорами толпы любопытствующих провозглашает тост «за здоровье его величества».

Выздоровление короля служит сигналом к вакханалии увеселений: пышных празднеств, маскарадов, балов, оперных и театральных представлений. Королева с дочерьми посещает Ковент-Гарден,

но игнорирует Друри-Лейн, выказывая свое нерасположение к Шеридану. Клуб Уайта устраивает в Пантеоне великолепный торжественный прием на две тысячи персон. Клуб Брукса, дабы снять с себя всякое подозрение в нелояльности, устраивает праздничное представление в оперном театре на Хеймаркете. Капитан Роберт Мерри, «сей пламенный приверженец свободы», пишет «Оду на исцеление монарха». Поздравляя короля с выздоровлением, он восклицает:

«Пусть долго правит он страной *довольной*» —

и тут же добавляет:

«Но пусть останется она страной *свободной!*»

Миссис Сиддонс, милостиво согласившаяся олицетворять Британию, нараспев читает эту оду с приподнято-торжественным выражением. Закончив чтение, она, к приятному изумлению зрителей, садится в позу, с точностью воспроизводящей позу фигуры, изображенной на монете достоинством в одно пенни. (Разумеется, этот постановочный эффект приписывают Шеридану.)

В особняке миссис Стэрт устраивается грандиозный маскарад, на котором присутствуют три принца. Вестибюль и лестница особняка украшены цветными фонариками. Играет оркестр герцога Йоркского. Около часа ночи прибывают принцы, наряженные вождями шотландских кланов. Георг, унаследовавший от своего отца манию дознаваться, кто есть кто, с таким любопытством поглядывает на Бетси Шеридан, что миссис Шеридан почитает за благо представить ее принцу. Миссис Шеридан поет с принцем Уэльским, а леди Данкеннон все время бросает через стол нежные взоры, которые чаще всего остаются незамеченными.

Клуб Будля закатывает банкет-гала в увеселительном саду Рэ-нели; является туда и принц Уэльский со своим братом, герцогом Йоркским, который утром того же дня дрался на дуэли с подполковником Чарлзом Леноксом. Поводом к дуэли явился инцидент, происшедший в офицерской столовой Колдстримского гвардейского полка: подполковник Ленокс, хватив лишнего, поднял в присутствии принца тост за Питта, после чего герцог оскорбил своего заместителя на плацу в Добиньи. Дуэль стала неизбежной. Тогда принц, не на шутку встревоженный, рассказал обо всех обстоятельствах дела королеве в надежде, что она поможет предотвратить дуэль. Но королева скрыла эту историю от короля, хотя между инцидентом на плацу и дуэлью, состоявшейся на пустыре у Уимблдона, прошло целых десять дней.

Секундантом герцога Йоркского был лорд Роудон, секундантом подполковника Ленокса — граф Уинчилси, один из лордов-постель-

ничих. Секунданты отмерили двенадцать шагов и обусловили, что противники должны стрелять по их сигналу. Выстрелил только Ленокс — его пуля задела волосы герцога, но тот, нимало не встревоженный тем, что только что находился на волосок от гибели, откачался от своего выстрела. Он вышел к барьеру, сказал герцог, только потому, что подполковник хотел получить сатисфакцию; сам же он не питает к нему никакой вражды. Тогда лорд Уинчилси повел речь о том, что герцог, вероятно, не станет возражать против того, чтобы назвать своего противника порядочным и смелым человеком. Герцог ответил, что он ничего говорить не будет, стрелять же не намерен, но, если подполковник Ленокс не удовлетворен, пусть стреляет еще раз. На этом дуэль прекратилась. Секунданты пришли к заключению, что «оба дуэлянта вели себя с абсолютным хладнокровием и бесстрашием».

Тем временем принц, не находя себе места от волнения, нервно расхаживал по Карлтон-хаусу. Наконец вернулся герцог и очень холодно сообщил ему, что он остался цел и невредим, но не может вдаваться в подробности, так как торопится на условленную встречу с партнерами по крикету. Однако принц все-таки упросил его рассказать о дуэли во всех подробностях, и тем же вечером они вместе отправились на празднество, устраиваемое клубом Будля.

Успокоенный счастливым исходом дела принц на радостях выпивает слишком много бокалов за здоровье брата. Шеридан подходит к принцу и пытается уговорить его остановиться. Наконец он отодвигает от него бутылку со словами: «Вам больше *нельзя* пить!» Принц, вскипев, говорит: «Шеридан, я люблю вас, как никого другого, но никаких «нельзя» я не потерплю!» Впрочем, с помощью одного из гостей Шеридану удается увести принца с пиршества.

Когда герцог впервые после дуэли показывается в королевской резиденции в Кью, он застает короля сидящим в одной из передних комнат при открытой двери, ведущей в покои королевы. Завидев герцога, король на цыпочках подходит к двери, затворяет ее, а затем бросается к сыну, нежно обнимает его и со слезами на глазах поздравляет с благополучным избавлением от опасности. При появлении королевы он, отпрянув назад, держится сдержанно. Она словно не замечает сына, лишь спрашивает его, сухо и холодно, повеселился ли он на «Балу бутылки».

На балу у герцога Кларенса и на балу в честь дня рождения короля королева проявляет подчеркнутую благосклонность к подполковнику Леноксу, хотя принц и герцог Йоркский отказываются танцевать менуэт рядом с ним.

Кончается вся эта история тем, что офицеры Колдстримского гвардейского полка собираются по просьбе самого подполковника Ленокса для того, чтобы обсудить его поступок. Офицеры выносят

решение, что «он вел себя храбро, но неблагоприятно». Это является фактически порицанием, и подполковник Ленокс переводится в другой полк.

В конце мая король посылает герцогу Кларенсу письмо, в котором жалуется на поведение своих сыновей во время дебатов о регентстве. Принц созывает в Карлтон-хаусе совещание на предмет подготовки проектов двух писем королю: письма с объяснением и оправданием поступков его и братьев и письма с заявлением протеста против поведения королевы в истории с дуэлью. Присутствуют Берк, Шеридан и Эллиот. Составление оправдательного письма поручается Эллиоту, а письма-протеста — Берку. На новом совещании, созванном для рассмотрения проектов, участники приходят к выводу, что, протестуя против действий королевы, Берк «превзошел самого себя» в неистовой горячности. Чтение этого послания занимает два часа — оно чрезвычайно красноречиво, но бурно и необузданно. Герцог Портлендский, слушая, имеет еще более глупый вид, чем обычно: вообще-то он не так глуп, как выглядит, — у него большая практическая сметка, но сейчас он в полной растерянности. Лорд Норт сопровождает чтение какими-то нечленораздельными звуками — не то ворчанием, не то непрерывным покашливанием. Фокс потирает пальцами уголки глаз — верный признак того, что он озадачен.

Фокс и лорд Стормонт находят это письмо излишне резким, и принимается решение его не отправлять.

В течение нескольких недель вопрос остается открытым. Наконец, воспользовавшись каким-то предлогом, принц отправляет королю письмо, составленное Шериданом. В письме выражается сожаление по поводу причиненного королю неудовольствия и в самом конце излагается жалоба на королеву, сокращенная до одной-единственной фразы, исполненной достоинства: «Я не могу не воспользоваться этой возможностью, чтобы не посетовать на проявления менее любезного отношения королевы к моим братьям и ко мне, чем то, которое мы привыкли встречать с ее стороны; позвольте мне заверить Ваше Величество, что, если эти весьма неприятные проявления недоброежелательства счастливо прекратятся, событие сие будет столь же отрадno нашим сердцам, сколь и благожелательной душе Вашего Величества».

2

Умер отец Шеридана. Одолеваемый недугами Шеридан-старший решил для поправки здоровья совершить путешествие в Лиссабон, как Филдинг за тридцать четыре года до этого. Элизабет сопровождала его в поездке из Дублина в Маргит. Однако в Маргите, на-

рушив строгий запрет своего врача, он принял горячую морскую ванну, и у него начался сильный жар. Когда в Маргит примчался Ричард, Шеридан-отец был глубоко тронут его сыновним вниманием и незадолго до смерти с большим чувством сказал: «Ах, сколько беспокойства я причиняю тебе, Дик!»

ГЛАВА 10

РАЗБРОД В СТАНЕ ВИГОВ

В каждом политическом событии Берк усматривает либо божественный промысел, либо козни сатаны. Французская революция для него — дело рук дьявола. Новую конституцию Франции он считает воплощением «беспринципной, грабительской, жестокой, кровавой и тиранической демократии народа, чей образ правления — анархия и чья религия — атеизм».

К американцам, таким же вигам, как и он сам, которые сначала благопристойно дискутировали о конституционном принципе, а затем отстаивали его с оружием в руках, Берк мог питать вполне реальное сочувствие. Но в вызове, брошенном Парижем, в этом грандиозном взрыве народного энтузиазма, сей пророк упорядоченной свободы видит лишь зло и скверну. Дальше — больше: англичан, сочувствующих французской революции, он объявляет врагами государства и предаёт анафеме даже поборников парламентской реформы. Теперь Фокс и Шеридан стали в его глазах апостолами атеизма и бунта. Они же, в свою очередь, клеймят Берка как перебежчика, который появляется в их лагере в роли согладателя.

Выступление Шеридана 9 февраля 1790 года о бюджетных ассигнованиях на армию и о французской революции знаменует собой начало разрыва между ним и Берком.

Дебаты не должны выходить за рамки обсуждаемого вопроса об увеличении армии. Но тут поднимается Фокс и заводит речь о Франции. Франция, доказывает он, не представляет ныне никакой угрозы для Британии, и нападать на нее сейчас было бы подло. После краткого выступления Питта слово берет Берк, чтобы бросить перчатку своим соратникам. Берку известно, что Шеридан собирается произнести этим вечером эффектную речь в похвалу французской революции, и он вознамерился заранее нейтрализовать ее действие. Он обрушивает на Францию град оскорблений. Эта страна «вычерпана из системы европейских государств»; она «впала в глубокое забытие». Ее солдаты — это не граждане, а «гнусные наемники и бунтовщики, корыстные, подлые дезертиры, начисто лишённые чести и совести». Он считает своим святым долгом «противопоставлять этой странной целенице, именуемой французской революцией,

Славную революцию в Англии». При этом Берк стремится внушить членам палаты мысль, что Фокс подпал под влияние своих более молодых и менее опытных советников.

Это косвенный намек на Шеридана. Ответ Шеридана провоцирует окончательный разрыв с Берком. Ныне мозг Берка, говорит Шеридан, так же всецело одержим Францией, как и Уорреном Хейстингсом. Проводимые Берком различия между реформой и пововведением представляются игрой слов, софизмами. Расточаемая им лесть расходится с внутренним смыслом его речей. Все прекрасно знают, что он пришел сюда, чтобы посеять антифранцузские настроения. Если он хочет порвать со своими старыми друзьями, пусть скажет об этом прямо, и делу конец. Далее Шеридан, превознося политические принципы Берка, критикует его за неправильное их применение в сложившейся ситуации. Оратор защищает французскую революцию, которую считает движением не менее справедливым, чем революция английская. Он оправдывает действия Национального собрания. Как можно утверждать, что оно ниспровергло законы и отменило государственные доходы? Законы, являвшиеся «произвольными рескриптами капризного деспотизма», доходы, равносильные «национальному банкротству»! «Но какой же исторический урок, какую мораль должны мы извлечь из поразительных и ужасающих бесчинств черни? Ответ лишь один: преисполниться глубокого отвращения к той проклятой системе деспотического правления, которая так изуродовала и развратила человеческую природу, что ее подданные стали способны на подобные акты. Правительство, которое ни во что не ставит собственность, свободу и жизнь своих подданных, которое занимается вымогательством, бросает подданных в темницы и подвергает их пыткам, показывает пример безнравственности рабам, коими оно правит. И если в один прекрасный день власть переходит к поработленным массам, то надо ли удивляться тому, что они, как это ни прискорбно, не руководствуются в своих действиях чувствами справедливости и гуманности, отнятыми у них правителями?» И Шеридан кончает тем, с чего начал, — опровержением сделанного Берком противопоставления французской революции Славной революции в Англии.

Безмерно уязвленный тоном Шеридана Берк публично объявляет, что отныне он и его достойный друг, как он имел обыкновение его называть, идут в политике разными путями. Но все-таки он, Берк, мог бы рассчитывать на доброе и справедливое к себе отношение. Замечания же Шеридана никак не соответствовали «моменту расставания друзей». Ясно, что он «пожертвовал дружбой ради минутной популярности».

Выслушавая упреки Берка, Шеридан морщится, как от боли, и меняется в лице. Его глубоко огорчает заявление Берка, что с этого

времени их политические пути разошлись. Он делает все, чтобы помириться с Берком, но тот непримирим. Сэру Гилберту Эллиоту Берк говорит, что, хотя он и не питает враждебного чувства к Шеридану, их прежнюю дружбу уже не вернуть, даже если удастся уладить злополучную ссору. Нанесенную рану можно временно залечить, но исцелить нельзя.

Затем в бой бросается и Фокс, а за ним и его верные соратники. Берк склоняется к полному и окончательному разрыву. Однажды, выступая в палате в отсутствие Берка, Фокс наносит жестокую обиду своему старому другу: мало того, что он произносит целый панегирик Французской республике и подвергает осмеянию наследственные звания и титулы как изжившие себя нелепости, он ранит авторскую гордость Берка, насмехаясь над одним из красивых пассажей его «Размышлений о французской революции». Берк рассчитывает ответить на эту речь 15 апреля 1791 года. Однако Фокс не только предвосхищает Берка, взяв слово первым, но и причиняет Берку новую обиду: расточает восторженные похвалы конституции, недавно принятой во Франции. Он называет ее «самым колоссальным и величественным зданием свободы, которое было воздвигнуто на фундаменте честности и неподкупности когда бы то ни было и где бы то ни было». Не успевает Фокс сесть, как встает для ответа Берк. Увы, время уже позднее — три часа ночи, и Берк, прерываяемый доносящимися с обеих сторон палаты противоречивыми возгласами: «К порядку!», «К порядку!», «Правильно!», «Правильно!», «Регламент!», «Регламент!», «Регламент!» — вынужден сдерживать поток своего красноречия, но отнюдь не свое негодование. Подобные сцены, горько жалуется он, могут происходить лишь на политических сборищах соседней страны.

Наконец 21 апреля Берку предоставляется возможность выступить с ответной речью. Берк намерен пустить в ход все свое красноречие, всю свою эрудицию, весь свой обличительный пыл, чтобы опорочить принципы французской революции и унижить ее поклонников в Англии. Вигам становится известно об этом. Если Берк осуществит свое намерение, это неизбежно положит конец его долговременному альянсу с вигами и его личной дружбе с Фоксом. Поэтому Фокс приходит к нему домой на улицу Королевы Анны в надежде отговорить его от всей этой затеи. Берк, сердечно приняв гостя, спешит поведать, что, как ему рассказывали, король недавно очень благожелательно упомянул его, Фокса, имя; больше того, доверительно сообщает ему аргументы, которые собирается привести в своей речи. Вместе с тем Берк совершенно убедил себя в том, что он призван выполнить высокий долг перед своей страной, и остается глух к увещаниям Фокса. Больше они никогда не встречаются в домашней обстановке. По окончании разговора они рука об

руку направляются в палату общин — это их последняя совместная прогулка.

Окончательный разрыв происходит 6 мая 1791 года. Берк исполнен решимости вразумить своих сограждан, предостеречь их против опасности подражания примеру французов. В палате общин, заседающей в качестве комитета, обсуждается Квебекский билль (законопроект о предоставлении конституции провинции Квебек), и правила процедуры допускают известную широту тематики выступлений в ходе общих прений. Дело идет, утверждает Берк, о создании новой конституции для французской колонии, находящейся под английским управлением; так неужели же, вопрошает он, мы станем разрабатывать эту конституцию в соответствии с духом пресловутого Национального собрания? Но тут же его речь прерывают криками «регламент!». Фокс заявляет, что вряд ли высказывания Берка можно считать нарушением регламента, поскольку сегодня, по видимому, для ораторов предусматриваются привилегии и Берк мог бы с таким же успехом трактовать о «системе правления индусов, о государственном устройстве Китая или Турции либо о законах Конфуция». Все громче звучат возгласы протеста. раздаются шиканье, гиканье, свист. Поняв намек своих вожаков, их последователи прерывают выступление Берка не меньше восьми раз. С видом невыразимого презрения Берк швыряет им в лицо восклицание обезумевшего Лира:

«Все маленькие шавки, Трей, и Бланш,
И Милка, лают на меня. Смотрите»¹.

Какое-то время дискутируется вопрос о том, имеют ли высказывания Берка отношение к делу. Однако антагонистические политические страсти, распирающие грудь обоим главным действующим лицам, властно требуют выхода. Поэтому споры по процедурному вопросу мало-помалу стихают, и взоры всех присутствующих устремляются на Берка и Фокса.

Вначале Берк говорит довольно спокойно, но к концу его речи слушатели становятся свидетелями взрыва бурных чувств, прорвавшихся наружу каскадом несдержанных и пылких слов. Посреди этой тирады он, вдруг оборвав себя на полуслове, оборачивается к спикеру и говорит: «Нет, достопочтенный Фест, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла»². В разгар своих рассуждений о различиях между английской конституцией и французской Берк с гневом обнаруживает, что Фокс уходит, — как видно, выполняя свою угрозу покинуть палату. Вслед за Фоксом

¹ «Король Лир». — Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8-ми тт., т. 6, с. 509.

² Библия, Деяния апостолов, гл. 26, ст. 25.

поднимаются со своих мест и его последователи. Но тревога оказывается ложной. Фокс тотчас же возвращается, жуя ацельсин.

Далее Берк вспоминает историю их двадцатипятилетней дружбы, которая ни разу не омрачалась политическими разногласиями. Он уже стар, но коль скоро перед ним встал выбор: либо утратить дружбу, либо утратить свои принципы — он делает этот выбор. И после этих слов Берк возглашает: «Держитесь подальше от французской конституции!» Теперь Фокс по-настоящему встревожен. Наклонившись в сторону Берка, он шепчет: «Друзей вы не утратите!» Берк несколько мгновений молчит, а затем, глядя в лицо Фоксу, неумолимо произносит: «Нет, к сожалению, утрачу. Я знаю, какой ценою расплачиваюсь за мою линию поведения. Мною принесена поистине великая жертва... Я исполнил свой долг, хотя и потерял друга. Проклятая французская революция, она отравляет все, к чему ни прикоснется!»

Фокс встает, но никак не может начать. По лицу его катятся слезы, грудь сотрясают рыдания. Взволнована, как никогда, вся палата общин. Справившись с волнением, Фокс напоминает о том, сколько добра сделал в свое время Берк ему, тогда почти мальчишке, и выражает сожаление по поводу оскорбительных выражений, в которых Берк отзывался о нем сейчас. «Я не припоминаю, чтобы я прибегал к подобным выражениям!» — восклицает Берк. «Мой достопочтенный друг, — отвечает Фокс, — не припоминает эпитетов, он их забыл. В таком случае и я их забыл, полностью и навсегда. Я не хочу хранить в памяти столь мучительных воспоминаний, и с этого момента они изглажены и преданы забвению». Но все его слова примирения напрасны, и заключительные речи уже не могут ничего изменить. Питт деловито резюмирует прения, отметив исключительность того положения, в котором оказалась палата при рассмотрении данного пункта повестки дня, а именно Квебекского билля, но добавив при этом, что, по его мнению, Берк не вышел за рамки обсуждаемого вопроса.

Парламентарии расходятся по домам. Один из них, вызвавшийся подвезти Берка домой в своей карете, имел неосторожность с некоторым одобрением отозваться о взятой Фоксом линии. «Ах, вы один из них, — восклицает Берк. — Сейчас же высадите меня!» И лишь с большим трудом удается отговорить его от намерения выйти из кареты под проливной дождь.

Разрыв с Берком имел для вигов катастрофические последствия. Из партии выпел ее наставник и апостол, а за ним последовали и другие ее столпы. Это был настоящий массовый уход вигов, и в поредевших рядах оппозиции остались лишь сторонники Фокса. Если в прошлом оппозиция обладала в палате общин ста шестьюдесятью голосами, то под конец она не насчитывала и двадцати пяти.

«Милый Шери, верь мне и люби меня,— пишет миссис Шеридан своему мужу, который очень ее ревнует, потому что сердца многих и многих мужчин покорены ею. — Покарай меня господь, если хотя бы раз я не то что поступками, а даже мыслями своими дала тебе повод для минутного беспокойства... Я сделаю все, что угодно (и от чего угодно откажусь), чтобы ты был счастлив, но, если ты доверяешь мне, ты и сам не захочешь заставить меня поступать не так, как принято, или старательно избегать каждого мужчину, чье общество мне более приятно, чем общество мистера Р. Уилбрахэма и ему подобных... Пока я веду светский образ жизни и вращаюсь среди светских людей, мне, должна признаться тебе, не хватает смелости вести себя иначе, чем они. У меня нет дурных намерений, я не совершаю дурных поступков. Быть может, моему тщеславию льстит то внимание и предпочтение, которое оказывают мне некоторые мужчины, но ничего больше! Они *отлично знают*, что я беззаветно люблю *тебя* и *высмеиваю* любой намек на чувство или любовь с их стороны».

Однако после смерти Мэри Тикелл Элизабет стала все больше отступать от своих строгих правил. Ее письмо к миссис Кэннинг, жене Стрэтфорда Кэннинга (близкого друга Шеридана), подчеркивает происшедшую в ней перемену. «С утра ко мне являются визитеры, прерывая мои занятия в роли учительницы. Герцог Кларенс живет в сотне шагов от меня и заглядывает ко мне чуть ли не каждое утро... Мистер Фицпатрик и лорд Джон Тауншенд тоже наносят мне непрременный утренний визит. Раз два заходил в последние дни мистер Хорн. Короче, все эти джентльмены, как говорит Ш., любезны до чрезвычайности. Ч. Фокс сейчас в гостях у миссис Б. Мистер Б. отправился поохотиться в Суффолк, поэтому лорд Р. и Ч., полагая, вне всякого сомнения, что здесь они развлекутся не хуже, замещают его. Все они собираются тут каждый вечер, и, смею тебя уверить, это очень милые, приятные люди».

(Элизабет все еще очень красива. Число поклонников, которые хотели бы утешить миссис Шеридан, страдающую от невнимательности мужа, ничуть не преувеличено. Между прочим, сам-то Шеридан постоянно изменял жене.)

Но как бы легкомысленно ни вела себя Элизабет, она нежно любит своего Шери и тоже ревнует его. «Ты действительно очень хочешь свидеться со мной? И правда ли, что только дела мешают тебе быть со мной вместе? Милый, милый Шери, не сердись. Я люблю тебя и не могу быть вполне довольна жизнью, находясь вдали от тебя».

Более благоразумная, чем муж, она упрасивает его отказаться от жизни на широкую ногу и поселиться в сельской тиши, сохранив в городе скромную квартирку. «Прошу тебя, дорогой мой Дик, подумай об этом и свей здесь для нас уютное гнездышко, где я могла бы зажить в полное свое удовольствие... Вытащи меня из водоворота светской суеты, дай мне снова вкусить радости мирной и простой жизни, для которой я рождена, и ты увидишь, что я опять окажусь в моей родной стихии. Лишь бы ты был доволен — и я буду счастлива».

Шеридан не исполняет желания своей молодой супруги, женщины хрупкой и слабой, которая некогда едва не пала жертвой Мэтьюза, и она, не в силах больше страдать и терпеть, дает волю своим чувствам.

В 1791 году она была на волоске от того, чтобы расстаться с Диком и искать защиты у герцога Кларенса, который отчаянно добивался ее расположения. Отношения Шеридана с леди Данкеннон получили такую скандальную огласку, что лорд Данкеннон грозился предъявить ему иск. Герцог Девонширский спешно прибыл в Англию специально для того, чтобы уладить неприятности и замять это дело. И вот, после того как Шеридан умолял Элизабет простить ему неверность и клятвенно обещал никогда больше не изменять ей, призывая, если это случится, тысячи несчастий на свою голову, на голову жены и ребенка, он поверг «все семейство в Кюру в смятение и горе, поставив себя в глупое положение с мисс Ф. (губернанткой маленькой Эммы), притом так неловко, что на глазах у всех домохозяев его обнаружили в одной из спален в редко посещаемой части дома, где он с нею заперся».

Это настоящая пощечина, ужасное, непростительное оскорбление. Миссис Шеридан решает разъехаться с мужем. «Не знаю, как теперь все будет. Меня отговаривали миссис Б[увери], Ч. Фокс, а самого Ш. мое поведение так ужасно напугало, так сильно расстроило, что в конце концов я еще раз сменила гнев на милость, хотя, должна признаться, я потеряла всякую веру в его клятвы и обещания».

По возвращении в столицу миссис Шеридан с головой окунается в увеселения лондонского света, пытается забыться за игорным столом. Элизабет сообщает сестре Кристиане (так она называет миссис Кэннинг), что в финансовом отношении они с Шериданом «быстро катятся по наклонной плоскости». Была пущена грязная сплетня, будто Шеридан понуждал жену отдаться принцу Уэльскому, к которому она питала отвращение, надеясь получить от принца в виде компенсации 20 тысяч фунтов стерлингов. С рискованным сочувствием относится миссис Шеридан к герцогу Кларенсу. «Сердце не позволяет мне держаться с ним резко и сурово», — взды-

хает она и говорит о необходимости быть «непреклонной», чтобы раз и навсегда положить конец его домогательствам. Наконец, оскорбленная новыми изменами Шеридана, она уступает мольбам лорда Эдуарда Фицджеральда, который безумно в нее влюблен. Позже, уже будучи смертельно больна, она призналась, что родившийся у нее ребенок — от лорда Эдуарда. Это признание так шокировало сестру Кристиану, что она не пожелала ее больше видеть. Но Шеридан, вмешавшись, заклинал *«подругу, которую она любила больше всех на свете»*, не покидать ее; «ведь я-то знаю (и искренне надеялся, что Вы тоже знаете), — писал он, — что лучшего сердца не создавал господь и что если она была грешна, то лишь по вине тех, чье поведение заставило ее пойти на это, вопреки ее собственной природе».

Странная это была чета; оба тонкие, нервные, взвинченные, они оставляли впечатление одухотворенной, нежной и юной красоты, так и не достигшей полной зрелости. Миссис Кэннинг однажды застала такую картину: Шеридан бьется головой о стену в одном конце комнаты, а миссис Шеридан делает то же самое в другом.

«Наверное, Вы подумаете, что меня постигла болезнь короля, — пишет Элизабет своей приятельнице миссис Кэннинг, — после того как я поведаю Вам, что я, махнув рукой на все увещания, взяла да и отправилась на бал, который давал во вторник клуб Брукса. Во время моего утреннего туалета надо мной колдовали одновременно доктор и парикмахер, причем в конце концов таблетки вполне поладили с папиллотками. Ну, правда, не пропадать же всем потраченным деньгам и моему красивому платью! Поэтому довожу до Вашего сведения, что, наспех снаряженная Джастином, я пустилась в разгул и чувствовала себя лучше, чем ожидала».

Увы, на самом деле она чувствовала себя все хуже и хуже. Весной 1792 года Элизабет родила дочь, которой при крещении дали имя Мэри — в память о миссис Тикелл. После рождения ребенка здоровье матери совсем расстроилось. Появились симптомы недуга, являвшегося бичом семейства Линли, и старшая сестра шаг за шагом повторила скорбный путь младшей сестры. Ее тоже отправляют лечиться в Бристоль, к горячим источникам, куда она едет в сопровождении Шеридана и миссис Кэннинг. Там ее лечит доктор Бейн — молодой врач, сумевший исцелить себя от чахотки, который склоняется к мнению, что состояние больной еще не безнадежно. Дважды в день она совершает в портсезе прогулку среди известковых холмов, неизменно сопровождаемая мужем. «Завтра, — сообщает миссис Кэннинг, — мы поселимся в очаровательном белом домике с широкими окнами, выходящими в сад с клубничными грядками». Однако доктор Бейн вскоре отказывается от всякой надежды на благоприятный исход; он объявляет, что миссис Шеридан обречена и ей осталось жить от силы полгода.

По дороге в Бристоль Шеридан отправляет письмо, полное меланхолических упреков себе. «Я только что вернулся: долго бродил в одиночестве по взморью. Сочетание ночной тьмы, тишины, безлюдья и моря способно настроить на безрадостный лад любого человека, прожившего достаточно долго для того, чтобы с чувством сожаления поразмыслить о многих эпизодах своей прошлой жизни и без надежды в сердце смотреть в будущее. Как много лет минуло с той поры, когда по этим беспокойным, безрассудным волнам, которые я созерцал и слушал сегодня ночью, я увозил бедняжку Э., утасовую теперь у меня на глазах, от всех ее родных и близких... Как много пережито за этот промежуток моей жизни! Мучиться, вспоминая о прошлом, и ужасаться, размышляя о нем, — вот все, что мне остается».

Дневник Шеридана отражает чередование проблесков надежды с приступами страха, ужаса и отчаяния. Сегодня его поднимают в четыре часа ночи и зовут к одру больной, у которой начались сильные боли в боку. Назавтра ей пускают кровь и ставят шпанскую мушку. «Невозможно описать, — горько жалуется он, — как ужасно для меня одиночество в ночи». То вдруг начинает казаться, что силы возвращаются к ней, то они продолжают убывать. Все больше отдаляется она от земных интересов. «После рождения ребенка все ее помыслы обратились к религии; она размышляет, говорит и читает почти исключительно о божественном; я не перестаю изумляться ее спокойствию и силе духа. Все житейские заботы ее больше не занимают... Вчера вечером она попросила, чтобы ее усадили за фортепьяно. От бедняжки одна тепь осталась; она взяла несколько аккордов, глаза ее наполнились слезами, и слезинки закапали на ее исхудалые руки. Душа ее поселилась уже на небесах, брeнная же плоть тает и тает, и я напрасно пытаюсь заставить себя поверить в то, в чем, по-видимому, убеждена она: что не все обречено гибели. Поэтому я думаю послать за сыном, тем более что и она хочет его видеть».

Сестра Кристиана однажды позволила себе намекнуть на то, как предосудительно вела себя миссис Шеридан с лордом Эдуардом в прошлом. Это вызывает у Шеридана пароксизм горестных угрызений совести. «О, не говорите ни слова об этом, — воскликнул он. — Она настоящий ангел. Это я во всем виноват. Я был ее злым гением».

«Ангел» помирился со «злым гением»; однако доверять мужу миссис Шеридан больше не может и поручает свою новорожденную дочь заботам дорогой, дорогой миссис Кэппинг. Его же она просит поставить свою подпись под несколькими строчками, написанными ее рукой: «Настоящим я торжественно обещаю моей милой Бетси никогда и ни под каким видом не мешать миссис К. растить и воспитывать моего бедного ребенка. Я не могу написать всего, что

хотела бы, но он прочтет это у меня в сердце. Поклонись, иначе я не смогу умереть спокойно...»

За несколько недель до смерти миссис Шеридан причащается. Своей крестнице Элизе Кэннинг она оставляет в наследство часы, брелок и несколько ювелирных вещей; Джейн Линли — жемчуг. Служанке она завещает большую часть своего гардероба, специально оговорив, что ее мать не должна вмешиваться. «Медальон в виде часов, содержащий портрет моего дорогого мужа», она оставляет «моей дорогой и любимой подруге миссис Кэннинг»; ей же она дарит и свой портрет, который надлежит заказать любому художнику, за исключением Косуэя, а также кольцо. Миссис Шеридан выражает далее желание, чтобы «миниатюрный портрет моей милой Мэри» был вынут из оправы и «соединен с моим портретом, а локон ее волос — с моим локоном, ибо я надеюсь, что миссис Тикелл позволит моей горячо любимой Бетти носить этот медальон в память о двух своих несчастных матерях». Своей собственной матери она оставляет «новый черный плащ, который будет укрывать ее в зимнюю непогоду». Она раздаривает все остальные свои украшения и безделушки, завещает 25 фунтов стерлингов дворецкому Шеридана — Джорджу Эдуардсу и служанке. «Остаются еще некоторые частности, — пишет она в заключение, — которые я передала на словах миссис Кэннинг. Надеюсь, и эти распоряжения будут сочтены выражением моего искреннего желания... а сейчас у меня нет сил продолжать».

Приезжает их сын, общий любимец. В один из дней, когда миссис Шеридан чувствует себя получше, ее навещают приехавшие из Бата Линли, после чего возвращаются в Бат. Но 27 июня 1792 года в состоянии больной происходит резкая перемена к худшему. Она больше не может подниматься с постели. Шеридан снова вызывает ее родных. Поочередно приглашают их к постели больной, и каждому она дает какой-нибудь добрый совет, старается всех приободрить и утешить. Потом Линли уходят в надежде вновь повидать ее на завтра вечером, но увидеться с ней им больше не суждено. Шеридан и миссис Кэннинг всю ночь не отходят от кровати больной. Около четырех часов пополудни они замечают тревожные симптомы и посылают за врачом. Миссис Шеридан говорит ему: «Если вы можете помочь мне, делайте это скорее; если нет, то не заставляйте меня мучаться — дайте мне настойку опия». «В таком случае, — отвечает врач, — я дам вам опия». Но, прежде чем принять опий, она просит, чтобы к ней привели Тома и Бетти Тикелл. Тяжело и трогательно это последнее прощание. Шеридан стоит на коленях у изголовья, пока бьется сердце умирающей. Потом он отходит. Смерть наступила в пять часов утра. До самого своего последнего вздоха миссис Шеридан сохранила душевное спокойствие и ясное сознание.

Выполняя волю покойной, ее погребли рядом с сестрой. Похороны состоялись 13 июля в городке Уэлс близ Бристоля. Торжественной была церемония похорон. За катафалком следовал длинный и представительный траурный кортеж, вдоль всей бристольской дороги стоял народ. В соборе Уэлса собралось столько людей, что началась давка; из-за поднявшегося шума не было слышно могучего баса священника, которого в суматохе чуть не столкнули в склеп.

Отдавая дань памяти миссис Шеридан, современники с восторгом отзывались о ее красоте, обаянии, голосе, характере, всей ее жизни. Друг ее детства доктор Харрингтон сочинил в ее честь весьма трогательную латинскую эпитафию. Вот как она звучит в бледном переводе:

«В тебе и внешность и душа
Пленяли красотой,
Была ты дивно хороша,
Был чуден голос твой.
Ушла любимица хариг,
И старый друг над ней скорбит.

Печален стал наш мир с тех пор,
Как ты покинула его.
Зато вpleлись в небесный хор
Рулады пенья твоего.
Ты стала там, средь душ родных,
Венцом гармоний неземных».

Ночь за ночью Шеридан безутешно рыдает, как ребенок. Он спускается в склепы Уэлского собора и становится там на колени перед прахом той, кого он то носил на руках, то больно огорчал. Коленопреклоненный, застыв в молитвенной позе, он изливает над гробом покойной свою скорбь и поднимается лишь после того, как часы на башне бьют полночь. Сказав последнее прости, он покидает обитель смерти.

Однако чистый родник его горя очень скоро замутили попытки забыться и утешиться. Через каких-нибудь два месяца после кончины жены он влюбляется — и об этом судачит весь высший свет — в ослепительную красавицу Памелу, которая, как предполагают, является внебрачной дочерью герцога Орлеанского и этой интересной эмигрантки, мадам де Жанлис. Стараясь сделать приятное своей возлюбленной, он пишет ей стихи на французском языке, хотя не может связать по-французски двух слов; пять-шесть недель мать с дочерью гостят у него в загородном доме в Айлуорте. Прежде чем они отплывают во Францию, Шеридан объясняется Памеле в любви; очарованная «его приятным обхождением и благородным

характером», она с радостью принимает его предложение руки и сердца. Венчание должно состояться по возвращении матери и дочери из Франции через неделю-другую.

Что касается Шеридана, то на этом его роман с Памелой и кончился. В июне следующего года Памелу впервые увидел лорд Эдуард Фицджеральд; он был так поражен ее сходством с миссис Шеридан, «горько им оплакиваемой», что полюбил ее с первого взгляда и женился на ней. (Шесть лет спустя он умер в тюрьме от ран, полученных во время Ирландского восстания 1798 года, которое он возглавил, снискав посмертную славу героя, патриота и мученика.)

Шеридан, потерявший интерес ко всем делам и заботам, проявляет внимание и заботу к маленькой Мэри, которая воспитывается в Уэнстедде. Навещая ее, он всякий раз дарит ей то игрушку, то чепчик, то ленту и часами простаивает у кроватки ребенка. Но его ждет еще одна трагедия. Через полтора года после кончины миссис Шеридан, во время веселой вечеринки с танцами, устроенной в честь Тома, стремительно распахивается дверь, и появившаяся на пороге миссис Кэннинг восклицает: «Малютка, малютка при смерти!» Шеридан в отчаянии. Он делает все, чтобы спасти девочку, но скоро наступает конец.

Обе эти смерти вызвали много поразительных по своей трогательности выражений сочувствия. В своих письмах Тикелл и Алисия соболезнуют Шеридану, стараются ободрить его, вселить в него надежду. Но Шеридан долго остается безутешен; перестав сдерживаться, он пытается залить горе вином.

ГЛАВА 12

ГЕККА

1

На званом вечере в Девоншир-хаусе в числе приглашенных оказалась юная Эстер Джейн Огл, дочь настоятеля Уинчестерского собора. Юной леди, по-видимому, доставляло удовольствие говорить окружающим дерзости и вообще все, что придет ей в голову. И вот, завидев приближающегося к ней Шеридана, мисс Огл восклицает: «Не подходите, пугало вы этакое, чудовище ужасное!» — хотя с ним она даже не знакома. Шеридан уязвлен. Он хочет показать грубиянке, на что он способен, и в результате попадает в сети, расставленные этой молодой особой, которая теперь находит его очень умным. Она решает, что произведет фурор, завоевав сердце такого знамени-

того человека. Итак, назначается день свадьбы. Шеридану уже сорок три, его невесте еще не исполнилось двадцати.

Шеридан вызывает к себе Тома. Приехавший сын напрасно дожидается отца в Гилфорде: в тихий полуночный час будущий новобрачный с грохотом проносится мимо в карете, запряженной четверкой лошадей; ярко горят фонари кареты, пылает сердце жениха, горящегося в Лондон. «Мой отец, — пишет Том своему гувернеру Смиту, — битый час доказывал мне вчера вечером, что это — самое разумное, что он мог сделать. Очень умно с его стороны, правда? Кто из нас больше нуждается в воспитателе, я или он? Из нас двоих я несравненно более рассудителен».

Свадьба состоялась 27 апреля 1795 года, через четыре дня после оправдания Уоррена Хейстингса и почти сразу же после бракосочетания принца Уэльского с несчастной Каролиной Брауншвейгской. Первый джентльмен Европы в день своей свадьбы был пьян, Шеридан в день своего бракосочетания был опьянен счастьем. Медовый месяц новобрачные проводят в старом доме в Уэнстедде, откуда «старенькая матушка» посылает Тому свои благословения.

Их брак не был благоразумным союзом. Миссис Шеридан обладала капризным характером, а Шеридан потакал всем ее прихотям. Она оказалась отчаянной модницей и страшной мотовкой. Она хорошо пела, хорошо танцевала, но не проявляла особого интереса к интеллектуальным материям. К политике она оставалась совершенно равнодушной. Она охотилась за знаменитостями и много лет спустя нагоняла скуку на лорда Байрона. Ей правилом считалось, что она пленяет прославленных людей. Вместе с тем она была храброй и верной женой, безгранично преданной своему мужу. Сама в течение пяти лет чахнувшая от смертельной болезни, она думала только о «дорогом своем» Шеридане. «Я всей душой, всем сердцем предана Шеридану», — с жаром говорила она лорду Холланду.

Шеридан до конца жизни любил свою Гекку, как он ее называл. Подобно Бобу Акру, он был неистощим на изъявления любви и нежности. Как только не обращался он к ней в своих письмах: «любимая моя Гекка», «моя милая, милая Гекка», «дорогая, возлюбленная моя», «моя милая девочка», «жизнь моя, радость моя», «жизнь моя, душа моя», «моя прелестная девочка», «родная моя женушка», наконец, «прелестнейшая из женщин, услада моих глаз», «самая дорогая из всего, что было дорого моему сердцу». Заканчивал же он свои послания к ней ласковыми благословениями: «благословляю твои косточки», «благословляю твой лобик, твои круглые, пухлые локотки и твои ниспадающие локоны», «благословляю тебя, моя собственная женщина, моя Гекка, которую я с каждой встречей люблю все больше и по которой я после каждого расставания все больше тоскую», «благословляю твои глазки», «благословляю твои колени

и локти», «благословляю тебя бесконечно, всю, с головы до ног», «благословляю твое сердечко, единственная моя настоящая радость на земле», «веки твои прекрасные благословляю, возлюбленная моя», «благословляю твои дни и ночи».

Одна только мысль о возможном охлаждении причиняет ему страдания. «Никогда еще,— пишет он в 1799 году,— я не нуждался так в твоей доброте. Не обмани же моих ожиданий, родная моя». Он сходит с ума, когда не получает от нее регулярно писем. «Боже милостивый, ни одной строчки! Да если бы в прошлом я услышал голос с неба, предрекающий, что со мною будут обращаться подобным образом, я все равно бы не поверил!» Но, по ее собственному признанию, она редко пишет ему по той простой причине, что ей нечего сказать. «Умоляю, мой милый Ш., пиши, потому что получать твои письма для меня самая большая радость; прочтя твое письмо, я чувствую, что вроде бы и мне есть что написать тебе». На это он отвечает: «Пришедшее сегодня утром твое милое письмо, которое, как и прежде, начинается словами «Мой дорогой Ш.», развеяло мое уныние вернее, чем любое другое радостное событие».

Первая жена называла Шеридана «Шери», вторая звала его просто «Даном», «беднягой Даном», который «в одиночестве меланхоличен, как надгробие» или как «тисовое дерево на кладбище». Шеридан покупает имение в Полсдене. Он надеется обрести счастье на поприще земледелия, но преуспевает в сельскохозяйственных трудах еще меньше, чем Берк. Ему нравится изображать из себя сквайра, подобно тому как сэру Вальтеру Скотту нравится играть в шотландского помещика-лаэрда. Так или иначе, перед женитьбой Шеридану удастся положить на счет невесты кругленькую сумму в 15 тысяч фунтов стерлингов, которая по распоряжению папаша-настоятеля должна была оставаться замороженной вплоть до того момента, когда вместе с наросшими процентами она составит 40 тысяч фунтов.

14 января 1796 года в семье Шериданов происходит радостное событие: рождается сын. При крещении — обряд этот, как шутили газеты, был произведен «в купели оппозиции», поскольку крестными отцами стали Грей и Фокс, — младенца нарекают Чарлзом Бринсли. Шеридан души не чает в малыше, которого зовут Робинот. Хопшпер пишет портрет ребенка, изобразив его сидящим на спине у матери. Шеридан постоянно заботится об образовании мальчика, посылает его учиться в привилегированные школы Уинчестера и Кембриджа. «Прилежание, прилежание, прилежание», — внушает отец сыну, стараясь привить ему усердие к учебе. Впрочем, как метко сказал Ларошфуко, «старость любит давать хорошие советы, так как не может больше подавать дурной пример». Тем не менее Шеридан отказывает себе порой в самом необходимом, чтобы заплатить за образование сына

и обеспечить его матери безбедное существование. Он говорит, что ради ее счастья он бы охотно сам отрезал себе руку.

И все же в конце концов между Шериданом и женой происходит разлад. Его привычка скитаться с места на место, его пьянство, его флирты и ее вспыльчивый характер — все это порождает трения и воздвигает между ними временный барьер. Чего только не приходится ей выносить! Однажды подруга застаёт миссис Шеридан в момент, когда она, вне себя от ярости, мечется по гостиной, называя своего мужа негодяем. После некоторого колебания она раскрывает подруге причину своего гнева: как она обнаружила, любовные письма Шеридана к ней — лишь копии его писем к первой жене.

Шеридан все так же безумно увлечен своей прежней пассией — леди Бессборо (в прошлом леди Данкеннон). Он преследует ее по всему Лондону. Один раз, придя к обеду, он засиживается у нее до позднего вечера. Наконец, убедившись, что гость собирается провести с ней не только вечер, но и ночь и что речи его принимают не вполне подобающий характер, она, чтобы отделаться от него, посылает за портшезом. Однако избавиться от Шеридана ей не удается: зная, что нигде в этот поздний час ее не примут, она, совершив тур по улицам, возвращается домой; Шеридан все время идет следом. К счастью для себя, она успевает проскользнуть в дверь и распорядиться, чтобы никого не принимали. Взяв себя наверх, она слышит, как Шеридан препирается с привратником. Походив с час перед домом, он снова спрашивает леди Бессборо; она просит передать ему, что принять его, к сожалению, не может, так как нездорова. Она не в настроении выслушивать чрезмерные похвалы, оскорбления, угрозы и комплименты.

Куда бы она ни пошла, он направляется за ней. Несмотря на то, что они стали мишенью многочисленных острот и эпиграмм, она упорно отказывается пожать ему руку, тогда как именно ее рукопожатия он, по-видимому, теперь столь настойчиво добивается. Он ходит за ней по пятам по всему дому: из одной комнаты в другую и обратно, вверх и вниз по лестнице, даже в детскую. Он бросается перед ней на колени. Он кланется отомстить ей; однажды, помогая ей сесть в карету, он хватается ее руку и так стискивает ее, что на глазах у леди Бессборо выступают слезы и она невольно вскрикивает.

Шеридан умоляет ее (стоит только лорду Бессборо отвернуться) простить его и пожать ему в знак примирения руку. Он пускается на всякие хитрости, чтобы подольше побыть с ней. Когда ее карета подъезжает к дверям, он начинает дрожать и кашлять, жалуется на простуду, головную боль... и просит позволить ему остаться в их доме, если это не причинит семейству неудобств. Супруги Бессборо не могут ему отказать — он остается у них. Он целый вечер проводит в ее театральной ложе, раз-другой пытается заговорить с ней, а за-

тем, забившись в угол, погружается в меланхолическое молчание, вздыхает и притворно плачет. Сидя в неподвижной позе, он гипнотизирует ее взглядом, что, конечно, беспокоит ее и привлекает всеобщее внимание. Когда леди встает по окончании спектакля, она роняет шаль и муфту; Шеридан поднимает упавшие вещи и с комически смиренным видом передает их мистеру Хиллу, чтобы тот вручил их владелице. Леди Бессборо уходит под руку с лордом Морпетом, но Шеридан идет за ними, а затем поспешно занимает позицию у выхода рядом со стоянкой экипажей.

На балу Шеридан следует за леди Бессборо как тень и хочет сесть рядом с ней за ужином (все время притворно плача), но тут лорд Морпет, придя к ней на выручку, усаживает ее рядом с принцем Уэльским, а сам втискивается между ней и Шериданом, за что она ему весьма признательна. Шеридан пишет ей неприличные письма — анонимно. Во время другого бала ему удается сесть за ужином напротив леди Бессборо, и он бросает на нее поочередно такие умоляющие и такие свирепые взоры, что окружающие это замечают и принимаются расспрашивать ее о причине. Она отвечает, что он просто-напросто пьян, и это соответствует действительности. Когда она встает из-за стола, он, улучив момент, ловит ее руку и молит обменяться с ним рукопожатием. Она вырывается и уходит; он тут же догоняет ее и начинает громко упрекать в жестокости. Леди Бессборо, вконец расстроенная, спешит вон из комнаты и, спасаясь от своего преследователя, присоединяется к весьма церемонной компании пожилых леди. Но тот имеет наглость ворваться в этот чопорный кружок и пуститься в громогласные объяснения, оправдывая свое поведение, прося у нее прощения за все обиды, которые он ей когда-либо нанес, и заверяя, что он никогда не переставал любить, чтить и обожать ее, единственную свою настоящую любовь. Чопорные старые дамы в полном смятении. Леди Бессборо готова провалиться сквозь землю. По счастью, Шеридан так явно пьян, что его выходку объясняют этим.

Гекка просит леди Бессборо прийти к ней, и та дает ей знать, что нанесет визит ночью, после того как все лягут спать. В полночь она садится в портшез и некоторое время спустя оказывается в спальне Гекки. Не успели они разговориться, как дверь с треском распахивается, и на пороге появляется Шеридан, не вполне трезвый. Происходит нелепая сцена объяснения. Шеридан начинает просить у леди Бессборо прощения, взывает к ее милосердию и жалости, называет себя несчастным страдальцем и уверяет, что даже сейчас он любит ее сильнее, чем какую бы то ни было другую женщину. «Не исключая меня? — восклицает Гекка. — А мне ты всегда говорил, что единственная женщина, которую ты любил в своей жизни, — это я!» — «Так оно и есть, Гекка, родная моя; и ты сама, конечно же,

впасть это, ты-то ведь знаешь, что тебя я люблю больше всех на свете». — «Если не считать ее?» — «Фи, девочка, не говори глупостей!» Затем он, снова обращаясь к леди Бессборо, упрекает ее в жестокости, укоряет ее за то, что она поссорилась с ним, а теперь противопоставляет против него Гекку. Гекка время от времени прерывает его ламентации фразами вроде: «Как же так, Шеридан, а мне-то ты все время твердил, что леди Бессборо преследует тебя и что ты отвергаешь все ее страстные домогательства, как новый Иосиф?» И так далее в том же духе до трех часов утра, когда леди Бессборо наконец истаает, чтобы уйти. Шеридан хочет отправиться вместе с ней и с такой силой хватает ее на глазах у Гекки за руку, что леди Бессборо вынуждена позвать на помощь свою служанку. Ускользнуть ей удается только после того, как Шеридана запирают в комнате.

Гекка больно уязвлена и страдает. Еще одна такая любовная история, грозитя она, и она уйдет от него. Но, к счастью, Шеридан уже исцелился от второй безумной страсти своей жизни — от пылкой влюбленности в миссис Кру. Чары Аморетты рассеялись. Темноволосая и черноглазая Аморетта все еще хороша собой, но она очень располнела, а над верхней губой у нее появился заметный пушок. Кроме того, бывшая вдохновительница Шеридана, которую он почитал за идеал, превратилась с годами в скучную, заурядную особу. По словам Гилберта Эллиота, она стала такой же, как все, ни рыба ни мясо. Больше всего на свете ей нравятся салонные беседы, всяческие споры и обсуждения. Из писаной красавицы получилась записная говорунья. Притом не поймешь, чего у этой любительницы остроумной мужской беседы больше — подлинного вкуса и искреннего интереса или же тщеславия и стремления восхищать собеседников. Она становится утомительной. Она рассказывает о себе и своих знакомых такие вещи, что слушатели немеют от изумления. Она жадно интересуется политическими новостями, выведывает все подробности: что и как, почему, а какого мнения тот-то и тот-то, во что это выльется и чем дело кончится? Ее мысли скачут с такой быстротой, что леди Даглас не может поспеть за ними, да и сама миссис Кру, кажется, тоже.

Восторженная поклонница Берка, чрезвычайно гордая своей дружбой с ним, миссис Кру превратилась (после раскола в стане вигов) в законченную аристократку по убеждениям, сохранив притом свою прежнюю симпатию к Фоксу и его политической линии. Берк витийствует перед ней об ужасах французской революции, и она повторяет его слова в разговоре с другими своими друзьями, с Греем, Шериданом и прочими. Тем, конечно, не составляет труда опровергнуть излагаемые ею аргументы Берка и заставить ее во мно-

гом согласиться с ними, так что при следующей же встрече с нею Берк с разочарованием обнаруживает, что все его красноречие пошло впрок, и она оспаривает его теории. Это повторяется так часто, что Берк, потеряв всякое терпение, однажды замечает: «Наша приятельница миссис Кру совершенно невыносима. Она напоминает мне шхуну из «Тысячи и одной ночи». Я строю и оснащаю ее, накрепко сколачиваю каркас ее воззрений гвоздями и отправляю в плавание без единой течи, но стоит ей приблизиться к Горе [демократическая партия во французском Законодательном собрании], как та силой магнетизма притягивает все гвозди, вбитые мною в борта, и шхуна разваливается на куски».

Одна из эскапад Шеридана едва не оказалась фатальной. У него имелась привычка брать с собой в кофeyню шкатулку с бумагами, которые он там просматривал. И вот в один прекрасный день он по ошибке берет вместо шкатулки с бумагами шкатулку с любовными письмами, gages d'amour¹, локонами и прочими трофеями, сохраняемыми из тщеславия. Подвыпив, он забывает шкатулку на столе, и она попадает в руки шантажисту, который хочет получить за ее содержимое сотню гиней либо с Шеридана, либо с заинтересованной дамы. Шеридан советуется со своим адвокатом и с юристом Друри-Лейна. Заручившись поддержкой полицейского чиновника, они с пистолетами в руках врываются в дом злоумышленника, заглаживают сокровищем и предлагают хозяину подать на них в суд, если он только наберется смелости.

2

К своему сыну Тому Шеридан относится, скорее, как беззаботный старший брат. Он гордится смышленностью юноши, но не обеспечивает ему возможности систематически учиться и овладеть какой-нибудь профессией (профессия военного, которую одно время Том пытался освоить, в счет не идет). «У тебя, Том,— благодушно замечает отец,— достаточно талантов, чтобы каждый день тебя звали к обеду первые люди Лондона, а это немало; но на большее не рассчитывай, ибо дальше ты не пойдешь». Однако Том рассчитывает пройти в парламент. «По-моему, отец,— говорит он,— многие члены палаты, которых называют великими патриотами, на самом деле великие пустозвоны. Что касается меня, то, если меня изберут в парламент, я не стану связывать себя ни с какой партией, но начертаю у себя на лбу четкими буквами надпись: «Сдается внаем». А под этой надписью, Том,— говорит ему отец,— подпиши: «Без мебели».

¹ Gage d'amour — залог любви (франц.).

Шеридан постоянно тревожится о здоровье сына, панически боится какого-нибудь несчастного случая. Приехав как-то зимой в Уинстед, он с большим беспокойством обнаруживает, что Том и его гувернер Смит увлекаются коньками и намерены продолжать кататься, пока держатся холода. Смит успокаивает разволновавшегося отца и, как ему кажется, убеждает его в безобидности этой забавы. В одиннадцатый вечера Шеридан велит заложить карету, так как, по его словам, он еще должен попасть в Друри-Лейн, а это добрых девять миль езды. Проводив хозяина дома, Смит с победным чувством поднимается по лестнице, как вдруг у ворот раздается нетерпеливый звонок. И первое, что видит Смит, подойдя к воротам, это, конечно, прекрасные глаза Шеридана, «сверкающие за решеткой порот ярче, чем фонари кареты».

«Не смейтесь надо мной, Смит,— говорит Шеридан,— но я не нахожу покоя, ни о чем другом думать не могу, как об этом проклятом льде и катании на коньках. Обещайте мне, что Том больше не будет кататься».

Шеридан любит своего беспечно-веселого сына, но он часто попадает в стесненные финансовые обстоятельства и поэтому бывает вынужден отказывать Тому в деньгах. Тот горько жалуется. «Разве я не ассигную тебе 800 фунтов в год?» — рассерженно вопрошает отец. «Ассигновать-то ассигнуешь,— отвечает Том,— да только никогда не выплачиваешь!»

Когда же Том объявил ему о своем намерении жениться (его отношения с девушкой зашли слишком далеко), Шеридан пригрозил: «Смотри, Том, если ты женишься на Каролине Кэллендер, я не оставлю тебе ни гроша». «А имеется ли он у вас в настоящее время, сэр?» — дерзко спросил проказник.

Шеридан находит женитьбу сына неблагоприятной затеей. Если бы не этот скоропалительный брак, говорит он, Том стал бы самым богатым человеком в Англии. Спору нет, отвечает Том, жена его бедна, но зато она вышла из трудолюбивой семьи — недаром ее отец пользуется репутацией самого большого мошенника в Англии.

Миссис Томас Шеридан очень миловидна, очень рассудительна, приветлива и мягка — мягка настолько, что Том относит чрезмерную кротость и уравновешенность к недостаткам ее характера. Главное же, он обвиняет ее в такой панической боязни причинить кому-нибудь беспокойство, которая, по его словам, равнозначна аффектации. Он утверждает, что, когда нерадивая кухарка забывает приготовить обед, миссис Томас Шеридан восклицает: «О, ради бога, не утруждайте себя из-за меня. Я вполне обойдусь чашкой чаю». Том уверяет, что, если бы на ней вспыхнуло платье, она беззлively протянула бы руку к колокольчику, робко позвонила и искательно спросила бы вошедшего слугу:

- Скажите, пожалуйста, Уильям, нет ли в доме воды?
— Нету, сударыня, но я могу спросить у соседней.
— О, нет-нет, не стоит беспокоиться. Я думаю, огонь сам потухнет.

Том хочет спуститься в угольную шахту ради удовольствия говорить потом, что он спускался в шахту. «А разве обязательно для этого спускаться в шахту?» — спрашивает Шеридан.

Однажды Том заводит с отцом философский разговор о детерминизме. «Скажи мне, отец, — говорит он, — приходилось ли тебе делать что-нибудь в состоянии абсолютного безразличия, то есть без малейшего мотива или побуждения?» Шеридан, которому обсуждение подобных материй с сыном не доставляет никакого удовольствия, говорит:

— Да, конечно.

— Правда?

— Правда!

— Как?! С полнейшим безразличием — с абсолютным, стопроцентным равнодушием?

— Да, с полнейшим, абсолютным, стопроцентным равнодушием.

— Так скажи мне, дорогой мой отец, что же это такое, что ты способен делать с полнейшим, абсолютным, стопроцентным равнодушием?

— Пожалуйста: слушать тебя, Том.

Шеридан часто похвально дразнит своего рода. Ведь настоящая его фамилия, уверяет он, — О'Шеридан, и предки его были некогда ирландскими принцами. Во время обеда, заданного Театральным фондом, Шеридан, сидящий во главе стола, с присущим ему красноречием распространяется на эту тему, пока Джо Манден, которому надоело наконец слушать, не прерывает его: «У меня, мистер Шеридан, нет и тени сомнения в истинности ваших слов. Осмелюсь заметить, вы прямой потомок принцев. Последний раз, когда я видел вашего отца, он был принцем Датским».

Однажды Шеридан в присутствии Тома заявляет, что, гордясь своей принадлежностью к такому знатному роду, как О'Шериданы, он из скромности опускает «О». «Зато другие отдают должное нашему благородному происхождению, — замечает Том. — То и дело слышишь: «О, Шеридан, когда же вы отдадите долг?»

Том обладает веселым, жизнерадостным, добрым и открытым характером. Хороший певец, танцор, боксер и выпивоха (один из друзей восторженно восклицает: «С Томом можно пить и впотьмах»), он блещет на всех лондонских балах и раутах.

Его губернёр жалуется сэру Вальтеру Скотту: «Знания в него втолкнуть невозможно, как ни старайся». «Точь-в-точь как вещи и наполненный до отказа сундук,— подхватывает сэр Вальтер.— Ног, проку здесь не добьешься — все вылетает обратно вам же в лицо».

До конца своей жизни Том оправдывает характеристику, которую доктор Парр дал ему, когда он был еще мальчишкой: «Замечательная острота ума, прекрасное чувство юмора, бойкий язык, но никакой способности к усвоению знаний».

ГЛАВА 13 ДРУРИ-ЛЕЙН

1

Заботы о театре, наряду с делами государственными, поглощают внимание Шеридана. С течением времени положение в театре становится все более сложным и запутанным. После ухода Гаррика Друри-Лейн дрейфует, словно потерявший управление корабль, без руля и без ветрил, без четкого плана, без дисциплины, без энергичного и бдительного капитана. Одной из главных причин беспорядка, царящего за кулисами, является неспособность лиц, исполняющих обязанности режиссера, справиться со своим делом. Неудачной оказалась режиссерская деятельность отца-латиниста, назначенного на этот пост в 1778 году: слишком уж он был педантичен, старомоден, придирчив. Кинг, преемник старины Шерри, был, напротив, слишком добродушен, чтобы преуспеть в должности режиссера, и его правление ознаменовалось лишь одним памятным событием — возвращением на сцену миссис Сиддонс. Сезон 1788 года Друри-Лейн открыл вообще без режиссера, и лишь в октябре этого года режиссерский пост принял Джон Филипп Кембл, после чего в театре наступил период возобновления шекспировских постановок в отличном оформлении и превосходном исполнении. Шеридан был с Кемблом предельно тактичен. Он предупреждал Пика, казначея Друри-Лейнского театра: «Платите Кемблу по возможности аккуратно». В другой раз Шеридан говорил ему же: «Выплата десяти фунтов нас не разорит. Поэтому я самым настоятельным образом прошу заплатить ему сегодня по выданному мною векселю. В Полсден приехала его жена, и после того, что там произошло, отправить его туда без денег значило бы обречь его на муки ада».

Друри-Лейн стал настоящим царством хаоса и анархии. В день представления комедии «Много шума из ничего» приходится заменять исполнителей трех главных ролей. В полдень от мистера Хен-

дерсона поступает известие, что играть сегодня он не может. Администрации театра удается заменить его в роли Бенедикта актером из Ковент-Гардена. Чуть позже и мистер Парсонс присылает уведомление о том, что он не сможет играть. Мистер Мууди заменяет его в роли Протоколиста. Часа в четыре пополудни приходит сообщение от мистера Вернона: сегодня он играть не может. Еще одна замена — вместо него роль Бальтазара будет играть мистер Мэтток. Суфлер Хопкинс, несчастный человек, страшно рад, что ему так ловко удалось заделать зияющие бреши в составе исполнителей. В разгар первого действия до его сведения доводят, что мистер Лэмеш, который должен играть роль Борачио, не явился в театр. Не найдя в тот момент никого для замены, Хопкинс вынужден полностью выбросить две сцены, одну в первом и другую во втором действии, а в остающейся части спектакля поставить на эту роль мистера Райтона. Спектакль все-таки удается доиграть до конца, не вызвав неудовольствия публики, которая так ничего и не заметила. Тем более что публики в зале очень мало. Шеридан появляется в театре во время пятого действия и, зевая, ссылается в свое оправдание на то, что не спал двое суток подряд. Впрочем, не было случая, чтобы он высидел от начала до конца представление какой бы то ни было пьесы, за исключением своих собственных, да и те он полностью смотрел только на репетициях.

В сознании актеров имя Шеридана прочно ассоциируется с понятием отсутствия: отсутствия денег; отсутствия внимания; отсутствия деловой пунктуальности; отсутствия всех качеств, которыми должен обладать директор театра; наконец, физического отсутствия. По счастью, милая компания красавиц актрис, шелковые чулки и белые бюсты которых возбуждали любовные наклонности доктора Джонсона, не очень-то задумывается над недостатками характера патрона; мысли актрис заняты вещами поважней: перечислением собственных триумфов, разоблачением интриг, подсчетом чужих провалов. Поэтому даже ярая хулительница всех и вся миссис Эбингтон («сварливейшая среди сварливых»), как аттестовал ее Гаррик) оставляет Шеридана в покое.

Сборы, этот барометр театрального успеха, вскоре начинают падать. «Вчера вечером, — пишет одна из газет, — знаменитая Сиддонс и знаменитый Кембл играли в театре Друри-Лейн перед пустым залом; глухой звук их голосов в пустом пространстве — что может быть печальнее этого?» Шеридан подолгу не платит актерам жалованья. День выплаты каждый раз переносится на завтра, потом снова на завтра, и так до бесконечности.

Как обычно, больше всех страдает миссис Сиддонс. Недаром первым официальным актом Кембла-режиссера было категорическое заявление, что его сестра не станет больше играть в «Короле Иоанне»,

если ей сегодня же не выплатят 50 фунтов стерлингов. Миссис Сиддонс пишет подруге: «Как видишь, я снова играю, но до чего же трудно получить свои собственные деньги! Шеридан, безусловно, феномен — самый удивительный из всех, созданных природой за многие столетия. Наш театр все еще жив, всем на удивление. Почти никому из актеров не платят денег, и все клянутся, что уйдут из театра. И все-таки мы продолжаем выходить на сцену. Шеридан поистине всемогущ». Два года спустя ее тон становится еще более тревожным: «Театр не платит мне денег. Мои заветные две тысячи фунтов канули в эту бездонную пучину, чьих жертв не спасут никакие апелляции к праву и справедливости».

Шеридан столько задолжал миссис Сиддонс, что однажды ее терпению наступает конец и она со всей определенностью объявляет, что играть больше не будет, пока ей не заплатят. Шеридан отшучивается. Дальше все идет так, словно этого разговора и не было. В театральной программе, как и всегда, появляется фамилия миссис Сиддонс — исполнительницы роли леди Макбет. Утром того дня, на который объявлен спектакль, миссис Сиддонс пишет Шеридану письмо с подтверждением того, что уже говорила ему раньше: выступать она не будет. Несмотря на это, спектакль с ее участием не заменяют, а на ее письмо не обращают никакого внимания. Миссис Сиддонс садится обедать. Часов в шесть приходит посыльный, которому велено напомнить ей, что сегодня вечером она должна играть леди Макбет, и выразить от имени администрации недоумение по поводу того, что ее до сих пор нет в театре. Она просит посыльного передать на словах: она отказывается играть. Прибывает еще один посланец, но и его увещания не колеблют решимости миссис Сиддонс. Вскоре после этого к ней является сам Шеридан. «Собирается публика; вот-вот поднимут занавес, — говорит он. — На сегодня объявлен «Макбет», заменить спектакль нельзя, и миссис Сиддонс должна играть». — «Пускай собирается публика, пускай поднимается занавес, пускай играют «Макбета», но миссис Сиддонс выступать в спектакле не будет».

Для отказа нет уважительной причины, уговаривает Шеридан. Зрители рассчитывают насладиться игрой миссис Сиддонс. Если их лишат этого удовольствия, они разнесут весь театр. Он, Шеридан, не принимает никаких отказов. Он представит перед публикой дело так, что вся вина ляжет на миссис Сиддонс; она рискует потерять всю свою популярность; ее отказ причинит боль ее старому другу. Короче говоря, он, прибегая попеременно то к увещаниям, то к лести, добивается того, что миссис Сиддонс позволяет усадить ее в карету и покорно едет вместе с ним в театр.

В другой раз бунт поднимает сам Рембл. К актерской компании, собравшейся по окончании спектакля в «зеленой комнате», присое-

диняется Шеридан, случайно оказавшийся в театре, и усаживается вместе со всеми за уставленный бутылками и всякой снедью стол. Веселый, как всегда, Шеридан завязывает оживленную беседу. Великий же актер сидит с печатью мрачной думы на челе и явно переживает душевную бурю; при этом он время от времени издает какой-то нечленораздельный звук, напоминающий жужжание пчелы. Проходит немало времени; жужжание слышится все чаще. И вот наконец Кембл встает, величественный, как государь, и обращается к ошеломленному владельцу театра со следующими словами: «Я орел, чьи крылья были скованы морозом и снегами, но теперь я расправил крылья и взмыл в воздух, в мою родную стихию». После чего он неторопливо садится с таким видом, словно только что освобожден от невыносимого ига. Ничуть не испугавшись, Шеридан пододвигает свой стул поближе к Кемблу и после долгого застольного разговора, шатаясь, покидает стены театра рука об руку с разгневанным орлом, который стал теперь крошечным как ягненок.

Кембл вертится как белка в колесе. Его обременили повседневной административной работой, против которой он восстает; ему приходится выпрашивать деньги на краски и кусок холста. Он направляет отчаянные послания Пика с требованием денег: «Вот уже два дня прошло, как я, находясь в стесненных обстоятельствах, вынужден был послать к Вам за 30 фунтами. Вы отнеслись к моей просьбе с невниманием, совершенно для меня непонятным. Я, конечно, буду выступать в сегодняшнем спектакле, но, если Вы не пошлете мне до четверга сотню фунтов, я не стану играть в четверг; если же Вы заставите меня еще раз просить у Вас денег, то знайте, я не переступлю порога театра, пока не получу двухсот фунтов». В разговорах с друзьями Кембл часто восклицает в гневе: «Я знаю его как облузленного со всеми его фокусами и уловками!» Он грозитя пойти в Общество друзей народа и публично разоблачить его.

Актеры нередко часами держат Пика в плену на его собственной неплатежеспособной территории, где он отсиживается, боясь отпереть дверь и подвергнуться нападению толпы домогающихся. Не только актеры, но и сам Шеридан постоянно изводит его требованиями денег. «Суббота, вечер. Шекспировский клуб [неровным почерком]. Вы должны обязательно прийти ко мне сюда с 60 фунтами в кармане. Ничего не бойтесь. Будьте любезны со всеми просителями. Поверьте мне, через три месяца не останется ни одного просителя, чьи денежные требования не были бы удовлетворены. Заприте кассу и тотчас идите сюда. С Кемблом будьте по возможности пунктуальны... Занимайте деньги, не бойтесь... Да благословит Вас господь. К нашей следующей встрече я успешно преодолею все трудности». И снова: «Доктор Пик. *Непременно* и немедленно выдайте подателю сего 5 гиней на покупку сена и овса для моих упряжных лошадей.

Они не кормлены со вчерашнего вечера. Р.-Б. Ш. На днях наведаюсь к Вам».

Том тоже взывает к Пику о помощи. «Если у Вас есть хоть малейшая возможность, пришлите мне десять-двадцать фунтов. Ей-богу, все время, что я нахожусь в Лондоне, у меня ветер свистит в карманах; к кому бы я ни обращался за вспомоществованием, мне всюду отказывали, а у отца просить денег бесполезно. Он не в своем уме, и я тоже сойду с ума, если не получу от Вас благоприятного известия».

И даже когда руководители театра заходят в ресторан пообедать, платить за обед приходится несчастному Пику.

«Причитается Маргарите Гауэр.

Г-дам Шеридану, Ричардсону и Граббу

Олений окорок 1 20

Скат и камбала под соусом 0 76

Портвейн 1 10

Херес 0 46

Официанту 0 50

Счет предъявить к оплате г-ну Пику».

Шеридан, похоже, не очень стремится к обогащению репертуара за счет постановки новых хороших пьес. Он ставит случайно выбранные фарсы, музыкальные вещицы смешанного жанра, шекспировские пьесы и свои собственные комедии. Майкл Келли, обаятельный человек и превосходный певец, но при всем том сторонник явно оперных взглядов на искусство драмы, подает Шеридану мысль о возможности пополнить казну театра с помощью зрелищно эффектных спектаклей, таких, как «Саймон», виденный певцом в Неаполе. В финале спектакля показывают ристалище и грандиозное шествие: на сцене появляются триумфальные колесницы, запряженные лошадьми, великаны, карлики, леопарды, львы и тигры. Это описание приводит Шеридана в восторг. «Саймона» ставят в Друри-Лейне. Ставят на широкую ногу, не считаясь с затратами. Спектакль, поставленный с должным блеском, пышностью и великолепием, повлек за собой длинную череду аналогичных постановок.

Несмотря на увеличившиеся благодаря этому сборы, финансовые затруднения Друри-Лейна продолжают возрастать. В 1791 году старое здание театра признают небезопасным по причине ветхости и не поддающимся ремонту; год спустя его сносят. Группа Шеридана находит дорогостоящее временное пристанище сначала в Оперном, а впоследствии в Хеймаркетском театре. Имя Шеридана обладает такой волшебной силой, что без труда удается собрать сумму в 150 тысяч фунтов стерлингов на восстановление Друри-Лейнского театра; на эту сумму планируется построить огромное здание. Однако расходы выходят за пределы сметы, строительство ведется с проволоч-

ками, причиняющими большие убытки, и в результате всего этого новый театр начинает жизнь с дефицитом в размере 70 тысяч фунтов, который так никогда и не удастся покрыть. (Зато в одном вопросе при строительстве театра была проявлена мудрая предусмотрительность: комната казначея выходит окном на Литл-Расселл-стрит, так что по дням выплаты жалованья, когда в кассе нет денег, кассир может потихоньку улизнуть, предоставив осаждающим сколько угодно бесноваться у двери.)

21 апреля 1794 года состоялось открытие нового Друри-Лейнского театра. Давали «Макбета» (с Кемблом и миссис Сиддонс в главных ролях) и «Разоблаченную девственницу». Но ни игра Кембла, ни исполнение миссис Сиддонс не произвели на публику такого сильного впечатления, как эпилог, прочитанный миссис Поп и содержащий следующие строки:

«Сейчас, друзья, вы убедитесь сами,
Что нам не страшно никакое пламя.
Запас воды — надежная защита.
Забьет струя — и пламя вмиг залито!
Страшитесь паники, столпотворенья, смуты.
С огнем мы справимся, тут наши меры круты:
Мы всех затопим вас за полминуты!
Как только наш суфлер подаст сигнал,
Клокочущий и пенный хлынет вал.
Не нужно нам ни рек из гнutoго картона,
Ни жестяных ручьев бряцающего звона,
Ни колыхания матерчатых каскадов,
Ни деревянных волн, ни ложных водопадов.
Не бутафорская — реальная водица
На сцену с шумным плеском будет литься».

(Занавес поднимается, и перед изумленной публикой открывается картина водопада: прыгая через искусственные скалы, разлетаясь брызгами, плещась и играя, низвергаются на сцену бурные потоки. Зрелище этого моря воды, падающей из резервуаров на крыше в огромный бассейн на сцене, призвано наглядно убедить всех присутствующих в том, что, случись такое несчастье, как пожар, администрация сможет не только в один миг потушить огонь, но и устроить в театре настоящее наводнение. Аплодисменты.)

«Ну, как вам наши водные забавы?
Неужто на огонь мы не найдем управы?!
Но, если гидрофобией объятый критик
В том усомнится, паникер и нытик,
Пусть не спешит идти на нас войною:

Мы застрахованы страховкою двойною!
А ну как сцена вспыхнет? — Что ж, допустим.
Тогда железный занавес мы спустим».

(Спускается железный занавес. По нему бьют тяжелыми молотками для доказательства того, что он сделан из настоящего, а не бутафорского железа. Густой металлический звон разносится по залу, смешиваясь с громом восторженных аплодисментов.)

Однажды в Друри-Лейне загорелись во время спектакля декорации. Сьюетт бросился наверх к Шеридану, чтобы сообщить, что пожар потушен и что он собирается объявить об этом публике. «А вот это глупо, — промолвил директор. — Не упоминайте слово «пожар». Бегите вниз и скажите зрителям, что у нас достаточно воды, чтобы потопить их всех, как котят, да состройте рожу».

«Жоэль крикнет кто-нибудь: «Горим! Пожар!» —
Не рвитесь с мест, плюмажем колыхая,
Как райских птиц испуганная стая,
Ни перышка, ей-ей, не опалит вам жар».

В 1792 году, когда горел конкурирующий с Друри-Лейном театр Пантеон, Шеридан, наблюдая пожар, выразил вслух снедавшую его тревогу: «Можно ли потушить пламя?» Какой-то благожелательный ирландец, тоже глазевший на пожар, решил, что Шеридан боится, как бы не уцелел конкурирующий театр, и принялся его успокаивать: «Не тревожьтесь вы, ради бога, мистер Шеридан! Честное слово, сударь, дом скоро сгорит дотла; вот увидите, через пять минут у них не останется ни капли воды».

2

Через два года после открытия нового Друри-Лейнского театра Шеридан становится жертвой мистификации: девятнадцатилетний юнец Уильям Айрленд подсовывает драматургу рукопись неизвестной пьесы Шекспира. Пьеса эта, озаглавленная «Ровена и Воргигерн», производит сенсацию в литературных кругах. Парр, придворный поэт Пай и шестнадцать других знатоков подписывают бумагу, в которой торжественно подтверждают свою убежденность в подлинности рукописи. Босуэлл, потребовав стакан горячего бренди с водой и выпив его почти до дна, встает со стула и заявляет: «Теперь, после того как мне довелось стать свидетелем сегодняшнего торжества, я могу умереть спокойно». Опустившись на колени, он добавляет: «Я благоговейно целую неоценимую реликвию нашего барда и благодарю бога за то, что он сподобил меня увидеть ее».

Мистер Харрис, руководитель Ковент-Гарденского театра, борется с Шериданом за привилегию первым поставить эту трагедию. Но Шеридан предлагает Айрленду более выгодные условия и вырывает у него согласие передать право на первую постановку Друри-Лейнскому театру. За это Айрленду вы платят триста фунтов наличными и половинную долю прибылей от шестидесяти спектаклей. Прежде чем подписать соглашение, Шеридан посещает Айрленда, чтобы ознакомиться с рукописью. Прочтя несколько строк, он наталкивается на строку, которая кажется ему не вполне поэтичной. Он говорит об этом Айрленду. Затем, обращаясь к отцу Айрленда, спитлфилдскому ткачу, превратившемуся впоследствии в знатока старых книг и картин, Шеридан замечает: «Это довольно странно, потому что, каково бы ни было мое мнение о Шекспире, вам известно, нельзя вместе с тем не признать, что из-под его пера не вышло ни одной непоэтичной строчки». Перелистав несколько страниц, он откладывает рукопись в сторону и, переходя к существу дела, говорит, что здесь есть кое-какие смелые идеи, но они преподносятся в сырой, недостаточно обработанной форме и что пьеса, вероятно, была написана Шекспиром в юности.

Таково же и заключение высшего света: многие места в трагедии хвалят, но саму трагедию признают неровной. Впрочем, такие искусные знатоки и специалисты, как Порсон и Мэлоун, отрицают ее подлинность. Кембл разделяет их мнение. Только жалобы Айрленда заставляют его перенести премьеру, назначенную было на 1 апреля — день веселых обманов, на следующий вечер. Однако он включает в программу представления наряду с трагедией фарс «Моя бабуся». В Ковент-Гардене в тот вечер дают пьесу под многозначительным названием «Ложь на один день».

В день премьеры Друри-Лейн осаждают толпы театралов, жаждущих попасть на спектакль. Снаружи и внутри театра царит невообразимый ажиотаж: толчея, шум, сумятица. Зал набит до отказа. Все сидячие места в ложах раскуплены заранее. Кто не может пробиться через толпу у входа в партер, проникают в ложи и перелезают оттуда на незанятые места внизу. В зале не смолкает гул голов: это спорят зрители, разделившиеся на враждебные фракции. В центральной ложе сидят сторонники Айрленда, в задних рядах партера — его противники во главе с неким капитаном Стэртом, чьи критические высказывания, судя по всему, вдохновлены пятой бутылкой.

Представление начинается. Юный фальсификатор, возбужденный и нервничающий, находится за кулисами. Поначалу все идет хорошо, и миссис Джордан поздравляет его с успехом трагедии, которую он, как предполагается, спас от забвения. Однако противники Айрленда не думают сдаваться — они берегут свои силы. Смешные про-

махи некоторых актеров дают им право вволю повеселиться. Когда мистер Филлимор, исполняющий роль саксонского полковника Хорсуа, получил по ходу действия смертельную рану, он, то ли намеренно, то ли случайно, рухнул наземь в таком месте сцены, где опустившийся занавес разделил труп злополучного полковника пополам: ноги смотрели в сторону зрителей, а голова и грудь — в сторону актерской братии. Но это еще не все: тяжелый деревянный брус, прикрепленный к нижней кромке занавеса, давит актеру на грудь, и тот, отказываясь, как Ускирандос¹, «умирать здесь весь вечер», начинает высвобождаться, а публика, до которой доносятся его стоны, корчится от смеха.

Но больше всех способствует освистанию пьесы Кембл. На протяжении всего спектакля он играет нарочито вяло и бесстрастно, произнося свои реплики с похоронным видом. Когда он декламирует вкрапленные в текст отрывки из пьес Шекспира, публика, проявляя необыкновенную эрудицию, скандирует: «Генрих IV», «Отелло» и названия других пьес, откуда украдены данные строки. В конце концов это переходит всякие границы, и Кембл подает знак навести завершающий удар. Когда он нараспев, выделяя голосом определенные места, читает в пятом действии монолог со следующим описанием смерти:

«Едва лишь кончится глумленья торжество,
Ты ледяной рукой берешь его за ноги
И, выше движась, достигаешь сердца,
Над ним смыкая полог вечной ночи», —

партер раздражается «неслышанными доселе» неблагозвучными и оглушительными воплями. Как только наступает относительная тишина, Кембл, вместо того чтобы продолжить монолог, медленно, загробным голосом повторяет строку: «Едва лишь кончится глумленья торжество», что вызывает новый кошачий концерт в зале. Занавес в финале опускается под свистки и шиканье зрителей.

В ночь после разоблачения его подделки Айрленд спит сном праведника. Более того, он находит, что лучше выступать в роли фальсификатора, чем в роли Шекспира. Горчайшим разочарованием оказывается для него финансовый итог всей этой истории. Когда в понедельник утром он является в Друри-Лейн за деньгами, ему сообщают, что после оплаты всех расходов в казне театра осталось 206 фунтов стерлингов. Но и эту сумму поделили между собой Шеридан и отец Айрленда; сам Айрленд получил от отца всего 30 фунтов.

¹ Персонаж комедии Р.-Б. Шеридана «Критик».

Удачами нового Друри-Лейна явились постановки «Призрак замка» и «Синяя борода». Первая из этих пьес, написанная «монахом Льюисом»¹, очень долго была гвоздем репертуара. Ее успеху способствовали как грандиозный сценический эффект погружения призрака в пламя, так и красивые декорации в готическом духе. Шеридан не заплатил автору всего, что ему причиталось, и Льюис сочинил на него злобную эпиграмму:

«Земля плодит плутов от века,
Но нет бесчестней человека».

Шеридан подыскивает новые источники сенсации. Поскольку пошла мода на «Коцебу и немецкую колбасу», он ставит «Незнакомца» — пьесу, представляющую собой переделку произведения немецкого драматурга Коцебу, подправленную самим Шериданом. Литературными достоинствами эта поделка не обладает, но зато пользуется огромной популярностью у публики, благодаря чему театру удается пополнить казну, опустевшую из-за провала «Вортигерна». Ободренный успехом этого нового отступления от традиции, Шеридан перерабатывает, приспособляя для постановки на сцене, пьесу Коцебу «Испанцы в Перу», эффектную патриотическую мелодраму, которую впервые ставят на подмостках Друри-Лейна 24 мая 1799 года под названием «Писарро». Спектакль выдерживает тридцать представлений подряд, публика валом валит в театр, деньги текут в кассу рекой, повсюду только и разговоров, что о новой пьесе. В том же году «Писарро» издают в Филадельфии. Пьеса еще долго не сходит со сцены. Кто-то в присутствии Шеридана пренебрежительно отзывается о пьесе как о пересказе чужого произведения. «Да, я всего лишь переводчик, — восклицает Шеридан, — но зато какой переводчик!»

История создания этого шедевра может служить классической иллюстрацией привычки Шеридана откладывать работу до последней минуты. Уже объявлен день премьеры, уже распроданы все билеты в ложи, а Шеридан еще даже не приступал к последним двум действиям и не написал слов песен для Келли. Генеральная репетиция проводится утром в день премьеры; вот уже подошло к концу четвертое действие, а трое исполнителей до сих пор не получили некоторых кусков своих ролей в пятом действии — автор срочно дописывает их в суфлерской будке и по частям передает на сцену. Актеры натерпелись страху, но у всех троих была хорошая, тренированная память, и все обошлось благополучно.

Шеридан считает, что от успеха пьесы зависит его собственная репутация. Один очевидец описывает такую сцену: Шеридан, све-

¹ Мэтью Грегори Льюис (1775—1818) — английский писатель, автор готического романа «Монах», получивший прозвище «монах Льюис».

сидящий из своей ложи, с мучительным беспокойством следит за тем, чтобы актеры правильно и хорошо скандировали стихи этой пошпенной и пустозвонной мелодрамы Коцебу. Он слог за слогом повторяет реплики каждого исполнителя, на пальцах отсчитывая стихотворный размер и, словно учитель музыки, выпевая этот метр голосом. Он приходит в сквернейшее настроение и в гнев топает ногами, когда слушает реплики миссис Джордан. Зато каждая реплика Кембла неизменно приводит его в восторг, и он, как ребенок, радостно хлопает в ладоши. Некоторыми монологами миссис Сиддонс он восхищается, другими же возмущается, то и дело говоря Ричардсону: «Вот как надо правильно произносить это место» — и повторяя затем этот пассаж по-своему.

Терзания и восторги Шеридана тревожат его друзей. Они находят «Писарро» произведением нелепо гротескным. Персонажи и сюжет пьесы до смешного ходульны. Ролла являет собой воплощенное чудо бескорыстной любви, дружбы, верности и героизма, какого еще не видывал свет, тогда как его антагонист Писарро — настоящее чудовище. Мотивы, движущие авантюристкой Эльвирой, и действительный ее характер совершенно непонятны. Она попеременно изображается то белыми, то черными красками: в один момент она предстает в качестве поборницы морали, в другой — в качестве рабыни порока. В любом случае это крайне шумная, говорливая особа — одна из тех чувствительных милых дам, наделенных сильными страстями и слабым интеллектом, которые в молодости отдают щедрую дань сердечным увлечениям, а в старости — бутылочке.

Успех пьесы носит преимущественно политический характер. Английской нации угрожает вторжение, и прямые и непосредственные патриотические призывы пьесы вызывают бурю патриотических аплодисментов. Ведь, встречая овацией обращение Роллы к перуанцам, зрители как бы бросают вызов могуществу Франции.

Будучи спрошен, какого он мнения о «Писарро», Пит отвечает: «Если вы имеете в виду вещь, написанную Шериданом, то там нет ничего нового. Все это я давным-давно слышал на процессе Хейстингса». И это истинная правда. Шеридан украшает остов пьесы Коцебу сверкающими бриллиантами красноречия своих обличительных речей против Уоррена Хейстингса: риторика Вестминстер-холла и риторика Друри-Лейна образуют единое целое.

Чарлз Фокс уверяет: «Невеста в трауре» Конгрива — это что-то ужасное, но хуже «Писарро» ничего быть не может.

«Здесь познакомитесь вы с тонкою работой —
Немецкой мишурой с английской позолотой...».

Удача еще раз улыбается Шеридану. 15 мая 1800 года Друри-Лейнский театр посещает король с семьей. Едва только король, вой-

дя в ложу, подошел к барьеру, чтобы ответить на приветствия публики, как какой-то человек, вскочив на скамью в партере, выстрелил в него из пистолета. По счастью, сосед стрелявшего, заметив неладное, успел схватить его за руку в тот миг, когда тот нажал на курок. Благодаря этому обе пули, которыми был заряжен пистолет, прошли мимо цели: одна попала в стену над головой короля, другая пробила портьеру рядом. Король, увидевший вспышку и слышавший звуки выстрелов, обращается к лорду Честерфилду, королевскому шталмейстеру, со словами: «Тут стреляли из пистолета; могут и еще выстрелить. Задержите королеву». Лорд Честерфилд упрощает его величество отойти в глубину ложи, но король твердит: «Ни на шаг, ни на шаг». Он не сдвигается с места и со спокойным видом оглядывает зал. Обращаясь к кому-то из свиты, он говорит, что скрипачи, как видно, ожидали еще одного выстрела, так как прикрыли головы своими страдивариусами. Когда появляется встревоженная королева, он делает ей рукой знак не подходить: «Тут кто-то взорвал петарду». «Петарду? — переспрашивает ее величество. — А мне слышался выстрел, и что-то говорили про пистолет». «Петарда или пистолет, — отвечает король, — опасность теперь миновала; вы можете подойти и ответить на приветствия».

Несколько мгновений стоит гробовая тишина. Затем, убедившись, что король невредим, зал разражается криками: «Хватайте изменника, рвите его на куски!» В разгар поднявшейся суматохи на сцену выходит режиссер и объявляет, что стрелявший взят под стражу. После этого поднимают занавес, но публика требует, чтобы сначала был исполнен национальный гимн. И еще трижды в течение спектакля по требованию зрителей исполняется гимн, к которому Шеридан успевает добавить новую строфу:

«От козней лиходея,
От выстрела злодея
Храни бог короля.

Британии на счастье
Спаси от злых напастей
Отца, зеницу власти;
Храни бог короля».

Этот экспромт, исполненный Майклом Келли, вызывает восторженную овацию. Король заметно смягчается. По возвращении из театра он говорит королеве: «Поскольку все обошлось благополучно, я не жалею о случившемся, да и как можно сожалеть о том, что явилось поводом для выражения такой горячей любви!»

Монарх признателен Шеридану за то, что тот позаботился о безопасности принцесс: Шеридан успел остановить их у входа в

дору, сказав, что в зале поймали карманника и что это привело к беспорядкам; извинившись за то, что он должен отлучиться, Шеридан попросил, чтобы их высочества подождали в комнате директора. Тронутый этими проявлениями внимания и преданности со стороны директора Друри-Лейна, Георг III заявляет, что отныне и навсегда Шеридан будет дорог его сердцу. После чего директора с женой и старшим сыном приглашают ко двору.

Некоторое время спустя король и королева присутствуют в Друри-Лейне на представлении «Школы злословия», показываемой по просьбе королевской четы. Когда Шеридан провожает их величества к карете, король говорит ему: «Мне очень нравится ваша комедия «Школа злословия», но еще больше мне нравится другая ваша пьеса — «Соперники»; это моя любимая вещь, и я всегда буду питать к ней слабость».

В марте 1801 года монарх заболевает и, поправившись, принимается с живейшим интересом допытываться, кто и что говорил о его болезни в стенах парламента. Доктор Уиллис без утайки рассказывает ему, что произошло. «Только один член палаты общин выдвинул предложение о проведении расследования относительно состояния здоровья Вашего Величества, но тут встал Шеридан и самым благородным образом выступил против такого расследования, в самых похвальных выражениях отозвавшись о Вашем Величестве». Выслушав это, король замечает: «Шеридан, как это ни странно, относится ко мне с личной симпатией с тех самых пор, как Хэдфилд покушался на меня в театре».

3

Между тем денежные дела Друри-Лейна все больше запутываются, и даже успех «Писарро» не может поправить их. В 1802 году Шеридан столкнулся с конкуренцией со стороны недавно созданных домашних театров. Группа актеров-любителей, людей из высшего света, образовала театральное общество Пик-Ник, ставившее целью, как это явствует из самого названия, приятно развлекать публику.

В программу развлечений входили фарсы, бурлески, феерии и маскарады-ридетто с музыкой и танцами, причем расходы по устройству этих увеселений распределялись между членами общества по жребию: каждый тянул билетик из шелкового мешка. Широко распространилось мнение, будто деятельность общества Пик-Ник каким-то образом подрывает общественную нравственность, и ему крепко досталось от памфлетистов. Профессиональные актеры относились к этим домашним спектаклям с ревнивой подозрительностью, боясь лишиться расположения и поддержки аристократии.

Однако в конце концов театральное общество Пик-Ник, осыпавшее градом насмешек и оскорблений, прекратило свое существование, и Друри-Лейн избавился от конкуренции.

Но передышка оказалась кратковременной. В том же 1802 году банкирский дом Грабб и Хэммерсли, через посредство которого Друри-Лейн осуществлял свои финансовые операции, подал в канцлерский суд исковое заявление, оспаривающее право исполнителей на первоочередное удовлетворение их претензий из денежной выручки театра. Игра миссис Сиддонс в роли леди Макбет не привлекала в театр столько людей, сколько собралось в зале суда, чтобы послушать Шеридана, выступившего в роли адвоката-ответчика. Шеридан произнес двухчасовую защитительную речь. Лорд-канцлер Эдмон решил дело в его пользу, но, сказав много похвальных слов по адресу Шеридана, он процитировал под конец заключительные строки джонсоновского «Жизнеописания Севиджа»: «...беспечность и беспорядочность, став укоренившейся привычкой, приводят к тому, что знание оказывается бесполезным, остроумие — нелепым, а гений — достойным презрения».

«Мне подумалось тогда, — говорил впоследствии Келли, — что не следовало бы приводить эту цитату и что, пожалуй, жестоко всякий раз говорить людям горькую правду».

Время от времени Шеридан предпринимает нерешительные попытки привести дела театра в порядок. Так, он сокращает собственное жалованье и призывает на помощь своего одаренного сына Тома. Тот работает не покладая рук, пунктуально является на все деловые свидания, но приход в театр второго Шеридана, конечно, не может служить достаточной компенсацией за потерю Кембла, который, после того как он сложил с себя режиссерские полномочия в 1796 году и вновь принял их на себя в 1800 году, окончательно и бесповоротно уходит из Друри-Лейна в 1802 году, не поладив с Шериданом в вопросе об условиях приобретения им, Кемблом, четвертой доли театрального пая. Лишившись этого знаменитого актера, руководство театра вынуждено прибегнуть к таким спасительным средствам, как постановка пьес вроде «Каравана» Фредерика Рейнолдса (с настоящей водой, настоящей собакой, настоящим падением в воду и спасением утопающего) и эксплуатация рано развившихся талантов чудо-ребенка Бетти.

Во время представления «Каравана» один из актеров говорит Шеридану: «Болезнь никого не щадит, и ведь надо же такому случиться...»

— Что случилось?

— Я совсем расхворался и после сегодняшнего спектакля играть не смогу.

— Ах, это вы заболели? — с облегчением восклицает Шеридан. —

Ну, любезный, и нагнали вы на меня страху: мне показалось, что вы собираетесь сообщить о болезни собаки!

Однажды Шеридан вбегает в «зеленую комнату» со словами: «Где же мой спаситель?» Перед ним со скромным видом предстает драматург Рейнолдс. «Да я не вас имел в виду, а пса!»

1 декабря 1804 года. Ковент-Гарден. С раннего утра на Боу-стрит и площади у рынка толпится народ. К часу у дверей театра выстраивается длинная очередь; еще до наступления вечера очередь, образовавшая сомкнутую, непроницаемую колонну, вытягивается вдоль всей Боу-стрит и загибается на Друри-Лейн. По мере приближения момента открытия стоящие сзади все сильнее напирают на передних, начинается давка, раздаются крики, кое-кто теряет сознание. Ввиду неимоверной толчеи приходится вызвать отряд солдат, чтобы он навел порядок у театрального подъезда. После этого публику начинают пускать внутрь, и за несколько минут зрительный зал заполняется до отказа. Но публика все продолжает прибывать. Партер представляет собой сплошное море голов. Так же как и во время премьеры «Вортигерна», многие джентльмены платят за места в ложах, затем первыми врываются в театр и, спрыгнув с балконов первого яруса, захватывают места в партере. Все фойе и проходы битком забиты людьми, готовыми заплатить какие угодно деньги за возможность хоть одним глазком посмотреть на сцену. От духоты и давки двум десяткам людей становится дурно, и их затаскивают из партера в ложи, как утопающих из моря в лодки, а оттуда переправляют в фойе. Джентльменов, стиснутых со всех сторон и задыхающихся в спертom воздухе, спасают от обморока жены, которые беспрерывно обмахивают их веерами. Еще несколько человек воздевают руки, словно бы моля о милосердии и пощаде. (Благодаря такому наплыву публики, переполнившей соседний театр, Друри-Лейн, у которого в тот вечер была очень слабая программа, собрал на 300 с лишним фунтов стерлингов больше, чем ожидалось.)

Наконец устанавливается относительный порядок, и на авансцену выходит Чарлз Кембл, чтобы прочесть пролог, но публика не слушает. Тогда он уходит, и начинается спектакль. Первое действие пьесы — сегодня дают «Барбароссу», сплошные напыщенные тирады — тоже идет под шум и гомон зрительного зала, так как чудо-ребенок в нем не участвует. Но вот наступает долгожданный миг: в одежде раба (белые полотняные панталоны, короткая облегающая куртка из красновато-коричневой домотканой материи, отороченная собольим мехом, и детская шляпа без полей) на сцену по зову тирана выходит чудо-актер, появления которого с таким нетерпением ждали в зале, — малолетний Уильям Генри Уэст Бетти...

Спектакль вылился в настоящий триумф этого молодого дарования. Зрители многократно устраивали Бетти восторженную овацию. Принц Уэльский, сидевший в ложе леди Малгрейв, аплодировал громче всех. Миссис Инчболд, откровенная ненавистница всяких вундеркиндов, отправясь после третьего действия за кулисы, обнаружила там толпу критиков, обменивающихся впечатлениями. Большинство из них прямо провозглашали, что в лице Бетти сцена обрела нового Гаррика, и лишь один из них, набравшись смелости, шепнул ей на ухо, что «это вовсе не Гаррик, а балаганный фокусник». Но поскольку все лестные отзывы об игре мальчика высказывались громко, а все неблагоприятные — потихоньку, то нет ничего удивительного в том, что трезвые критические голоса потонули в хоре чрезмерных похвал по адресу Бетти.

Короче говоря, общество помешалось на Бетти. Его имя было у всех на устах. Самые высокопоставленные люди в стране наперебой зазывали Бетти в гости, устраивали в его честь пиршества, ласкали его и баловали; они дожидались его у театрального подъезда, чтобы в собственных каретах или портшезах отвезти его к себе. Политики, устраивая званые обеды, назначали их (по консультации друг с другом) на те дни, когда Бетти не выступал на сцене. Фокс приезжал в Лондон специально, чтобы увидеть его. Питт отзывался о Бетти как об актере необыкновенного таланта и, объявив перерыв в заседании парламента, ехал посмотреть Гамлета в его исполнении. Бетти изменил весь уклад лондонской жизни: лондонцы теперь обедали в четыре, после чего собирались в театр; все их помыслы и разговоры вращались вокруг очередной пьесы с участием кумира публики. Даже Грассини жаловался на то, что Бетти убил оперу. Шеридан привозил Бетти в Карлтон-хаус, где Бетти совершенно очаровал Георга, принца Уэльского, своими изысканными манерами. Кембриджский университет назначил премию за лучшее стихотворение, воспевающее игру юного Росция. Его портрет был заказан двум знаменитым художникам, Опаю и Джеймсу Норткоту; на нескольких популярных эстампах Бетти был изображен в качестве центральной фигуры. Так, на одном из них он изображен сидящим вместе с Джоном Кемблом на одной лошади. Бетти, сидящий спереди, говорит своему режиссеру: «Я не хочу обидеть вас, но, когда на одной лошади едут двое, кому-то приходится сидеть позади».

Перевозбуждение и бремя громкой славы не замедлили сказаться: Бетти заболел, и все лондонское общество немедленно преисполнилось сочувствия к своему любимцу. Вплоть до момента выздоровления Бетти ежедневно выпускались бюллетени о состоянии его здоровья. Титулованные леди возили его в своих каретах по Гайд-парку, гладили его по золотисто-каштановой головке, выпрашивали у родителей мальчика локон его волос для своего медальона. Фило-

софы, так же как знать и критики, были без ума от чудо-ребенка. Впоследствии Друри-Лейн и Ковент-Гарден поделили его между собой.

Благодаря Бетти деньги рекой потекли в кассы обоих патентованных театров. Друри-Лейнскому театру он за двадцать восемь спектаклей принес огромную сумму в 17 201 фунт стерлингов, из которой ему был выплачен гонорар по ставке 100 фунтов за одно выступление. (Кемблу платили 37 фунтов 16 шиллингов в неделю.) Еще большие сборы обеспечивал Бетти Ковент-Гарденскому театру.

К сожалению, артистический успех Бетти повлек за собой пональное увлечение лондонской публики выступлениями на сцене актеров-вундеркиндов и увлеченных театром подростков. Один только Шеридан сохраняет полное спокойствие посреди всего этого ажиотажа, поднятого вокруг юного Росция. Ему предлагают создать нового кумира публики из подростка Неда Кина¹, с тем чтобы тот стал конкурировать с Бетти. «Нет, нет, — отвечает Шеридан, — пусть в каждый момент у нас будет один мыльный пузырь. Этого вполне достаточно. Если же мы выдуем сразу два, они столкнутся друг с другом и лопнут».

Бетти, несомненно, обладал замечательными способностями — роль Гамлета, например, он выучил меньше чем за четыре дня, но голос у него был тусклый и монотонный, свои реплики он произносил слишком быстро и не вполне отчетливо, главное же, исполнение его не отличалось оригинальностью. Каждая интонация, каждый жест руки, даже каждое движение ног были подсказаны ему суфлером из Белфаста Хофтоном, который обучал его актерскому мастерству. Бетти был буквально всем обязан своему учителю, и он не оказался неблагодарным учеником. Став обладателем большого состояния, он прежде всего позаботился о Хофтоне: назначил ему ежегодную ренту.

В зрелые годы Бетти не стыдился признаваться в том, что он обманул ожидания публики, и это характеризует его, по словам одного самого беспощадного его критика, как человека все-таки не совсем заурядного.

¹ В будущем знаменитый английский актер Эдмунд Кин (Нед — уменьшительное от Эдмунд).

ГЛАВА 14
КОРИОЛАН
И АРХИЕПИСКОП КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ

1

В игре Кембла нет и намек на гибкость, разнообразие, изменчивость. В роли Гамлета он напоминает рыцаря, закованного в тяжелые латы, который с непоколебимой решимостью идет прямо к цели, ни на шаг не отступая в сторону. Его манера исполнения холодна, ходульна и прямолинейна.

Больше всего талантам Кембла соответствуют так называемые «римские» роли. Он высок ростом, смуглолиц и темноволос, у него крупные, благородные черты лица и красивые, глубоко посаженные глаза. В римской тоге он выглядит великолепно и производит впечатление достоинства и силы — качеств, отвечающих этому одеянию. В «Кориолане» толпа отшатывается от него, как от разъяренного быка.

При этом Кембл — ужасный педант. Он поворачивает голову с медлительностью, заставляющей людей думать, что у него околела шея. Некоторые слова он выговаривает на довольно странный манер, и эта своеобразность его произношения хорошо всем известна. Неправильности его выговора служат мишенью для бесконечных насмешек. На обратной стороне каждой театральной программы помещают краткий лексикон, призванный помочь зрителям разобраться в особенностях его орфоэпии.

Девизом школы Гаррика были быстрота и движение, девизом школы Кембла стали медлительность и паузы; поначалу актеры старой школы, не привыкшие к долгим паузам, думали, что их соперники молчат потому, что пропустили свою реплику или забыли роль, и принимались им подсказывать.

Как-то вечером Кембл составляет Шеридану компанию за бутылкой доброго вина. Изрядно подпив, Кембл принимается сетовать на отсутствие в Друри-Лейне новшеств и твердит, что, как режиссер, он весьма этим обеспокоен. «Дорогой мой Кембл, — отвечает Шеридан, — не будем сейчас говорить о делах!» Но Кембл упорствует: «Право же, мы должны стремиться к новациям — иначе театр пойдет ко дну; новации и только новации помогут ему удержаться на поверхности». «Ну что ж, — с улыбкой говорит Шеридан, — если уж вы так жаждете новаций, то распорядитесь, чтобы в паузах, которые вы делаете, играя Гамлета, звучала музыка».

Даже в моменты праздничного веселья Кембл сохраняет серьезное и мрачное выражение лица. Парижане дивились его способности молчать на сцене. За столом он, говоря самые привычные вещи, час-

тенько сбивается на белые стихи (кстати, этим же грешит и его сестра миссис Сиддонс). «Ты воду мне принес, малыш, а требовал я пива!» — с трагическими нотками в голосе выговаривает он мальчику-слуге во время обеда. В обществе он без конца разглагольствует на одну-единственную интересную ему тему — о собственной персоне. (Чарлз Кембл высказал в разговоре с Грэббом Робинсоном мнение, что Джон Филипп Кембл как актер превосходит свою сестру Сару Сиддонс, — это мнение разделял и сам Джон Кембл, но больше, кажется, никто.) Однажды на обеде в Королевской академии Кембл излагал сидевшему рядом Вальтеру Скотту свои соображения о том, как он будет играть такие-то и такие-то новые роли, как вдруг качнулась и поехала вниз огромная серебряная люстра, висевшая прямо над ними. Все повскакали со своих мест. Один только Джон Филипп продолжал сидеть как ни в чем не бывало, а когда переполох прошел и все расселись по местам, Кембл попрекнул Скотта тем, что тот прервал его объяснения на полуслове. Живя в Лозанне, Кембл завидует Монблану. Ему нестерпимо постоянно слышать: «А как сегодня выглядит Монблан?»

Кембл скуп и корыстолюбив — похоже, это фамильная черта. Гастролируя в Ливерпуле, он пообещал своему бывшему театральному руководителю Тейту Уилкинсону поехать в Йорк и сыграть в одном спектакле; было договорено, что он возьмет за это тридцать гиней. Но когда Кембл увидел, что весь город с волнением ожидает его выступления и что театр, по-видимому, будет переполнен, он отказался выступать меньше чем за половину сбора от спектакля.

Вместе с тем все в Кембле являет собой прямую противоположность раболепству и подобострастию. Его поведение и манера держать себя полностью соответствуют его импозантной внешности. Как с окружающими в жизни, так и со зрителями в зале он держится величественно, гордо и слегка надменно. Не раз удавалось ему утихомиривать распоясавшихся буянов в театре.

Так, например, однажды во время представления шекспировского «Кориолана», когда Кембл и его сестра находились на сцене, кто-то из зрителей запустил в голову миссис Сиддонс яблоком. Джон Кембл, выйдя вперед, на авансцену, обращается к шумящему и волнуемому залу с таким заявлением: «Леди и джентльмены, вот уже много лет я знаком с благожелательностью и великодушием лондонской публики, но мы не сможем продолжать сегодняшний спектакль, если мы не будем пользоваться защитой публики, если нас, и прежде всего женщин, не оградят от подобных оскорблений».

С галерки кто-то кричит: «Не слышно!» Кембл с пафосом продолжает: «Хорошо, я возвышу голос, и галерея меня услышит. Предоставить нам такую защиту — это моральный долг зрителей, их обязанность; актеры же, дорожа честью своей профессии, имеют *право*

требовать этой защиты. Вот почему я осмеливаюсь предложить от имени и по поручению владельцев театра сотню гиней тому, кто укажет нам на негодяя, повинного в этом поступке».

В зале начинается какое-то движение, слышен громкий шепот, шум. Кембл спокойно продолжает: «Леди и джентльмены, я всецело полагаюсь на присущую лондонским зрителям благовоспитанность, и, надеюсь, ничто не помешает мне выполнять мой долг перед публикой; однако я ни за что на свете не примирюсь с оскорблениями».

С этими словами он покидает сцену под громкие аплодисменты публики, и прерванный спектакль доигрывают без дальнейших помех.

2

Миссис Сиддонс красива благородной, но строгой и холодноватой красотой. У нее крупные черты лица; черные, резко очерченные брови; прекрасной формы рот и большие, серьезно глядящие глаза. Вот только нос несколько длинноват. «Мадам, ваш нос бесконечен», — воскликнул Гейнсборо, набрасывая ее портрет. Высокая и статная, она имеет величественный вид. Короче говоря, красота миссис Сиддонс совсем не в духе ее времени, когда в моде были миниатюрные, веселые, изящные женщины с пышным бюстом, смеющимися вишневыми губками и бойкими, кокетливыми глазками. Не идут миссис Сиддонс и модные дамские наряды ее времени: кринолины с обручами из китового уса, обувь на высоких, тонких каблуках. Казалось, сама природа создала ее для одежд трагедии.

Трагедийный дар и впрямь является сильнейшей стороной таланта миссис Сиддонс, его альфой и омегой. Ее игра становилась большим событием в жизни всякого, кому посчастливилось увидеть ее на сцене. Каждое ее выступление заставляет женщин плакать навзрыд, а мужчин — вытирать слезы. Кристофер Норт говорил, что ее игра вызывала у зрителей «божественное воодушевление, благоговейный трепет». Столь же восторженно отзывался о ее игре и Хэзлитт: «То была настоящая богиня или прорицательница, вдохновляемая богами. Какая сила исходила от ее чела, какие чувства исторгала ее грудь, эта обитель страстей!» Более вразумительна, чем эти восторженные излияния, оценка Тейта Уилкинсона, который заявил: «Если вы спросите меня: «Что такое королева?» — я отвечу: «Миссис Сиддонс!» Идеал Кембла — мраморная статуя резца Фидия, идеал его сестры — мраморная статуя резца Праксителя.

Миссис Сиддонс щедро наделена одной главнейшей добродетелью, которой недостает столь многим ее сестрам по профессии, — и никакой другой! Она великая актриса, но очень тяжелый человек. Ее преувеличенная стыдливость непомерна; костюм юноши, который

она носит в роли Розалинды, не поддается описанию: он не имеет никакого сходства ни с мужским, ни с женским одеянием. По самим своим природным данным миссис Сиддонс явно не создана для этой роли. Ее Розалинда может быть и веселой, и женственно нежной, но она начисто лишена игривого лукавства — не потому, что актриса неправильно трактует роль, а потому, что ее лицо неспособно принять игриво-лукавое выражение. Трудно себе представить женщину, более далекую богеме; ни национальный характер, ни привычки ирландцев ей не импонировали. В Дублинском театре ее шокировали добродушные шутки и комические выходки зрителей, которые могли выкрикнуть из партера: «Сэлли, радость моя, как поживаешь?» — или вдруг пуститься в пляс.

Ее репутация в частной жизни безупречна, и она неизменно пользуется глубоким уважением друзей и высшего света. Хораса Уолпола она превратила в почтительного своего поклонника. Вашингтон Ирвинг находил, что она изо всех сил старается быть любезной, но все равно напоминает ему славных рыцарей Вальтера Скотта, которые

«Стальной перчаткой разрезали мясо
И пили вино сквозь решетку забрал».

По части пылких чувств она совершенно неприступна. У нее множество поклонников, но она не допускает, чтобы хотя бы один из них стал возлюбленным. Шеридан говорит о ней: «С таким же успехом можно ухаживать за архиепископом Кентерберийским».

С ней скучно разговаривать: беседа ее напыщенно-серьезна, сентенциозна, холодна. Говорит она с тягучей медлительностью, словно произносит заранее подготовленную речь. У нее, так же как у ее брата Джона, наблюдается склонность переходить время от времени в обыденном разговоре на ритмизованную прозу. Покупая отрез миткаля, она таким трагически-трепетным голосом спрашивает: «А это не линяет?» — что продавец отшатывается назад, напуганный сим взрывом эмоций. Ее сосед по столу лишается дара речи, когда она адресует к нему с такой вот тирадой: «Я крайне невежественна, но жажду знаний; скажите, бога ради, что это за рыба?» На одном из устроенных ею приемов можно было увидеть такую картину: миссис Сиддонс с высокомерным выражением на лице молча стоит рядом с герцогом Веллингтонским, ожидая, чтобы он заговорил первым.

Кто-то рассказывал в ее присутствии грустную историю о каком-то чиновнике, который неожиданно умер в своем бюро; миссис Сиддонс, по-видимому, не знаяшая всех значений этого французского слова, воскликнула: «Бедняга! И как он только туда забрался?»

Миссис Сиддонс исполнена решимости как можно больше зарабатывать, чтобы обеспечить своих детей. Свои дела она вела ловко и

расчетливо, ссорилась из-за денег со своими дублинскими антрепренерами и приобрела в довольно широких кругах репутацию скупердяйки. Поначалу пределом ее мечтаний был капитал в 10 тысяч фунтов стерлингов, но она давно уже скопила сумму вдвое ббльшую.

Шеридан позволяет себе вольности по отношению к миссис Сиддонс. Как-то раз, когда она садится вечером в экипаж, чтобы ехать из театра домой, он неожиданно впрыгивает в карету вслед за ней. «Мистер Шеридан,— говорит она,— надеюсь, вы будете вести себя благопристойно, соблюдая все правила приличия; если вы их нарушите, я немедленно опущу стекло и попрошу слугу выставить вас вон». Шеридан ведет себя вполне благопристойно, но, как только карета останавливается у ее дома на Марлборо-стрит и лакей открывает дверцу, «этот бессовестный негодник, подумать только! — рассказывает миссис Сиддонс,— поспешно выскочил из кареты и бросился прочь, как если бы он хотел скрыться незамеченным».

3

На сцену большими шагами выходит высокий, величественный, властный воин. Половина публики раздражается громкими аплодисментами, другая половина — еще более громкими свистками и воплями. «Долой! Прочь! К черту эти шотландские штучки!» — орут зрители, и вот уже весь зал подхватывает этот клич. Нет, зрители не освистывают крупнейшего британского трагика, играющего Макбета,— все это лишь протест против подлинной шотландской шапочки с орлиным пером, которую он осмелился надеть вместо головного убора, разукрашенного страусовыми перьями, в каком-то обычно появлялся на сцене Макбет.

Начинается новая сцена, и вот перед нами появляется, читая роковое письмо, леди Макбет в исполнении величественной миссис Сиддонс. Актрису встречают взрывами аплодисментов; рукоплескания то утихают, то возобновляются с новой силой, и так — семь раз; количество таких взрывов, тщательно подсчитанное, служит мерилom преклонения перед ее славой. Внезапно нетерпеливо шумевшую до сего момента публику охватывает дух идолопоклоннического обожания. Зрители, затаив дыхание, ловят каждое ее слово: не потому, что они увлечены пьесой, а из спортивного стремления уловить момент, когда можно разразиться аплодисментами. Долго ждать не приходится. «Избрать кратчайший путь!» — произносит леди Макбет леденящим душу голосом, в котором уже слышен намек на все дальнейшие преступления. Неистовый восторженный крик с галерки и вслед за этим — гром рукоплесканий. Итак, первый момент отмечен — получено первое «очко». Счет открыт. Вот теперь пошла настоящая игра. При каждом знакомом проявлении гения зрители

клопают, топают ногами, восторженно кричат. Возбуждение и интерес публики резко спадают, когда сцена занята другими актерами. Эти произносятся или, вернее, выкрикивают свои реплики так, словно отбивают какую-то неприятную обязательную повинность. В их ролях мало выигрышных моментов, так что зачем стараться? Пьеса медленно движется к завершению, зрители то скучают и переговариваются, то, захваченные великолепной игрой главных исполнителей, целиком превращаются в зрение и слух. В знаменитой сцене, в которой мы видим леди Макбет ходящей во сне, неистовые аплодисменты раздаются чуть ли не после каждой строки. Однако на дальнейшее у зрителей не остается никакого терпения. Спектакль кое-как доигрывается под шуршание шелков и веселый говор расходящейся публики.

ГЛАВА 15

СЦЕНКИ ИЗ ЖИЗНИ

1

Комната, обшита сосновыми панелями. Яркий свет множества свечей и блеск бриллиантов. Алые и синие камзолы, пудренные парики. В голосах и смехе — ожидание. Дверь открывается, и в комнату заглядывает человек с нервным лицом, ярким румянцем и сверкающими глазами.

«А вот и Шерри! — восклицают присутствующие. — Старина Шерри пришел!» Дружный гогот.

«Бутылку вкруговую!» — говорит он хрипловатым голосом...

Шеридан умел работать, как вол, и лениться, как байбак. Вот что писал он в юности о «Письмах» Честерфилда: «Спешу, утверждает он, от игрищ к учебе и никогда не бездельничай. Я же утверждаю: почаще сиди без дела и размышляй!» Когда к концу долгой парламентской сессии Фокс, предвкушая радость скорых каникул, мечтает вслух о том, как он поедет в Сент-Энн и будет лежать под деревьями с книгой в руках, Шеридан говорит: «Вот блаженство, но почему — с книгой?»

Шеридан — великий мастер по части проволочек, отсрочек, растягивания нескольких дней до нескольких недель. «Точность — это разновидность постоянства, качества, весьма предосудительного»¹, — говорит он устами Джозефа Сэрфеса. Холхед отчитывал

¹ «Школа злословия». — Ш е р и д а н Р.-Б. Драматические произведения, с. 319.

Шеридана за то, что он неаккуратно отвечал на письма; первая жена Шеридана подсмеивалась над его перадривым отношением к переписке. В том, что касается писания писем, признавался он тестю через каких-нибудь три года после жепитбы, на свете не сыскать другого такого лодыря, как он. «Промедление, — внушал он Уитбреду, — является непременно следствием решения ленивого человека написать длинное, подробное письмо».

Шеридан был равно необязателен со всеми, невзирая на чины и звания. Не одни только пазойливые кредиторы да скучные визитеры часами маялись у него дома, в этом убежище праздности, дожидаясь, когда наконец в полдень он, энергичный и улыбающийся, соизволит выйти для утреннего приема гостей и посетителей. Пэры и светские красавицы прогуливались в ожидании по его приемной наряду со всеми прочими и зачастую искаживали «по пятидесяти миль вдоль и поперек по его проклятому коври». Принцу не раз приходилось мириться с тем, что его карета, посланная за Шериданом, возвращалась в Карлтон-хаус пустой. Шеридану было органически чуждо раболепство перед кем бы то ни было. «Со всеми нами обращаются одинаково», — со вздохом констатировала одна из жертв его невнимательности, заметив в груди нераспечатанных писем на столе Шеридана конверт с короной пэра.

Уж кого-кого, а Шеридана никак нельзя упрекнуть, пользуясь выражением мадам де Сталь, в «горопливом устремлении туда, где вас никто не ждет». Каждый день он собирается начать новую жизнь. Ему никак не удается побороть привычку долго спать по утрам. Как правило, он не выходит из своей спальни до полудня и завтракает обычно в постели.

Рукописный текст своей знаменитой речи об Уоррене Хейстингсе Шеридан забыл в Дипдине, чем очень позабыл «Бродягу» Норфолка. А однажды он позабыл, что его счет в банке кредитован, и был удивлен, узнав, что выплаченные ему деньги — не ссуда, а его собственная наличность.

Получаемые письма Шеридан бросает в беспорядочную кучу, весь его стол покрыт грудями бумаг. Гору неразрезанных пьес в его библиотеке Кембл называет «могильным холмом». Шеридан пишет герцогу Бедфордскому письмо с настоятельной просьбой «консолидировать» арендную плату Друри-Лейна. Не получив в течение года ответа, он пишет новое письмо, полное горьких сетований на задержку. Герцог отвечает Шеридану, что его просьба удовлетворена вот уже двенадцать месяцев тому назад, и, конечно же, после соответствующих поисков долгожданное письмо было обнаружено. Шеридан договаривается с Вудфоллом, издателем газеты «Паблик адвертайзер», о напечатании на ее страницах самых порочащих клеветнических измышлений о нем, с тем чтобы придать особую убедительность

полному опровержению этих слухов в следующем номере. Вудфолл, первый уговору, поместил клевету на Шеридана, но Шеридан так и не удосужился прислать запланированное опровержение.

А каково приходится бедному гувернеру Тома мистеру Смигу с таким необязательным патроном, который не отвечает на его письма, не является на деловые свидания с ним, не платит ему жалованья. Как-то раз его бросили одного в Богноре в обществе старого слуги, без денег и без дела, наказав ему дожидаться вызова в Лондон, которого так никогда и не последовало. Он писал оттуда Шеридану бесчисленные письма, умоляющие, гневные, протестующие, но наконец кредит лавочников и его собственное терпение истощились и Смит отправился в Лондон, чтобы высказать патрону свое возмущение. Однако Шеридан встретил его с такой сердечной теплотой, так искренне удивлялся, почему он не приехал раньше, так радовался тому, что он в конце концов приехал, поскольку без него Том совсем отбилась от рук, что разгневанный наставник был совершенно укрощен. «На днях я написал вам сердитое письмо, — сказал Смит. — Прошу вас, забудьте его содержание».

«Ну, само собой разумеется, — воскликнул Шеридан. — Будьте спокойны, я никогда не стану вспоминать, чего бы вы там ни понаписали! Вот возьмите». С этими словами Шеридан вынул из кармана письмо и протянул его Смигу. Взглянув на письмо, прежде чем швырнуть его в огонь, Смит увидел, что оно так и не было распечатано.

Шеридан много раз не приходил в назначенный час на деловые встречи с Харрисом, директором Ковент-Гардена. Харрис, которому все это надоело, просит своего друга Палмера пойти к Шеридану и сказать ему, что, если он не явится вовремя на ближайшее деловое свидание, он, Харрис, прекратит с ним всякое знакомство. Шеридан выражает глубокое сожаление по поводу предыдущих своих неявок и опозданий, которые, к слову сказать, были вызваны не зависящими от него обстоятельствами, и просит передать Харрису, что завтра он пойдет к нему в театр в час дня. Назавтра Шеридан часа в три пополудни приближается к Ковент-Гарденскому театру. Перед самым театром он встречает на улице знаменитого часовых дел мастера, француза мсье Трежана. В разговоре с ним он сообщает, что идет на деловое свидание с Харрисом.

«Я только что от него, — говорит Трежан, — он там рвет и мечет: кричит, что с часа дожидается вас».

«А что вы делали в театре?» — спрашивает Шеридан.

«Харрис собирается подарить мистеру Бейт-Дадли золотые часы, — отвечает Трежан. — Вот он и попросил меня принести полдюжины образцов на выбор».

«Ах, вот оно что!» — говорит Шеридан.

Они раскланиваются и расходятся в разные стороны. Шеридан направляется прямо в кабинет Харриса.

«Хороши же вы, сударь, — восклицает Харрис. — Опять я прождал вас битых два часа!..»

«Постойте, мой милый, славный Харрис, — прерывает его Шеридан. — Уверяю вас, все эти опоздания — не столько моя вина, сколько моя беда. Я-то, несчастный, думал, что сейчас не больше часу! Увы, часов у меня нет, да, признаться, и купить их мне не по карману, но, когда я разбогатею и обзаведусь часами, будьте уверены, я буду так же точен, как любой другой человек».

«Ну, раз дело только за этим, — восклицает ничего не подозревающий Харрис, — мучиться без часов вам больше не придется! Вот здесь, — говорит он, открывая ящик, — лежат полдюжины лучших часов Трежана. Выбирайте любые и не откажите мне в любезности принять их в подарок».

2

«Возьмет займы, а дальше — хоть не расти трава,
Сорить деньгами любит, платить же — черта с два!»

Шеридан — великий мастер делать долги. «Это настоящий сборщик налогов, который всех и каждого подвергает обложению. С каким веселым и непринужденным видом взыскивает он с нас с вами поборы! И как небрежно, как спокойно он держится! Какая беспечная жизнерадостность, какая вера в свою счастливую звезду, какая полнейшая беззаботность! Сколько презрения к деньгам (к вашим и в особенности к моим), которые он почитает за мусор!»

Шеридан, как никто другой, умеет выдерживать бури, поднимаемые великими актерами, которым он подолгу не выплачивает жалованья. В этой связи он, говоря об актерской рассеянности, сетует на то, что она почему-то никогда не проявляется по субботам, в день полочки. Даже Гаррика, пользовавшегося репутацией самого аккуратного из казначеев, осаждали актеры, шумно требовавшие выплаты им задолженности. Но если Гаррик медлил с оплатой из предосторожности, то беспечный Шеридан просто тянул до последнего. Гаррик был добр и гостеприимен, но он мог быть завистливым и прижимистым. По своей скупости он мог отказать актеру в бенефисе, если перед ним возникал «призрак шиллинга».

Для Шеридана нет безвыходных положений. Вот мисс Фаррен накануне своей свадьбы с лордом Дадли направляет жениха затребовать у директора театра задолженность по ее жалованью. Но Шеридан укрощает тщедушного пэра такими словами: «Нехорошо. Вы забрали у нас самую прекрасную драгоценность на свете и теперь спорите из-за нескольких оставшихся крупинок золота!»

Подобные победы Шеридан одерживает благодаря весьма опасному дару — волшебной силе обаяния. Стоит ему захотеть, и он околдует всякого. Как и у Фигаро из «Севильского цирюльника», «у этого ловкача всегда полны карманы неопровержимых аргументов». Это настоящий кудесник, умеющий найти выход из самого безнадежного положения. Назойливые кредиторы уходят от этого многоликого Протея (после того как им посчастливится застать его дома) с неоплаченными старыми счетами и с опустевшими кошельками. При этом он держится с восхитительной бесцеремонностью. Однажды Шоу, дирижер оркестра, потребовал у Шеридана возвращения 500 фунтов, которые тот ему задолжал. В ответ Шеридан попросил Шоу оказать ему одну важную услугу, а потом обезоружил своего разгневанного приятеля следующим заявлением: «Дорогой мой, будьте же благоразумны! Сумма, которую вы просите у меня, довольно значительна, я же прошу у вас в долг всего-навсего двадцать пять фунтов». В другом случае Шеридану удалось так обработать займодавца, что тот безропотно выложил пять тысяч фунтов стерлингов и отверг как оскорбительное предложение должника представить обеспечение.

Шеридан умеет играть на слабых струнках людей. Вот Келли и Шеридан, переходя аллею неподалеку от коvent-гарденского рынка, встречаются с едущим верхом адвокатом Холлоуэем, который негодует на то, что Шеридан не принимает его в свое общество. Шеридан сразу же начинает расхваливать лошадь Холлоуэя, зная его тайную слабость воображать себя великим знатоком лошадей. Когда же польщенный судейский спрашивает, не хотела ли бы миссис Шеридан иметь такую лошадку, Шеридан говорит, что он мог бы подумать об этом, если Холлоуэй продемонстрирует аллюр своего коня. Холлоуэй, надувшись от гордости, как индюк, потрусил рысью в одну сторону, а Шеридан, довольный своей хитростью, поспешил в другую.

Его просьбы прислать деньги, с которыми он обращается к своим кредиторам, задерживаясь в придорожных гостиницах по причине полного безденежья, выполняются как по волшебству. Неумолимых шейлоков он превращает в своих поклонников, уговаривает их ссудить ему денег под заложенное и перезаложенное имущество; о нем с полным основанием можно сказать, что он приручает врагов своих и делает их своими телохранителями. «Говорят, — сплетничает сэр Бенджамен Бэкбайт по адресу Чарлза Сэрфеса, — когда он угощает своих друзей, он садится за стол с целой дюжиной поручителей, в передней дожидается человек двадцать поставщиков, а за стулом у каждого гостя стоит по судебному приставу»¹. Шеридан режисси-

¹ «Школа злословия». — Ш е р и д а н Р.-Б. Драматические произведения, с. 278.

рует сцены с участием бейлифов точно так же, как он режиссирует свои пьесы. В 1792 году он уговорил судебных приставов подавать мороженое на пиру, устроенном им в Айлурте в честь Памелы и мадам де Жанлис. Несколько лет спустя он, давая банкет для нескольких государственных мужей, упросил издателя Бекета одолжить ему библиотеку, чтобы заполнить зияющие пустоты, образовавшиеся к тому моменту на его книжных полках. Ливрейных лакеев изображали переодетые служащие Бекета, а мебель была привезена из Друри-Лейна. А однажды Шеридан, точь-в-точь так же как Хонивуд из комедии Голдсмита¹, выдал судебного пристава, присланного следить за сохранностью описанного имущества, за своего гостя. В другой раз он напоил бейлифа, причинявшего ему неудобство, до полного бесчувствия и сдал его ночной страже.

Когда в результате банкротства, которое он потерпел в 1800 году, Шеридана выдворяли из его дома на Хертфорд-стрит, предварительно описав за долги все его имущество, чиновник суда шерифа Постанс предложил бывшему хозяину забрать с собой любую вещь, которая ему особо нужна или дорога как память. «Нет, нет, спасибо, любезнейший, — говорит Шеридан. — Раз уж дело дошло до этого, пусть пропадает все. Ничего мне не надо. Увы, мои привязанности к вещам притупились, и я прощаюсь со всем своим имуществом». С этими словами он надевает шляпу и идет к дверям. На пороге он останавливается, словно его осенила неожиданная мысль. Обернувшись к Постансу, он восклицает: «Знаете, я вспомнил одну вещь, которую мне действительно хотелось бы сохранить, и, если это не задевает ничьей чести, я воспользуюсь вашей добротой». Постанс кивает в знак согласия, и они с Шериданом вновь поднимаются по лестнице. Шеридан проходит в библиотеку и, взяв старый, потрепанный фолиант, говорит: «Это единственное, что я хочу унести с собой». Сунув книгу под мышку, он опять направляется к выходу. Постанс, полагавший, что Шеридан возьмет что-нибудь из ценных вещей, спрашивает его о причине такого выбора. «Эта книга, — отвечает Шеридан, — принадлежала моему отцу, а я читал и перечитывал ее всю свою жизнь». Заинтересовавшись, судебный пристав бросает взгляд на титульный лист книги: оказалось, Шеридан забрал первое издание Шекспира.

У входа в дом Шеридана обычно томятся кредиторы, которые на чем свет стоит клянут запертые двери и должника-хозяина. Всем известно, что он по уши залез в долги. Случается, мясник забирает баранью ногу, уже положенную в горшок, потому что повар Шеридана присваивает деньги, выданные на покупку баранины, чтобы таким образом взыскать с хозяина задолженность по жалованью. Как-то

¹ Персонаж комедии Оливера Голдсмита «Добрячок».

раз один из кредиторов, к собственному удивлению, застаёт Шеридана при деньгах. Однако тот принимается заверять его, что деньги эти предназначены для уплаты долга чести. Тогда кредитор сжигает у Шеридана на глазах его долговую расписку, заявляя, что теперь он считает долг Шеридана долгом чести. Шеридан тут же отдает ему долг.

Если с утра к нему являются несколько назойливых кредиторов и не желают уходить, Шеридан отдает распоряжение, чтобы их провели в какую-нибудь отдаленную комнату, спрашивает, закрыли ли за ними двери, и ускользает из дому. Однажды он сломя голову сбегает по лестнице, но дорогу ему преграждает Фозард, содержатель платной конюшни, которому хорошо известны все уловки Шеридана, и требует вернуть ему долг. Шеридан клянется, что денег у него нет. Тогда Фозард настаивает, чтобы Шеридан вернулся вместе с ним в свой кабинет и просмотрел у него на глазах свою почту. И конечно же, в нераспечатанных пакетах обнаруживаются 350 фунтов стерлингов, присланные в порядке очередных платежей. «В рубашке вы родились», — говорит Шеридан, вручая Фозарду всю эту сумму, ббльшую, чем его долг. «Счастливчик вы, Фозард, повезло вам на этот раз», — произносит он выходя.

И вот Шеридан на улице. Конечно, теперь он сильно опаздывает. Надо взять наемный экипаж. Вот только как потом расплатиться? А, там увидим! Шеридан останавливает проезжающую мимо карету и в течение трех часов ездит из одного места в другое. Да, никак, это Ричардсон шагает в толпе? «Дорогой мой, забирайтесь ко мне, я вас подвезу!» Так, а теперь поскорей завязать жаркий спор. Ричардсон вскоре начинает горячиться, выходит из себя. Шеридан притворяется рассерженным и обиженным. «Я не могу оставаться в одной карете с человеком, который позволяет себе такие выражения». С этими словами наш хитрец дергает каретный шнурок и выскакивает наружу. Ричардсон, все еще кипящая, что-то кричит ему вслед через окно, затем с выражением торжества откидывается на сиденье, не подозревая, какую солидную сумму придется ему уплатить за проезд.

Смит спрашивает старого слугу Шеридана, можно ли что-нибудь предпринять, чтобы вызволить его патрона из денежных затруднений. Эдуардс же рассказывает ему в ответ, что на днях он обнаружил в щелях оконной рамы в спальне Шеридана скомканные банкноты: оказывается, подпивший гуляка, воротясь домой поздно ночью, понапихал их туда из карманов, чтобы не дребезжало стекло.

Однажды Анджелило с Томом Кингом встречаются на Пел-Мел знаменитого клоуна Гримальди, который подходит к ним с уморительным выражением восторга и изумления на лице. «О, какой ловкач есть этот Шеридан! Хотите, я вам рассказать? *Bien done*. Его ни-

когда не заставить в театре, поэтому je vais chez lui — к нему домой, на Хертфорд-стрит, закутанный в пальто. У дверей я кричу: «Эй, domestique, слышишь меня?» — «Да». — «Пойди, любезный, и скажи своему хозяину, что внизу ждет мэр Стаффорда». Domestique бежит — и меня мигом приглашают в гостиную. Через минуту Шеридан оставляет своих гостей — у него, оказалось, званый обед — поспешно входит в гостиную, замирает как закопанный и, уставясь на меня, говорит: «Да как ты, Гримальди, смеешь играть со мной такая шутка?!» И, совсем разъярившись, кричит: «Вон отсюда, сударь! Прочь из моего дома!» «Исвиняюсь, — говорю я, закрывая дверь моей спина, — но я не уйду, пока вы не заплатил мне сорок фунтов». И тут я показываю на перо, чернило и бумага на столике в углу. «Вон все, что нужно! — восклицал я. — Выпишите-ка мне чек, и мэр уйдет vitelement — entendez-vous? Если же нет, morbleu, я подниму такой...»

«О! — перебивает меня этот плут. — Раз уж, Гримальди, ты припер меня к стена, я пишу чек». И как будто он très pressé очень спешит, — он пишет чек, сует мне в руку и крепко пожимает ее. Я кладу чек в карман и, как птичка, лечу в банк. Там я говорю клерку: «Дайте мне, сударь, пожалуйста, четыре десятифунтовых банкноты». «Четыре десятифунтовых! — восклицает он, весьма удивленный. — Чек выписан только на четыре фунта!» Вот видите, каков ловкач этот Шеридан». Шеридан, которого очень потешила эта шутка, уплатил Гримальди остальной долг.

Шеридан не раз ссорился из-за денег с режиссером итальянской оперы Келли. Вот в каком тоне писал Майклу Келли Пик: «По поручению мистера Шеридана я выражаю его крайнее изумление по поводу письма, которое Вы сочли уместным написать. Ваши слова о том, что Вы-де «одалживаете ему сто фунтов, в которых он нуждается», он расценивает как оскорбление, а не как следствие непонимания, действительного или притворного, того предложения, с которым он обратился к Вам и которое состояло в том, что Вы должны фактически сократить свое жалованье в этом году на сто фунтов вследствие того, что в прошлом году вы, почти ничего не сделав для театра, получили в нем известную сумму денег, и уведомить о сем попечителей».

Однажды Шеридан задолжал три тысячи фунтов стерлингов труппе итальянской оперы. Оплата откладывается со дня на день, и артисты сносят эти постоянные отсрочки с христианским долготерпением. Но наконец даже они, при всей своей покладистости, взбунтовались. Собравшись вместе, они решают больше не выступать, пока им не заплатят. В субботу утром они вручают своему режиссеру Майклу Келли письменное заявление, что начиная с сегодняшнего вечера никто из них выступать не будет. Получив такое уведомление, Келли

бросается в банкирскую контору Морлендов на Пел-Мел и просит предоставить театру ссуду для выплаты артистам хотя бы части жалованья, но, увы, неумолимые банкиры в ссуде наотрез отказывают. У них, как и у певцов, истощилось терпение, и они клятвенно заверяют Келли в том, что не ссудят больше ни шиллинга Шеридану и его театру, которые и так уже крупно задолжали банку.

Не в силах самостоятельно справиться с этой трудной задачей, Келли с тяжелым сердцем отправляется на Хертфорд стрит к Шеридану, который к его приходу еще не вставал с постели. Келли просит передать Шеридану, что он пришел к нему по срочному делу, но ему еще пришлось больше двух часов промаяться в состоянии крайней тревоги, прежде чем Шеридан соизволил выйти из спальни. Келли сообщает Шеридану, что, если он не сможет достать три тысячи фунтов, театр придется с позором закрыть.

«Шутите, Келли! Три тысячи фунтов! Такой суммы нет в природе, — с полнейшим хладнокровием говорит Шеридан. — Вы любите Шекспира?»

«Конечно, люблю, — отвечает Келли. — Но какое отношение имеет Шекспир к трем тысячам фунтов или к певцам итальянской оперы?»

«У Шекспира есть одно место, — поясняет Шеридан, — которым я не устаю восхищаться. Помните, Фальстаф говорит: «Мистер Роберт Шеллоу, я вам должен тысячу фунтов». «Да, сэр Джон, — откликается Шеллоу, — и я прошу вернуть мне их сейчас же: я еду домой». «Это едва ли возможно, мистер Шеллоу»¹, — отвечает Фальстаф; вот и я говорю вам, мистер Майкл Келли, едва ли это возможно — добыть три тысячи фунтов».

«Тогда, сударь, не остается ничего другого, как закрыть оперу», — заявляет Келли и идет к двери, огорченный подобной беспечностью. В последний миг Шеридан, окликнув Келли, просит его подождать, звонит в колокольчик и требует карету. Затем он невозмутимо погружается в газету, тогда как Келли от волнения сидит как на иголках. Но вот карета подана, Шеридан приглашает Келли занять место рядом с ним и велит кучеру ехать к банкирскому дому Морлендов. Там он выходит, а Келли остается ждать в карете в состоянии крайнего нервного напряжения. Велики же были радость и изумление Келли, когда через четверть часа в дверях банка появился Шеридан с тремя тысячами фунтов в руках. «Таков был Шеридан. Он умел смягчать каменные сердца юристов. Ничего подобного земля не видывала со времен Орфея».

В забавах, как и в делах, Шеридан — воплощенная непринужденность. Он полон безудержного веселья. «О, как я мечтаю пока-

¹ «Генрих IV». — Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8-ми тт., т. 4, с. 243.

таться по ковру с Шериданом!» — пишет его свояченица. Шеридан очень любит всевозможные импровизации, начиная с украшения блюда тушеной баранины по-ирландски и кончая устройством потешного боя с ослами, занимающими укрепленную позицию в канавах. «Он диво какой занятый! — говорит Джорджиана Девонширская о Шеридане, который гостит у нее в Чэтсуорте. — Представляете, он едет в Уэйрстей стрелять на приз серебряной стрелы; в нем столько мальчишеского!»

Ему редко удается удержаться от искушения опрокинуть лоток итальянца — продавца фигурок святых через парапет Вестминстерского моста, хотя потом он, конечно, с лихвой возмещает пострадавшему убытки. Они с Тикеллом постоянно переворачивают все вверх дном в домах знати; плещутся, как дельфины, во дворцовых прудах; переодеваются после обеда турками, а потом посылают за дамами, которым предлагают опознать своих супругов; прыгают через изгороди из ножей; инсценируют дуэли; притворяются мертвыми, после чего с пугающей резвостью вновь возвращаются к жизни; или же возбуждают ревность мужей, которые после всю свою дальнейшую жизнь живут счастливо и беспечально.

Шеридан резвится вместе с самым младшим поколением: то он наряжается полицейским, пришедшим арестовать леди Сефтон за участие в незаконных азартных играх, то он убеждает сентиментальную старую деву предать смерти любимого ее петуха, а затем прячется ночью у нее за кроватью и чуть слышно кукарекает, словно это явился призрак ее любимца. Келли попросил Шеридана дать ему легкую роль в спектакле «Славный день первого июня», и Шеридан, выполняя его просьбу, ввел сцену у домика, во время которой Келли должен с минуту пристально вглядываться, а потом изрекать: «А вот стоит домик моей Луизы; она, наверно, где-нибудь внутри или снаружи».

Явившись как-то раз на бал-маскарад в одеянии паломника, Шеридан до слез рассмешил своих знатных спутников, когда после минутного отсутствия появился без маскарадного костюма. В палате общины он потихоньку подполз к Денту, предложившему ввести налог на собак, и залаял у его ног. «Его легкомысленные выходки ужасны, — пишет Фокс Грею, — но в конечном счете он оказывается прав», а если мистер Фокс говорит «он прав», это означает «я с ним вполне согласен».

Хорас Уолпол отзывался об ирландском характере в следующих выражениях: «У этих ваших ирландцев сердца изменчивы, как небесный экватор; их головы постоянно пересекает плоскость эклиптики, искривляя их движение и путь».

Шеридану присущ дух трубадурской рыцарственности — он наотрез отказывается помогать принцу Уэльскому преследовать его

несчастную жену, с жаром заявив, что никогда не поднимет руку на женщину, а ведь он необыкновенно предан этому принцу, про которого Уиндхем во время процесса над Уорреном Хейстингсом сказал, что лучше утонуть в Ганге, чем потерпеть кораблекрушение у берегов Уэльса.

Во время обсуждения в парламенте билля об иностранцах Шеридан предлагает изъять женщин из-под действия его ограничительных положений, чтобы «показать, что у нас в Англии рыцарский дух не угас, какая бы судьба ни постигла его в других странах». Шеридан позволяет втянуть себя в темную историю, после которой резко обрывается связь принца с миром ньюмаркетских скачек. На жокея Сэма Чифни падает подозрение в том, что в первый день скачек он попридержал принадлежащего принцу коня по кличке Эскейп, с тем чтобы повлиять на характер ставок во второй день скачек, когда Эскейпу позволили выиграть. Шеридан берет на себя защиту Георга перед Жокей-клубом и этим поступком лишает себя доверия Чарльза Фокса.

Дружба с принцем явно вредит Шеридану. Обедая в обществе Уилкса, принц держится с ним весьма фамильярно и наряду с другими вольностями упраскивает его спеть. Уилкс отказывается, но потом, уступив настояниям принца, начинает петь. Он поет «Боже, храни короля». «С каких же это пор вам нравится эта песенка?» — спрашивает принц. «С тех самых пор, как я имел честь познакомиться с вашим высочеством».

Бескорыстие было лейтмотивом всей общественно-политической деятельности Шеридана. Никогда он не домогался пожалований в Вест-Индии, никогда не пытался получить пенсию или пособие, никогда не переходил в партию торжествующего большинства. Постоянно оставаясь одним из лидеров вигов, он тем не менее отказывался принести свои собственные принципы в жертву принципам своей партии. И в течение всей своей жизни он не переносил принуждения. «Ну нет, Хел, окажись я на дыбе, от меня бы ничего не добились принуждением», — по-фальстафовски отвечает он издателю, предложившему тысячу фунтов за одну из его речей на процессе Уоррена Хейстингса.

Но хотя ни за какие деньги Шеридана нельзя заставить проголосовать противно собственным убеждениям, лестью его можно склонить на все что угодно. Его речи создали ему славу, в лучах которой он купается до самой смерти. Во время одной из предвыборных кампаний в Стаффорде его сопровождает процессия из четырех десятков женщин во главе с красавицей мисс Фэрнио. Поэты и поэтессы слава гимны в его честь. На протяжении тридцати с лишним лет его

имя не сходит со страниц памфлетов. Он привлекает к себе всеобщее внимание, стал национальной достопримечательностью. Стоит его карете четверкой появиться в Чичестере, как весь город с криками «ура» высыпает на улицы. Популярность опьяняет его, кружит ему голову, разжигает в нем опасное тщеславие. Шеридан и сам сознает, что он одержим демоном тщеславия. Так, он признается лорду Холланду: «Алчность, вождение, честолюбие называют великими страстями. Неверно! Это мелкие страстишки. Тщеславие — вот самая сильная, всепоглощающая страсть. Оно лежит в основе самых грандиозных и героических подвигов и самых ужасных преступлений. Избавьте меня от одной лишь этой страсти, и я сам справлюсь с остальными. Ведь все они не больше как мальчишки в сравнении с великаном-тщеславием».

Шеридан очаровывает самых пленительных женщин своего времени. Упоение разговором с ним побуждает леди Корк на два месяца задержаться в Чэтсуорте, вдали от своего родного дома в Бате. Его беседа завораживает Роджерса и Байрона. Бабушка Теккеря, в ту пору молодая, остроумная и красивая женщина, каждый вечер приезжает в вестминстерский дом своего дяди Питера Мура единственно ради удовольствия послушать Шеридана. Его красноречие обезоруживает и заставляет смягчиться его противников. Оно умиротворяет добропорядочного Джорджа Розана, который однажды похвастал Шеридану, что назвал сына при крещении Уильямом в честь Питта, и услышал в ответ, что, каким именем ни назови розан, он все равно будет хорошо пахнуть. В течение долгого времени оно смягчает апостольскую резкость Берка. Даже антипатия леди Холланд служит косвенным доказательством его обаяния. «Всякий раз, когда я вижу с ним, пусть даже каких-нибудь пять минут, — записывает она в своем дневнике, — его веселая, открытая манера держаться и какая-то очень милая шутливость обращают в бегство все те обоснованные предубеждения, которые я питаю к нему». Лишь в двух случаях, сообщается в этом дневнике, Шеридан лишался дара речи: один раз — за неимением спиртного, в другой — из-за его переизбытка.

По окончании спектакля в Друри-Лейне он и не помышляет о сне. Еще бы, теперь в самую пору отправиться к Бруксу или в Бифштекс-клуб, где можно встретиться с Чарлзом Фоксом, поражать которого блеском своей беседы Шерри любит больше, чем кого бы то ни было другого, «целый вечер сыпля остротами и каламбурами как из рога изобилия». Рассказывали, как однажды Фокс, сев за ужином между Шериданом и Банистером, только и делал, что наполнял им бокалы да слушал их шутливую перепалку, в то время как они все время подавали реплики одна остроумнее другой, заставляя его беспрестанно поворачивать голову то налево, то направо и сотрясаться от хохота.

Шеридан, как никто другой, умел шутить беззлобно и сердечно. В его островах была «соль», но не было яда. Как-то раз Фокс приходит в палату общин сразу после того, как Берк отделал одного из девяти ставленников лорда-канцлера. Воздух сотрясается от одобрительных возгласов. «Что тут происходит?» — спрашивает Чарлз Дика. «Ничего особенного; просто Берк сбил одну из девяти кеглей», — отвечает Дик. Когда герцог Йоркский отступал под натиском французов, Шеридан предложил тост «за генерала и его доблестных последователей». А с какой иронией отбрил он Шелдона — католика, перешедшего в протестантство, которому он посочувствовал было как жертве системы, построенной на нетерпимости, и который счел нужным пуститься в подробные объяснения своих мотивов. Дело происходило в загородном доме, где гости имели обыкновение засиживаться до рассвета за вином и застойной беседой. В три часа ночи Шелдон извлек свои часы и объявил: «О, как поздно! Мне пора идти». Шеридан, который до этого момента, казалось, почти не слушал своего приятеля, спокойно произнес: «Черт бы побрал ваши ренегатские часы — спрячьте их в свой протестантский кармашек!»

Лорда Лодердейла, вознамерившегося пересказать забавную историю, Шеридан предупреждает: «Знаете, шутка у вас на устах — дело нешуточное». В другой раз, войдя в комнату, где все тот же скучный лорд Лодердейл что-то втолковывает уныло молчащим слушателям, Шеридан восклицает, что, судя по тягостному молчанию, Лодердейл только что «разродился шуткой».

Докучливому кредитору, который надоедает Шеридану просьбами назначить день, когда тот уплатит свой долг, Шеридан отвечает: «Хорошо, приходите в день Страшного суда; или нет, постойте-ка, этот день у меня занят, лучше условимся на следующий». Слуга роняет стопку тарелок — звон, грохот, но ничего не побилось. «Вот чудак, — говорит Шеридан, — наделать столько шума, и все понапрасну!»

Ночной сторож окликает на улице Шеридана, мертвецки пьяного и едва держащегося на ногах. «Кто вы, сударь?» Никакого ответа. «Как вас зовут?» Тот лишь икает. «Ваше имя?» — «Уилберфорс».

В театре кто-то подбегает к нему, чтобы спросить, что такое алгебра, не язык ли какой-нибудь. «Ну конечно, это античный язык — на нем говорили древние, которых называют классиками».

Миссис Чолмондели просит Шеридана сочинить акростих на ее фамилию. «О, сочинить акростих на вашу фамилию, — говорит Шеридан, — задача невероятно трудная; стих будет такой длинный, что его, пожалуй, придется разбить на песни».

Вот Шеридан отпускает какое-то критическое замечание по адресу Дандаса, архисовместителя министерских должностей, а тот, пы-

таясь оправдаться, важно объявляет, что его положение — самое незавидное, ибо каждое утро, когда он пробуждается, и каждый вечер, когда он ложится в постель, его ждет дело, требующее нечеловеческих усилий. В пылу полемики Дандас как-то упустил из виду факт своей недавней женитьбы. Шеридан моментально отвечает, что он будет просто счастлив избавить Дандаса от нудных трудов в министерстве внутренних дел.

Некоторое время спустя Шеридан опять подшучивает на ту же тему над государственным секретарем, готовым провалиться сквозь землю: «Прошло лето, за ним — осень и зима, вновь настала весна, а достопочтенный секретарь по-прежнему стонет под бременем все тех же дел».

«Вы не можете себе представить, сударь, — говорит Коббету один репортер, записывающий речь Шеридана в палате, — как любит читающая публика эти шуточки Шерри».

Однажды после грандиозного бала в Бэрлингтон-хаусе Шеридан и «монах Льюис» о чем-то поспорили за ужином. Льюис предлагает побиться об заклад: «Держу пари на доходы от моей пьесы (которые, Шеридан, вы, между прочим, мне не выплатили!)».

«Не люблю высоких ставок, — отвечает Шеридан, — но готов поспорить с вами на какой-нибудь пустяк. Хотите, на все, чего ваша пьеса стоит?»

После того как Шеридан срезал его таким образом, автор обиженно замолчал. «Не всякий умеет с достоинством выдержать *bon mot*¹, — рассудительно заметила по этому поводу миссис Фицджерберт.

Даже на смертном одре Шеридан сохраняет присущее ему тонкое чувство юмора. На голых стенах пустого холла, где толкуются осаждающие его дом бейлифы и сидят в засаде назойливые кредиторы, он велит вывесить следующее объявление: «Я знаю, чего вы хотите, еще до того, как вы изложите свои просьбы, и знаю, как вы глупы, раз обращаетесь с подобными просьбами».

ГЛАВА 16

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ТАЛАНТОВ

В марте 1801 года Питт уходит в отставку. Это гром среди ясного неба. Отставка премьера вызвана двумя причинами: конфликтом из-за его прокатолических симпатий и плохим состоянием здоровья. Навязав Ирландии Акт об унии, Питт хочет позолотить пилюлю — добиться для католиков полного уравнивания в правах.

¹ Острое словцо, острота (франц.).

Он объявляет о своем намерении внести соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. И вот тут-то, впервые за все время, Георг III, по его собственному признанию, расходится во мнениях с Питтом. Георг пишет спикеру палаты общин Аддингтону письмо с просьбой постараться всеми силами удержать своего друга Питта от осуществления этого намерения. Аддингтон встречается с Питтом, но все его уговоры тщетны. Премьер-министр непоколебим: или он внесет законопроект, или уйдет в отставку. Георг, крайне огорченный, не спит несколько ночей подряд. Он изливает душу одному из придворных — королевскому конюшему генералу Гарту. «Разве есть на земле власть, — пылко вопрошает он, — правомочная освободить меня от обязательства строго соблюдать каждый пункт присяги, которую я принес, и в особенности пункт, предписывающий мне оказывать поддержку протестантской реформированной религии? Разве не ради ее защиты возвели на трон моих предков? Неужели мне суждено стать первым английским монархом, который потерпит ее подрыв или даже ниспровержение? Нет! Лучше уж я пойду с сумой по всей Европе, чем соглашусь с подобной мерой!»

В результате Питт подает в отставку. Как только Питт слагает с себя полномочия премьер-министра, Георг поручает Аддингтону сформировать кабинет. Спикер намерен отказаться от этого поручения. Его связывает с Питтом тесная дружба. Они вместе росли и дружат с детства, а еще раньше дружили их отцы. Видя, что Аддингтон колеблется, Питт приходит ему на помощь: он убеждает своего друга занять освободившийся пост. Полагая, что Питт еще вернется к власти, Аддингтон скромно говорит о себе как о «временном исполняющем обязанности».

Ни примерное трудолюбие, ни благие намерения Аддингтона, увы, не искупают его серости и бездарности. Зато он кумир джентри — мелкопоместных нетитулованных дворян. Человек самодовольный и благонамеренный, крепкий в вере и узкоограниченный в своих взглядах и симпатиях, он пользуется у них полным доверием. Аддингтон им понятен, ведь и сам он — один из них. Отличаясь прямоотой и общительностью, он шутовски называет себя на склоне лет «последним из портвейнолюбивой фракции». Сама его посредственность больше по душе джентри, чем величие Питта. Он твердо убежден, что государственным деятелем может быть только тот, кому совершенно безразлично, как он умрет: в собственной постели или на эшафоте.

Фокс отзывается о государственных способностях Аддингтона с высокомерным презрением. На одном большом приеме он во всеуслышание заявляет: «Ей-богу, милорд Солсбери был бы лучшим премьером; жаль, он незаменим на посту придворного танцмейстера!»

Кабинет Аддингтона представляет собой слабое правительство, составленное из бесцветных и пустых людей. Его члены — в лучшем случае добродушные педанты, погрязшие в мелочах. Шеридан сравнивает их с мутным осадком на дне бутылки доброго токайского. Но сила сильных, противостоящих этой компании, раздроблена на десять-пятнадцать фракций.

В один прекрасный день Шеридан, придя к Фоксу поговорить о делах, с изумлением узнает, что его друг совещается за запертой дверью с лордом Гренвиллом. Шеридана забавляет эта неожиданная комбинация: Фокс — сторонник мира любой ценой, а Гренвилл — воинственный министр иностранных дел в кабинете Питта; Фокс горяч и своенравен, а Гренвилл (человек с душой лавочника) холоден и расчетлив.

И еще один фактор влияет на расстановку политических сил. На арену большой политики вновь выходит принц Уэльский; пока что он колеблется, не зная, кому отдать предпочтение — Питту или Фоксу.

Опять, как и встарь, Шеридан играет свою роль великого визиря Карлтон-хауса, куда его теперь то и дело призывают на тайные дружеские беседы, продолжающиеся с полуночи до четырех утра — без ужина и «без единого глотка вина». В самом начале 1803 года, когда здоровье короля опять ухудшается и снова складывается впечатление, что принц вот-вот станет регентом, Фокс, несмотря на все свое презрение к принцу, является к нему и внимательнейшим образом выслушивает его. Питт держится в тени, но его агенты ведут оживленные переговоры. Что касается Гренвиллов, то их нетерпеливое стремление поскорее сговориться с принцем выглядит почти неприличным. Напротив, Шеридан, хотя он и в большом фаворе у принца, ничего у него не просит и не потакает его прихотям. Больше того, рискуя вызвать неудовольствие его высочества, он осмеливается перечить его желанию сразиться с французами. Тем не менее он продолжает оказывать на принца решающее влияние. Георг постоянно приглашает Шеридана к обеду, льстит ему; он то и дело требует своего неутомимого «великого визиря» к себе и без зазрения совести эксплуатирует его. Тщетно он снова и снова умоляет Шеридана сказать, как бы он мог отблагодарить его. Правда, Шеридан принимает кое-какие подарки для своего сына: полторы тысячи фунтов стерлингов для юного Алкивиада в результате развода Тома и восемь тысяч фунтов — скрепя сердце — для устройства политической карьеры Тома. В 1804 году Том получает назначение на должность личного адъютанта лорда Мойра в Эдинбурге, а затем его назначают генеральным вербовщиком в Ирландии. Наконец и для себя Шеридан принимает должность генерального казначея герцогства Корнуоллского (дающую около 1400 фунтов годового дохода).

Но после того как Том вновь женится, он пытается уговорить принца передать эту должность его сыну. Принц отказывается сделать это, мотивируя свой отказ единственно тем, что в свете репутации, которой пользуется Шеридан, «выбор его кандидатуры на эту должность не только оправдан, но и делает ему, принцу, честь».

Шеридан настраивает принца в пользу Фокса. Но хотя Шеридан не устаёт расточать по адресу Фокса похвалы, он расходится с пикским оракулом во взглядах. Шеридан отказывается поддержать его политику мира любой ценой и выступает за военные приготовления, осуществляемые Аддингтоном. Англия переживает трудное время. Стране угрожает французское вторжение. Шеридан не может одобрить компромисса с Наполеоном и не желает приветствовать его как освободителя народа. Он не щадя сил старается открыть своим соотечественникам глаза на то, какую опасность представляет этот завоеватель. «Разве мы не видим, — восклицает он, — что они посадили древо свободы в саду монархии, где оно продолжает приносить все те же редкие и роскошные плоды?.. Нет, не славы они ищут — они уже пресытились ею; и не территории они домогаются — захваченные территории уже стали для них бременем. К чему же тогда они стремятся? Они стремятся завладеть тем, что им действительно нужно: кораблями, торговлей, кредитом, капиталом. Да, они покушаются на жизненные основы Великобритании, на ее мышцы, кости и нервы, на кровь ее сердца». Только «самый низкий и подлый из людей» предпочтет приверженность какому-либо партийному принципу интересам надежной защиты Англии. Что до него, то он никогда не принесет интересы английского государства в жертву фракционности. Наполеон полностью изменил его взгляд на французскую революцию.

«Взгляните на карту Европы — это сплошная Франция! Мы можем измерить ее территорию, подсчитать ее население, но разве можно измерить безмерное властолюбие Бонапарта? Россия если и не подвластна ему, то, во всяком случае, — под его влиянием; Пруссия — вся в его распоряжении; Италия — его вассальное государство; Голландия — в полной его власти; Испания целиком зависит от его воли; Турция опутана его сетями; Португалия — у него под пятой. Видя все это, я без малейшего колебания отдаю свой голос за то, чтобы мы повысили свою бдительность перед лицом махинаций и происков этого властолюбца...».

И затем, оборачиваясь к Фоксу, он продолжает: «Я совершенно согласен с моим достопочтенным другом относительно того, что войны следует избежать, хотя он и не согласен со мной в оценке того, какие средства являются наилучшими для достижения этой цели. Если я высказываю мнение, расходящееся с его мнением, то делаю и это с болью душевной. Я отношусь к нему с безграничной лю-

бовью, привязанностью и уважением и буду питать к нему эти чувства по гроб жизни. Но мне думается, что из надменной заносчивости Бонапарата должен быть извлечен важный урок. Он называет себя орудием провидения — посланцем всевышнего, призванным... вернуть Швейцарии утраченное счастье и возродить величие Италии... Я полагаю, милостивый государь, что он действительно является орудием в руках провидения, призванным заставить англичан еще крепче полюбить свою конституцию и сплотиться вокруг нее с еще большей преданностью и сыновней заботой... Я полагаю также, что он являет собой орудие промысла божия, чье предназначение — побудить нас отказаться от нетерпимости в наших политических разногласиях и укрепить нашу решимость единодушно дать отпор любому нападению, которому мы могли бы подвергнуться. Если на нас нападут, то мой друг, я уверен, согласится с тем, что нам надлежит ответить на такое нападение с мужеством, достойным нашей родины, и с глубокой убежденностью в том, что страна, достигшая такого величия, не может искать спасения в самоуничтожении, ибо, если бы мы даже согласились отказаться от всего, мы не обрели бы покоя и безопасности в нищенском существовании и жалкой покорности; наконец, милостивый государь, мой друг, как я уверен, согласится и с тем, что мы должны будем ответить на вызов с твердой решимостью или погибнуть самим, или защитить честь и независимость нашей родной страны».

Полемика между Шериданом и Фоксом получила отражение в забавной карикатуре Гилрея, озаглавленной «Материальная помощь, или Британия, вышедшая из транса, а также патриотическая отвага бравого Шерри и глас вопиющего в тумане». На карикатуре изображен Фокс в надвинутой на глаза шляпе, мешающей ему увидеть французские корабли, которые предназначаются для доставки в Англию французской армии. Но главная фигура на карикатуре — это Шеридан в обличье Арлекина, который размахивает дубинкой с надписью «Драматическая преданность» и изрыгает угрозы: «Пусть только сунутся, будь я проклят! Ну, где эти французские чучела? Да я одной рукой уложу четыре десятка! Черт поberi...»

Обрушивая свой гнев на Шеридана, Фокс не стесняет себя в выборе выражений. Он насмехается над ним, говорит о его отвратительном и неискоренимом тщеславии. Встретясь с ним в доме общих друзей, Шеридан, по уверению Фокса, держит себя «робко», как пашаливший школьник. Ученик сознает свою вину, но Фокс слишком уж усердствует в роли педагога от политики. Иной раз он отвечает Шеридану так, словно разговаривает с мошенником. Все это больно задает Шеридана, и он отвечает оскорблениями. К концу 1803 года Шеридан частенько хулит Чарлза в кругу его врагов, а с пьяных глаз — даже в присутствии его друзей. Однажды дело заходит так

далеко, что сэр Роберт Эдер вызывает Шеридана на дуэль, и тот принимает вызов. По счастью, друзьям удастся их помирить. Подоплека ссоры между давними друзьями ясна: Фокс ревниво относится к авторитету, которым Шеридан пользуется в Карлтон-хаусе. Его бесит, что человек, вышедший у него из доверия, оказывает влияние на принца.

Кроме того, Фокс — обожаемый кумир кружка поклонников, воскуряющих ему фимиам. Избранная компания Тауншендов, Гренвиллов и Кавендишей бурно аплодирует каждому его поступку. Его неотразимое обаяние отнимает у них всякую способность относиться к нему критически. Шеридан любит действовать в одиночку. Он не может все время прислушиваться к мнению Фокса, которое к тому же неизменно оказывается ошибочным. Одним словом, Шеридан не служит верой и правдой Фоксу, и все правдоверные «фокситы» обязаны смотреть на него как на предателя и ренегата.

Шеридан считает себя вторым по значению лицом в стане вигов, но Фокс полагает, что отсутствие высокого общественного положения и моральной стойкости лишает Шеридана права претендовать на место в руководстве партии. Может быть, Фокс и прав. Может быть, Шеридан и не обладал той стойкостью, которой должно обладать политику, но уступал ли Шеридан в моральной стойкости Фоксу — это еще вопрос!

12 мая 1804 года Аддингтон уходит с поста премьер-министра, и у кормила правления вновь становится Питт. Однако он уже не жилец на этом свете: здоровье его подорвано, и катастрофы, разразившиеся в конце следующего года, сводят его в могилу. Даже торжества в честь победы при Трафальгаре омрачаются скорбью по погибшему Нельсону, а вскоре после этого приходит печальная весть: Наполеон победил под Аустерлицем. Теперь вся Европа у него в руках. Питт отдыхает в Бате, как вдруг к нему является нарочный с депешей. С дурным предчувствием вскрывает он пакет. «Да, худые вести», — роняет он и тотчас же начинает готовиться к отъезду в Лондон. Его убитый вид и загробный голос приводят в ужас леди Эстер Стэнхоун. Аустерлиц, по ее словам, написан у него на лице. Она отводит Питта в его комнату; проходя мимо висящей в коридоре карты Европы, он поворачивается к ней и говорит: «Сверните эту карту. В ближайшие десять лет она не понадобится». Через несколько недель в состоянии здоровья Питта наступает серьезное ухудшение, и 23 января 1806 года он неожиданно умирает сорока семи лет от роду. Его последними словами были: «О, моя родина — как же я покину мою родину?!» К Питту трудно относиться с любовью, но это был поистине великий англичанин.

Смерть Питта и неудача лорда Хоксбери, пытавшегося сформировать кабинет министров, приводят в конце концов к власти Фокса и «правительство всех талантов» под руководством лорда Гренвилла. Этот диковинный кабинет слишком разнороден по своему составу, чтобы долго удерживать власть. В самом скором времени он становится непопулярен во всех слоях общества. Это разношерстное собрание — излюбленная мишень для карикатуристов. На одной анонимной карикатуре того времени изображен король, приготавливающий пунш в чаше, куда он выливает содержимое бутылок с лицами членов коалиционного правительства на этикетках. При этом он говорит: «Возможно, каждый компонент в отдельности и не всякому придется по вкусу, но, когда их смешаешь, пить можно». 21 апреля 1806 года Гилрей выпускает в свет карикатуру по поводу заявления Фокса о том, что его пост — это далеко не ложе, усыпанное лепестками роз.

Карикатура изображает Фокса с женой безмятежно почивающими в постели, в то время как Наполеон уже занес руку над спящим министром. Призрак Питта будит его словами из «Потерянного рая» Мильтона: «Проснись, восстань! Не то почишь навек!»

В «правительстве всех талантов» для Шеридана не находится места. Ему предлагают должность казначея Адмиралтейства, и он с негодованием... принимает ее. Он пишет Фоксу протестующее письмо, в котором напоминает о его обещании предоставить ему, Шеридану, пост министра — члена кабинета. Фокс не отрицает того, что давал такое обещание, но и не собирается выполнять его. Это нарушение слова кладет конец их дружбе.

Как ни незначительна полученная Шериданом должность (почти синекура с жалованьем в четыре тысячи фунтов в год и бесплатной квартирой), это назначение толкает его на путь безудержного расточительства.

Дом с сорока окнами, пять лакеев, две кареты, пять первоклассных и десять «дешевых», или «рабочих», лошадей, фигуры на гербах и пудра для волос в количестве, достаточном для троих, — все это роскошество облагается в лето господне 1806 налогом, на три фунта превышающим его квартирные. Мотовство Шеридана отнюдь не ограничивается служебной сферой. Он не только обставляет заново свою официальную резиденцию, но и возвращает, без особой на то надобности, крупную сумму денег арендодателям Друри-Лейна, чтобы потешить свою гордость. Мало того, он устраивает для принца и его приверженцев великолепный прием по случаю крещения своего внука. Столы ломаются от редких в это время года яств. Келли с двумя певцами-итальянцами поют на три голоса; приглашенные музыканты исполняют кантату на валторнах; играют шотландцы-волынщики.

Даже солидных директоров Английского банка назначение Шеридана настраивает на легкомысленно-веселый лад. После того как его привели к присяге при вступлении в должность, он является в Английский банк. «Я слышал,— пишет граф Эссекский,— что директора банка подшутили над Шериданом, когда он предстал перед ними, чтобы открыть свой служебный счет Адмиралтейства. Соль шутки заключалась в том, что все они выбежали из комнаты вместе со своими грессбухами и бумагами».

«О, Шерри румяный,
Шутник постоянный,
Потешь финансистов круги!
Но, ради Нептуна,
Ты флота фортуна,
Смотри, не отдай за долги,
О, Шерри румяный,
Смотри, не отдай за долги!»

На выборах Шеридан выставляет свою кандидатуру от Вестминстерского округа, где ему приходится бороться за место в парламенте с такими кандидатами, как адмирал Худ и набоб Джеймс Полл. «Победить соперников — вот в чем вижу я свой долг», — говорит он избирателям. «Эй, не морочь нам, Шерри, голову насчет своих долгов: ты их не платишь!» — восклицает кто-то из толпы. Шансы у соперников примерно равные, борьба идет не на живот, а на смерть, и грубые оскорбления тут не в диковинку. Крепко достается Поллу, сыну портного. Завидуя расшитому мундиру и регалиям Худа, он не без раздражения замечает, что, если бы он захотел, он бы и сам предстал перед избирателями в подобном одеянии. «Ну, разумеется,— подхватывает Шеридан,— и к тому же сшитом собственными руками!» Тот же Шеридан как-то раз объявляет, что он задал бы Поллу хорошую трепку, но рассчитывает поднять его общественный престиж, вышвырнув его из хорошего общества.

Виконт Питерпэм принимает участие в предвыборной процессии «рабочих сцены Друри-Лейнского театра», которую Полл характеризует в следующих словах: «...полтораста вооруженных наемных бандитов и убийц в боевом порядке промаршировали от избирательного комитета одного из кандидатов».

С самим Шериданом тоже не церемонятся. Его всячески поносят, величают «паяцем, сыном фигляра», «наемным шутком», чья карьера запятнана всеми видами мотовства и расточительности.

«Может ли подобный ТИП быть достойным представителем независимых избирателей Вестминстера? Нет, нет и нет! Да не будет никем сказано, что приказы надменного министра — для вас

закон, определяющий ваши поступки... Джентльмены, неужели вы хотите, чтобы вас представлял прихлебатель и раб Гренвиллов? Во имя справедливости, во имя добродетели, во имя свободы — не допускайте этого!!!

Хладнокровный наблюдатель.

Однажды Шеридан избивают и ранят. Не в силах сносить подобную непопулярность, он готов махнуть на все рукой. Настроение у него мрачное, и после трех бутылок портвейна он вынужден прибегнуть для подкрепления духа к бренди. Он наотрез отказывается лечь в постель, заявляя, что из-за своего проклятого честолюбия, побудившего его баллотироваться от Вестминстера, он не знает теперь покоя. Тем не менее вскоре он погружается в тревожную дремоту, время от времени прерывая ее возгласами: «О, мое казначейство! О, моя популярность! О, Перси, Перси, поверьте, если бы я отдавал служению людям хотя бы половину того рвения, с которым служил самому себе, они бы теперь не отреклись от меня!» Потом, тихо пробормотав во сне: «Ты здраво рассуждаешь, Коббет!» — он окончательно пробуждается.

И вот Шеридан поднимается на трибуну, чтобы выступить перед избирателями. Вопли, шиканье, свист. Прямо перед ним раскачивается огромный плакат:

«Не позволим отнять у нас хитростью наши вольности!

Нас не обманут пантомимы и балаганные фарсы!

Долой парламентария-фигляра!

Честные люди платят свои долги. ПРОЩЕЛЫГИ — НЕТ!»

«Джентльмены, вы поступите как олухи, если не дадите мне говорить, — начинает он свою речь. — Я-то ведь всегда проявлял желание послушать ваших ораторов, поэтому с вашей стороны было бы просто неблагородно не выслушать в свою очередь и меня. По дороге сюда друзья предупреждали меня, что жизни моей угрожает опасность, что меня может растерзать бесчинствующая толпа. Но именно по этой причине я и не стал отсиживаться дома, а явился сюда. Мне говорили, что, если я хочу остаться цел и невредим, мне следует незаметно пробраться на трибуну, пройдя через такие-то и такие-то двери, но я предпочел идти через Ковент-Гарденскую площадь, потолкаться среди вас, в самой гуще собравшихся. Я как раз тот кандидат, который отстаивает общее дело всех вас. Мой противник Полл толкует вам о том, что он *собирается делать*. Я же говорю вам о том, что мною *сделано*. Его клятвам и посулам я противопоставляю реальные факты. У него одни предвыборные обещания, у меня — многолетняя политическая деятельность, в течение которой я неизменно выступал как друг всех низших сословий английского на-

рода, и никто, ручаюсь, не сможет привести хотя бы один-единственный случай, когда бы я изменил их интересам. В заключение позвольте мне сказать, что я благодарю моих друзей и презираю моих врагов». (Аплодисменты, вверх поднимаются избирательные билеты и флаги.)

«Мистер ПОЛЛ!

Три вопроса:

Не является ли мистер Полл агентом набоба княжества Ауд?

Не состоит ли он в тайной переписке с Бонапартом?

Знает ли он, что

500 000

французов готовятся высадиться в Великобритании, прежде чем соберется парламент нового созыва?»

Подобные обращения, взывающие к патриотизму избирателей, представляют собой удачный предвыборный ход: Шеридан одерживает трудную победу большинством всего в 277 голосов.

Череду повседневных событий нарушает смерть Фокса. Окруженный заботами жены и в мире со всем миром, он тихо скончался в том же году, что и Джорджиана, красавица герцогиня. Холодность Фокса ранит беднягу Дана в самое сердце. Он просит, чтобы ему позволили повидаться с умирающим, и его допускают к одру больного. Но побеседовать с ним с глазу на глаз Шеридану так и не удается: лорд Холланд и лорд Тэнет не выходят из комнаты на протяжении всего разговора между бывшими друзьями, краткого и принужденного; очевидно, остаться их попросил сам Чарлз, говоривший с посетителем холодно и сдержанно. Шеридан находит некоторое утешение в том, что ему поручают хлопоты об устройстве похорон, на которых он присутствует в роли одного из самых близких друзей усопшего. В «Короне и якоре» он дает выход своим чувствам — произносит взволнованную речь, исполненную горького сожаления по поводу кончины наставника: «Бороться бок о бок с таким человеком за дело подлинной свободы, сражаться плечом к плечу с ним против угнетения и продажности... было счастьем всей моей предшествующей политической жизни. Я гордился его дружбой и считал ее за великую честь для себя».

После роспуска парламента в конце 1806 года оказывается, что ряды сторонников правительства в парламенте нового созыва еще больше поредели; король ждет первого подходящего случая, чтобы отстранить от власти эту неприятную ему компанию. Как раз в это время возобновляется рассмотрение вопроса о предоставлении католикам возможности занимать государственные должности. Под-

готовленный законопроект направляют королю на утверждение. Георг возвращает этот билль непрочитанным, из чего Гренвилл делает ошибочный вывод о том, что монарх не возражает против его принятия. Министры полагают, что Георг впал в апатию и безразличен к государственным делам. Они заблуждаются. Георг сообщает Гренвиллу, что он никогда не изменит своих мнений по этому вопросу и никогда не согласится ни на какие уступки католикам. «Если бы я дал согласие на уравнивание в правах католиков,— говорит король герцогу Портлендскому,— я нарушил бы свою присягу и утратил бы право на корону». Гренвилл является к королю и уведомляет его, что кабинет не может уступить. «Это ваше окончательное решение?» — спрашивает Георг. «Да», — отвечает Гренвилл. «В таком случае,— произносит король,— я должен буду подыскать вам замену». Акция кабинета весьма неблагоприятна, и уже в марте 1807 года «министерство всех талантов» терпит крушение. «Я знавал многих людей, которые пытались прошибить лбом стену,— замечает по этому поводу Шеридан.— Но я никогда не слыхивал, чтобы люди собирали камни и строили из них стену с одной-единственной целью — разmozжить об нее себе голову».

(«Хоть быть остроумным всегда Вы умели,
На сей раз послали стрелу мимо цели:
Коль дело такое, понять должны Вы,
Что нет у бедняг на плечах головы!»)

Шеридан подходит к этой истории с законопроектом как мудрый государственный деятель. «По-моему, они начали не с того конца. Политику восстановления справедливости по отношению к Ирландии следовало бы начать с удовлетворения хижины, а не особняка, окруженного парком. Да ведь если бы действительно были приняты меры по уравниванию в правах сначала тех католиков, которые принадлежат к высшим сословиям, по предоставлению им возможности становиться судьями, членами палаты лордов и палаты общин, то я больше чем уверен, что такие меры, скорее всего, лишь усугубили бы недовольство, так как в них, возможно, усмотрели бы намерение расколоть католиков, сыграть на различии их интересов. Я совершенно убежден в том, что подобные меры, не преследующие целей облегчения положения или успокоения католического населения (я имею в виду бедноту, крестьянство), оказались бы безрезультатными. Это было бы все равно что украшать и расцвечивать флагами мачты корабля, в то время как трюм его полон воды, или же надевать шляпу с кружевной отделкой на человека, у которого нет никакой обуви. *В деле оказания помощи народу Ирландии начинать нужно с хижин...* Если вы хотите расположить к себе ирландцев, сделайте для начала что-нибудь такое, что бы завоевало их привязанность. Вы хотите,

чтобы Ирландия проявляла доблесть, и отнимаете у нее поводы для этого; требуете от ирландцев верности и лишаете их конституционных привилегий. Согласно злополучному биллю, внесенному на рассмотрение, но проваленному, офицеру-католику, во всяком случае, представлялась возможность сделать карьеру, так что он больше не был бы обречен на служебное прозябание без надежды на продвижение.

Карл I спросил у Селдена, каким способом лучше всего справиться с восстанием, на что Селден ответил: «Устранить его причину». Устраните причину недовольства в Ирландии, и недовольство исчезнет».

С 27 марта 1807 года кабинет министров — вернее, то, что от него осталось после краха, — возглавляет герцог Портлендский. После смерти герцога его место у кормила правления занимает Спенсер Персевал, канцлер казначейства. Персевал — доблестный воин. По образному выражению одного члена палаты, «это не линейный корабль, но все же боевой корабль, хорошо вооруженный, крепко сколоченный и бороздящий волны в любую погоду».

Роспуск парламента имеет для Шеридана последствия катастрофические. Многие виги испытывают большое желание полностью от него избавиться. Он утратил расположение своих друзей в Стаффорде, поддерживавших его в течение четверти века, а лорд Холланд с негодованием отвергает его притязания на роль преемника Чарлза Фокса.

Отчасти из-за эгоистического поведения Гренвиллов Шеридан терпит на выборах в Вестминстерском округе поражение от сэра Фрэнсиса Бэрдетта и столкнувшегося с ним демагога-портняжки Полла. После этого Шеридану приходится прибегнуть к помощи принца Уэльского, который подыскивает для него другой избирательный округ — Илчестер.

Но на этом политические злоключения Шеридана не кончаются. Его безжалостно высмеивают в «Антиякобинце» и «Букете всех талантов».

«Увы, писать нет больше сил,
Слезами стол я окропил,
Передо мной — пустой стакан,
В груди — пылающий вулкан.
Жар залил щеки, нос мой ал,
А мозг кипящей лавой стал.
Красны глаза в глуби орбит,
И, как в ночи метеорит,
Мой взор сверкает и горит...

Есть все причины у меня
Лить слезы, меры те кляня,
Из-за которых не у дел
Остался я и оскудел.
Не ем, не пью, карман пустой,
В унынье кредиторов рой,
А Полл, ничтожный вертопрах,
Глумится, мой смакуя крах.
Что делать мне? Кредита нет,
И нету в кошельке монет.
С умом моим снабжу легко
Себя бургундским и клико,
Но есть и потруднее спорт:
Как будет *Шерри* искать свой *порт*?»

Из письма Фредрика Фостера Огастесу Фостеру, писанного 30 июля 1806 года, незадолго до кончины Фокса: «К сожалению, должен сообщить тебе, что Фокс по-прежнему тяжело болен, и, боюсь, неизлечимо. У него водянка и, похоже, не только это. Но так как он обладает очень крепким организмом и, судя по всему, здоровыми легкими, мы все же не можем не питать надежды на его выздоровление. Смерть его явилась бы поистине ошеломляющей утратой. Как ужасно сознавать, что на наших глазах один за другим умерли почти все, кто олицетворял собой талант, гений и достоинство нашей страны: Нельсон, Питт, Корнуоллис и наша милая, очаровательная герцогиня. Боже ты мой, какая перемена за один год! Возвратясь, ты совсем не узнаешь Англии».

Из письма Элизабет Фостер Огастесу Фостеру от 18 октября 1807 года: «Принц забросил политику, прекрасно ладит с королем и живет ради одной только леди Хертфорд. C'est vrai, je t'assure; à 50 ans près, elle a captivé le Prince. Il ne vit, ne respire que pour elle et par elle; la ci-devant amie est inquiète et triste. Je la plains, car c'est une bonne personne qui n'a jamais abusé de son pouvoir¹; что же касается герцогини Брауншвейтской, то ее не видно и не слышно, как если бы она находилась в Гольштейне».

¹ «Это истинная правда, уверяю тебя; в свои без малого пятьдесят лет она совершенно покорила принца. Его одной и ради нее одной он живет и дышит; прежняя его подруга грустит и не находит себе места. Мне ее жаль: она славная женщина и никогда не злоупотребляла своей властью» (*франц.*).

Шеридан по-прежнему ведет беспорядочную жизнь, блистая в парламенте и в свете. Выступив накануне ночью в палате общин с речью по поводу отмены билля о дополнительных вооруженных силах и произнеся великолепное похвальное слово — дань памяти покойного Питта, он начинает сегодняшний вечер развлечений в гостиниой у лорда Каупера, продолжает у Мелбурна, а в два часа пополудни «этот ужасный Шеридан» подбивает своего друга Гриви закатиться к Бруксу, после чего в пятом часу утра заботливо провожает своего спутника домой и поднимается вместе с ним в спальню к миссис Гриви, где весело, хотя и не вполне внятно, повторяет свои остроты.

Шеридан проводит осень в Брайтоне, с головой уйдя в бурные развлечения. Пятидесятилетний мужчина, он резвится, как расшавившийся мальчишка. Однажды, когда в Павильоне показывали фантазмагорию и все присутствующие сидели в полной темноте, он уселся на колени к мадам Жеребцовой, высокомерной русской даме, которая подняла такой крик, что переполошила весь город. Принц, конечно, в восторге от выходов Шеридана, но Шеридан много пьет и доводит себя этим до болезни. У него начинается жар, лихорадка. Пощупав его пульс и найдя, что сердце бьется очень учащенно, Гриви дает ему подогретого белого вина. Больной выпивает целую бутылку, и его пульс почти сразу становится нормальным. Вечером Шеридан перебирается домой и просит Гриви передать принцу, что он нездоров и лег спать.

Когда где-то около полуночи в Павильоне подают ужин, принц, подойдя к Гриви, спрашивает: «Чем это, скажите на милость, вы занимались сегодня с Шериданом? Обедал он, как мне известно, у вас, и его целый день не было видно». Гриви говорит в ответ, что Шеридан почувствовал себя нездоровым и лег в постель. Принц громко смеется, показывая, что считает все это выдумкой, после чего берет бутылку бордо и бокал и вручает их Гриви со словами: «А теперь, Гриви, ступайте к одру больного и передайте ему, что я хочу выпить с ним бокал вина. Если он откажется, то, значит, он действительно очень плох».

Гриви просит избавить его от этого поручения, но, так как принц настаивает, ему приходится идти. Заглянув в комнату к Шеридану, Гриви застает его лежащим в постели. Шеридан сразу же открывает глаза и говорит: «Заходите. Я вижу, это какая-то шутка принца, но мне сейчас совсем не до шуток».

Гриви приносит Шеридану свои извинения и отправляется об-

ратно с невыпитой бутылкой. Только после этого принц соглашается поверить, что Шеридан болен. Часа в два ночи, когда ужин давно уже окончен и в разгаре танцы, появляется Шеридан, густо напудренный и нарядно одетый с головы до ног. Он заходит поужинать на кухню, шутит со слугами, одним духом выпивает бутылку бордо, возвращается в бальный зал и танцует без передышки до четырех часов утра.

На многолюдном балу в доме леди Каролины Шеридан входит в узкий кружок избранных, которые, уединившись на первом этаже, ужинают в обществе леди Мелбурн и принца и засиживаются за столом до шести утра. Весь следующий день Шеридан мертвецки, беспробудно пьян.

Шеридану необходимы «свежий воздух, покой и здоровый образ жизни» — блага, которые ему редко удается вкушать. Всеми этими благами он пользуется, когда гостит несколько дней в Ричмонд-хилле, но эти дни слишком мало значат в его жизни. Он с удовольствием занимается хозяйством в своем полденском имении, любит ходить под парусом и иногда посвящает этому занятию свой досуг, но чаще всего он ведет нездоровое городское существование: ночной образ жизни, духота переполненных залов, лихорадочная погоня за развлечениями.

Умирает его верный друг и собутыльник Ричардсон. Шеридан, задержанный герцогом Бедфордским, с которым у него было срочное деловое свидание, является на похороны с четвертьчасовым опозданием и обнаруживает, что церемония погребения уже совершена, так как владелец похоронного бюро торопился и не мог ждать. Ближайший друг покойного в отчаянии. Ведь теперь в городе станут говорить, что, даже когда нужно было отдать последний долг праху своего самого дорогого друга, он и тут проявил вопиющую необязательность. Священник, тронутый его горем и мольбами, соглашается повторить отпевание, и это приводит непунктуального друга Ричардсона «в состояние какого-то скорбного ликования». Однако по возвращении в Лондон Шеридан испытывает такой острый приступ отчаяния и горя, что начинает биться головой о дверь ближайшего дома. А пару недель спустя, встретившись с лордом Тэнетом и выслушав от него соболезнование, Шеридан отвечает в своей обычной легкомысленной манере: «Да, такая неприятность! А все из-за того, что он пил это гнусное бренди с водой».

Но на самом деле Шеридан глубоко переживает эту утрату. «Если ты станешь говорить о том, что собираешься теперь уйти от меня, — пишет он жене, — то, видит бог, это меня доконает. Я совсем разбит, не могу ни спать, ни есть». Дело в том, что Эстер, так же как в прошлом Элизабет, настаивает на раздельном жительстве. Однако вскоре она примиряется с супругом.

Шеридан берет под свое покровительство Тома Степни, камерди-нера и секретаря герцога Йоркского. Однажды оба они крепко вы-пили, и Шеридану взбрело в голову представить Степни какому-то познакомцу, что он и сделал со следующими словами: «Я страшно люблю знакомить людей с моим другом Степни, когда могу предста-вить его в наиболее приятнейшем свете; уже сейчас у него язык за-плетается, а после того, как он выпьет еще стаканчик, он вовсе ли-шится дара речи — вот тогда я и представлю его вам».

Степни, которому эта шутка не очень понравилась, впоследствии пытался отыграться. Воспользовавшись удобным случаем, он го-ворит Шеридану, что хотел бы задать ему один деликатный вопрос; может ли он, как друг, рассчитывать на искренний ответ? Шеридан отвечает утвердительно. «Дело вот в чем,— говорит Степни.— В об-ществе поговаривают, что вы утратили свои таланты и преврати-лись в пустого болтуна. Я по мере возможности старался оспари-вать подобные утверждения, но теперь вижу, что с каждым днем они становятся все более основательными. Так скажите же мне, Шеридан, по совести — это правда?»

Вечером 24 февраля 1809 года Шеридан сидит на своем обычном месте в палате общин и готовится выступить по вопросу о войне в Испании, как вдруг за окнами взметается багрово-красное зарево. Вскоре становится известно, что горит Друри-Лейн. Парламен-тарии предлагают прервать — в знак уважения к Шеридану — за-седание палаты, но Шеридан просит палату воздержаться от подоб-ного выражения сочувствия и не откладывать государственную ра-боту на благо империи из-за его личных несчастий. Он спокойно вы-ходит из зала и направляется к месту происшествия.

Некоторое время спустя двое актеров, зайдя в одну из коvent-гарденских кофеен, замечают Шеридана, который стаканами пьет портвейн. Один из актеров не может удержать возгласа недоумения и негодования, когда Шеридан, подняв глаза, говорит им: «Может же человек позволить себе выпить стаканчик у своего пылающего камина!» Услышав, что они собираются пойти поглядеть пожар, он выражает желание отправиться вместе с ними. Они выходят из ко-фейни и проталкиваются через толпу зевак, запрудившую рыночную площадь и Расселл-стрит. Шеридан с полнейшим самообладанием наблюдает, как пламя уничтожает его театр. Спутники в конце кон-цов выражают свое удивление по поводу того, как это ему удастся сохранять подобное хладнокровие, когда у него на глазах гибнет все его состояние. «На свете есть всего лишь три вещи, из-за которых мужчина вправе потерять самообладание,— отвечает Шеридан.— Утрата любимого существа — я пережил такую утрату; физическая

боль, которая, как бы ни уверяли нас философы, что презирают ее, причиняет серьезные страдания, — я испытал ее; но самое мучительное — это угрызения совести; их, слава богу, я не испытывал никогда!»

В огне помимо прочего имущества Шеридана погибли орган, принадлежавший некогда Генделю, и большие часы, принадлежавшие в прошлом Гаррику. Погибли также и две вещи, которые были для Шеридана бесценными сокровищами: бюст принца Уэльского работы Ноллекенса и клавесин Элизабет Линли.

По просьбе Шеридана пивовар и меценат Сэмюэл Уитбред, человек, известный своим упорством, берется создать комитет для восстановления Друри-Лейна: строительства здания театра, укомплектования труппы и финансирования всего этого предприятия. Уитбред формирует большой комитет, в который впоследствии входит и Байрон. Вскоре удается собрать часть необходимых денег и приступить к осуществлению намеченного плана. Создаются проекты здания театра, безопасного в пожарном отношении. В октябре 1811 года был заложен первый камень нового здания, а ровно год спустя гостеприимно распахиваются двери Друри-Лейна. Стихотворцы оспаривают друг у друга право стать автором пролога, который будет прочитан на торжественной церемонии открытия театра. Свои варианты пролога предлагают и Чарлз Шеридан, и Уильям Линли, и даже Уитбред. Стихи Уитбрета — как, впрочем, и всех остальных — построены на ассоциациях с птицей феникс. «Но Уитбред выжал из этой птицы больше, чем другие соискатели, — заметил впоследствии Шеридан. — Он вдался в подробности и описал ее крылья, клюв, хвост и прочее; одним словом, получилось описание феникса с точки зрения торговца дичью». В конце концов стихотворный пролог вызывается написать Байрон — его адрес и зачитывают на открытии театра. В нем есть такие строки: «Когда еще наш Гаррик не ушел и Бринсли нам дарил свои созданья».

Театральные дела сближают молодого поэта и старого остроумца, и они проводят вместе немало веселых вечеров. И хотя Байрон на тридцать лет моложе Шеридана, он понимает его, как никто другой. Он разделяет чувства Шеридана; насквозь видит политическую среду, в которой тот вращается; восторгается его способностями. Байрон постоянно встречается с Шериданом у герцога Девонширского, у Холланда или в уютной маленькой гостиной Сэмюэла Роджерса. Шеридан говорит, Байрон и Роджерс слушают. Иногда Роджерс вставит какой-нибудь анекдот. Например, о том, как англичанин с французом поссорились и должны драться на дуэли. А поскольку оба дуэлянта — страшные трусы, они уговариваются стреляться в совершенно темной комнате (разумеется, для того, чтобы не попасть друг в друга). Первым должен стрелять англичанин. Он ощупью

добирается до камина, просовывает пистолет в дымоход, стреляет... и в камин падает подстреленный француз, который, оказывается, спрятался в трубе.

В июле 1810 года лорда Гренвилла официально вводят в должность почетного ректора Оксфордского университета, а в числе кандидатов на присуждение почетной степени называют Шеридана. Приглашенный в Оксфорд драматург прибывает на церемонию торжественного чествования, но в последний момент решение о присуждении Шеридану почетного звания отменяется «из-за трех нелюбезных голосов против». И несмотря на то, что весь университет негодует; несмотря на то, что на латыни произносится горячая речь о том, какой это позор — тайно вычеркивать из списков столь прославленное имя, поправить дело нельзя. Однако, как только Шеридан входит в театр, гда должна состояться церемония, студенты начинают громко скандировать: «Шеридана — с докторами! Шеридана — с докторами!» Переположившиеся кураторы усаживают его среди докторов, где он восседает без мантии, но в ореоле славы, наблюдая, как почетные степени получают другие. Это шумное стихийное выражение любви радует его больше, чем многие другие овации в его честь.

Но вскоре Шеридана ждет еще одно огорчительное потрясение. Немезида, богиня возмездия, давно подстерегает его и принимает обличье Уитбрета, чтобы нанести ему удар. Уитбред — человек добрый и всеми уважаемый, хотя и несколько эксцентричный. Так, например, он исповедует убеждение, что парламент должен в законодательном порядке устанавливать прожиточный минимум. Однако в деловых вопросах он крут и непреклонен. Шеридан надавал ему на первых порах кучу обещаний, которыми он раньше так успешно заменял всякое дело, и теперь вдруг обнаруживает, что Уитбред неумолимо требует их выполнения. Для Шеридана все это так неожиданно и ново, что он теряется, и ему впервые в жизни изменяет его находчивость.

Когда Уитбред обещал свою помощь, Шеридан преисполнился к нему таким чувством благодарности, что без колебания согласился на все его условия, причем сделал это в письменной форме. А условия таковы. Он, Шеридан, не должен иметь никакого отношения, никакого касательства к новому предприятию. Далее, Шеридан отказывается — причем условие это предложил он сам — от права на получение любых платежей до того, как средства, собранные по подписке, будут употреблены на строительство театра. В довершение всего Шеридан уполномочивает Уитбрета удовлетворять денежные требования его, Шеридана, кредиторов прежде, чем его собственные. Безжалостный и прозаичный Уитбред неукоснительно придерживается буквы этих приглашений. Когда Шеридан предлагает советы относительно нового театра, ему говорят, что он не имеет права

вмешиваться, и настоятельно просят его держаться в стороне — «тогда все будет в полном порядке». Он ушам своим не верит, слыша подобные речи, и никак не может убедить себя в том, что Уитбред поступает законно и справедливо, отказывая ему в просьбах о немедленной выплате денег «из причитающейся мне, по общему признанию, крупной суммы (только из-за того, что я подписал, не читая, какую-то бумагу, которую Вы приставили к моей груди, как зарыженный пистолет...»).

В конце концов Шеридан получает свой пай — 28 тысяч фунтов облигациями (ввиду отсутствия наличных), но его решительно отстраняют от театральных дел. Это изгнание из театра больно ранит Шеридана. «Какие бы ни были у меня основания жаловаться на Шеридана, как бы ни винила я его в том, что он лишил меня покоя и счастья, — пишет Эстер лорду Холланду, — я не могу, видя его столь *глубоко уязвленным*, не ощутить всей силы моего к нему расположения... В вопросе вчерашних дебатов я всей душой, всем сердцем на стороне Шеридана».

2

В конце 1810 года умирает любимая дочь короля, принцесса Амелия, и от горя у старика непоправимо помрачается рассудок. Он начинает толковать о лютеранстве, о его превосходстве над англиканской церковью и доходит до пламенных панегириков этому вероисповеданию, не упоминая, впрочем, о подлинной причине такого предпочтения — допущении лютеранством морганатических браков. То ему кажется, что он заперт среди прочих допотопных тварей в Ноевом ковчеге, то он вообразит, что наделен сверхъестественными силами — тогда он, осердясь на кого-нибудь из своих служителей, топает ногой и грозит отправить его в преисподнюю. Зайдя в комнату больного в один из периодов просветления, королева застаёт его поющим псалмы и аккомпанирующим самому себе на клавесине. Кончив петь, он становится на колени и молится вслух за свою супругу, за всю свою семью, за свою страну и, наконец, за себя, прося господина отвратить постигшую его тяжкую беду или послать ему терпения в несчастье. Не в силах сдержать нахлынувшие чувства, он заливается слезами. С этого момента рассудок окончательно покидает его.

Лишившийся ума король находит большое утешение в религии. Так, однажды он заявляет: «Хотя я лишился зрения и живу в заточении, оторванный от общества и от моей возлюбленной семьи, я все еще могу обращаться к моему отцу небесному» — и с этими словами приобретает святых даров. Несчастлив он бывает лишь тогда, когда ему не подадут к обеду любимые его кушанья: холодную баранину с

салатом, яйца ржанки, тушеный горох и пирог с вишнями. Король пугается (это он-то, кто, будучи в здравом уме, не ведал страха), когда его предлагают побрить. «Если эта процедура необходима, — говорит он, — то я должен буду вызвать стражу с алебардами».

Король любит бродить по коридорам — то тут, то там проплывает фигура старца с длинной седой бородой, в шелковом халате и отороченном горностаем ночном колпаке, ведущего воображаемые беседы с давно умершими министрами.

Времяпрепровождение это столь ему приятно, что иной раз приглашение к обеду застаёт его врасплох. «Неужели уже так поздно? — восклицает он. — Quand on s'amuse, le temps vole»¹. Король пребывает в твердом убеждении, что принцесса Амелия жива и обретается в Ганновере, что она счастлива, вечно молода и красива. Кроме того, он убежден, что леди Пемброк — его жена. Ее отсутствие сердит его. «Как это странно, Эдолфес, — говорит он герцогу Кембриджскому, — что меня до сих пор не пускают к леди Пемброк, хотя все на свете знают, что я женат на ней. Но вот что самое ужасное: этот гнусный негодяй Хэлфорд присутствовал на моей свадьбе, а теперь имеет наглость говорить мне в лицо, будто этого не было!»

Король больше не причисляет себя к обитателям этого света и нередко, сыграв одну из своих любимых мелодий, замечает, что эта вещь очень нравилась ему в пору земной жизни. Он вспоминает королеву и всю свою семью и выражает надежду, что им всем сейчас хорошо живется, — он так любил их, когда был с ними. Убеждение короля, что он уже умер, является одним из его стойких бредовых представлений. «Я хочу заказать себе новый костюм, — говорит он однажды. — Черный костюм в память о Георге III, потому что это был хороший человек».

Сразу же вновь извлекается на свет божий старая-престарая проблема регентства, и Шеридан оказывается вовлеченным в хитросплетение интриг с темными, подозрительными, продажными людшками. Критическая ситуация возникает в такой момент, когда обстоятельства не позволяют Шеридану с честью выйти из этой переделки. Здоровье его подорвано, финансовое положение отчаянное. К тому же он почти все время пьян. Хуже всего то, что он связан по рукам и ногам своей лояльностью по отношению к принцу Уэльскому — человеку, которого Гренвилл справедливо назвал «самым презренным, трусливым, бесчувственным и себялюбивым подлецом на свете». Увы, Шеридан питает чувство беззаветной преданности к этому человеку, «чье благорасположение — гордость и от-

¹ Когда развлекаешься, время летит (франц.).

рада моей жизни, частной и общественной... Ни одного монарха, ни одного принца, ни одного человека не любили так крепко и чисто, как люблю и буду до гроба любить Вас я, мой милостивый принц и повелитель...».

В отличие от Фокса и Гренвилла Шеридан не намеревается использовать принца как палку для устрашения правительства и, следовательно, для сосредоточения в своих руках реальной власти. Он не стремится выйти в лидеры. У него совсем другая цель: всегда оставаться рядом с принцем — если понадобится, то и неофициально, — быть его наперсником и советчиком. Его не тянет играть первые роли на авансцене политики — он хотел бы нажимать на секретные пружины, тайно влиять на ход дела. Это больше льстит его тщеславию. Он отнюдь не жаждет стать центральной фигурой, но ему невыносима сама мысль об уходе с политического поприща. Занятая им позиция не допускает никакой альтернативы. Он должен держаться принца или исчезнуть с политических горизонтов, но Шеридан не может заставить себя уйти с политической арены. Его тщеславию оказывается сильнее гордости. Вдобавок к этому он ненавидит Гренвилла, который относится к нему с высокомерным презрением. По всем этим многообразным и взаимопереплетающимся причинам Шеридан играет во время политического кризиса, связанного с установлением регентства, довольно двусмысленную роль.

В парламенте обсуждается вопрос об ограничении регентских полномочий, и тори во главе со своим премьер-министром Персевалом вырабатывают соответствующий проект предложений. Эти предложения представляются на рассмотрение принцу, который просит Грея и Гренвилла составить на них ответ. Кажется бы, перспектива ясна. Персевал должен будет уйти, они займут его место и расставят фигуры на политической шахматной доске по своему собственному усмотрению. Но благородные лорды составляют такой документ, который приходится принцу очень не по вкусу: они фактически безропотно соглашаются с принципом ограничения его прерогативы, принося, таким образом, в жертву его интересы. Тогда Шеридан, к которому принц обращается за советом, сочиняет документ, больше отвечающий пожеланиям будущего регента. Грей и Гренвилл, вне себя от возмущения, заявляют принцу письменный протест, в котором выражают «свое глубокое беспокойство по поводу того, что, как им стало известно, плод их скромных усилий на службе его высочества был представлен на суд другому лицу, чьим советом его высочество и воспользовался при принятии окончательного решения по вопросу, чести разработать который его высочество удостоил только их, недостойных». Далее авторы этого протеста указывают на то, какими неудобствами может быть чревато вмешательство не уполномоченных на то советчиков в дела, ответственность

за ведение которых возложена, практически и конституционно, на них одних.

Подобное заявление столь же смело, сколь и неблагоразумно. Лорда Гренвилла подводит его страсть к бумаге и чернилам. Она берет верх над всеми прочими соображениями. Принц показывает письмо Шеридану, и тот, раздосадованный всей этой историей, едко высмеивает обвинение в том, будто бы он неправомерно оказывал влияние на принца, и заявляет, что он с начала до конца действовал по поручению принца и что составленный им краткий ответ имел целью примирить мнения спорящих сторон. При этом он добавляет, что, пока Грей и Гренвилл не станут официально министрами, они не являются с формальной точки зрения ответственными лицами. Ссора кончается тем, что Георг, приведенный в ярость диктаторским тоном вигских лидеров и опасющийся, как бы Гренвилл не поднял вновь вопрос о католиках, оставляет у кормила власти Персевала. Шеридана считают главным виновником поражения вигов. Лорд Гренвилл никогда больше не встречается с Шериданом, а лорд Грей держится с ним при встречах крайне сухо.

11 мая 1812 года премьер-министр Персевал становится жертвой политического убийства. Кабинет ошеломлен и обескуражен его гибелью. Предпринятая было попытка укрепить состав кабинета кончается провалом. Ввиду невозможности достичь соглашения палата общин вмешивается в это дело и обращается к регенту с просьбой сформировать сильное и энергичное правительство. Регент призывает к себе Уэллесли и предлагает ему пост премьера, но Уэллесли вскоре обнаруживает, что Ливерпул со своими приверженцами-тори наотрез отказываются войти в кабинет, главой которого он собирается стать, тогда как Грей и Гренвилл согласны войти в его правительство лишь на таких условиях, которые для него неприемлемы. Вопрос о католиках и война на Пиренейском полуострове оказываются для него камнем преткновения. Главное же, регент не потерпит привлечения к участию в правительстве этих задиристых вигов, сторонников Гренвилла — это уж наверняка! Регент закатывает истерику за истерикой. Он то и дело плачет навзрыд, впадает в иступление, бьется в припадках, вселяя в окружающих опасение, что у него помутился разум. После Уэллесли он обращается с просьбой сформировать правительство к лорду Мойра — тот уклоняется. В запальчивости регент обзывает Грея и Гренвилла парой негодяев, но вскоре вступает с этими высокомерными вигами в переговоры и поручает им задачу формирования кабинета. Грей и Гренвилл соглашаются взять бразды правления только на условии отставки двора. Принц, поддерживаемый лордом Мойра и Шериданом, категорически отказывается удовлетворить это требование. Переговоры прерываются. Уэллесли тщетно пытается сформировать кабинет, и в этот кри-

тический момент вице-гофмейстер королевского двора лорд Ярмут уведомляет Шеридана о том, что двор подаст в отставку сразу после официального введения Грея и Гренвилла в должность. Конечно, это не то же самое, что заблаговременное увольнение двора принцем, и благородные лорды, возможно, сочли бы такое решение неприемлемым, но сообщение лорда Ярмута представляло бы для них несомненный интерес, и Шеридану следовало передать его. Шеридан этого не делает. Более того, уже после разговора с Ярмутом он заключает в присутствии Тайерни пари на пятьсот фунтов стерлингов, что двор не подаст в отставку. В конце концов регент закусывает удила и перестает считаться с кем бы то ни было. В результате к власти приходят тори во главе с Ливерпулом, а виги остаются не у дел вплоть до времени принятия билля о реформе парламента.

Едва только Ливерпул вступает в должность премьер-министра, как выходит наружу правда о поступке Шеридана, утаившего важную информацию. Со всех сторон на него сыплются упреки и обвинения. Поговаривают даже, будто Ярмут просил его сообщить о решении двора самому Понсонби, неофициальному лидеру оппозиции. Шеридан энергично отрицает это. Что бы там ни было, он поступил по отношению к вигам весьма нелояльно, даже если и не совершил предательства. Самое же неблагоприятное в этой истории — пари.

Шеридану приходится давать объяснения по этому весьма неприятному вопросу перед палатой общин. Пытаясь оправдаться, он почти не касается подлинного существа дела. Так, 17 июня 1812 года он красноречиво говорит о принце-регенте, отводя от себя обвинение в подострастии и отвергая «эти вздорные домыслы о тайном влиянии». Затем он уклоняется в сторону — затрагивает проблему католиков-ирландцев, подходит к вопросу о королевском дворе, но вдруг запинается и страдальчески проводит рукой по лбу. Члены палаты предлагают ему сесть. Он садится, выпивает воды и пытается продолжить свое выступление, но смолкает, охваченный непреодолимой слабостью. 19 июня, почувствовав себя лучше, он выступает вновь и говорит о пари в легкомысленном, почти игривом тоне, но тем не менее четко определяет свою позицию: «Мой достойный друг [Тайерни] сказал мне: «Говорят, двор собирается подать в отставку». Я ответил, что не верю этому. Спрашивается, почему я не поверил?.. Мне было известно, что отставка зависит от одного условия, исполнение которого представлялось в момент заключения пари менее вероятным, чем когда бы то ни было». Тут он снова взбирается на своего конька — говорит об уравнивании в правах католиков, а в заключение подчеркивает свое политическое бескорыстие.

«Вся его речь, — записывает в дневнике Грей Беннетт, — несла на себе явственную печать старческого слабоумия и ничем не напо-

минала речи прежнего Шеридана. Он перезабыл все факты и выглядел таким жалким, что припереть его к стене было бы просто жестоко. Тайерни и Понсонби не стали наседавать на него. Тайерни сказал мне, что Шеридан, по его мнению, человек конченный. Во время выступления у него вдруг спазматически сжались челюсти, так что больше он не мог произнести ни слова. Никогда не видел я зрелища более горестного».

После 19 июня Шеридан выступает в парламенте еще шесть раз, и последняя его речь, произнесенная 21 июля по вопросу о предложении Францией мира, представляет собой лишь слабый отголосок былой его ораторской славы. «Бессмертие наций не во власти простых смертных. Но в их власти — мужественно сражаться и доблестно погибать. Возьмем нашу страну. Каковы бы ни были ее недостатки, все равно условия, существующие в ней, сейчас лучше, чем когда бы то ни было. Возьмем нашу конституцию, которая, конечно, нуждается во многих реформах, но тем не менее обеспечивает людям на практике наибольшую безопасность, когда-либо предусматривавшуюся человеческой мудростью. Но, хотя нам есть за что сражаться, наша борьба может и не закончиться победой. Даже великая Британия, отстаивающая свою честь и свои права, может растратить свои богатства, пролить кровь лучших и храбрейших своих сыновей и все же в конце концов пасть. Однако если после покорения и разорения всей Европы найдется летописец, который запечатлеет ужасные события, приведшие к всеобщей катастрофе, то пусть этот летописец, рассказав о величии и славе Британии, напишет: «Она пала в борьбе, а вместе с нею погибли все лучшие гарантии человечности, могущества и чести, величия и славы, свобод и вольностей всего цивилизованного мира».

ГЛАВА 18

СЦЕНА ПОСЛЕДНЯЯ

Конец политической карьеры Шеридана бесславен. На всеобщих выборах 1812 года Шеридан вновь выставляет свою кандидатуру в Стаффорде и терпит поражение. Он горько упрекает Уитбрета, утверждая, что отказ последнего выплатить авансом две тысячи фунтов, необходимые для проведения избирательной кампании, стоил ему места в парламенте. Но подлинная причина провала Шеридана кроется в его неспособности заставить себя действовать. Все усилия тщетны — Шеридан до последней возможности оттягивает свой отъезд из Лондона и отбывает в Стаффорд лишь тогда, когда почти не остается шансов прибыть туда вовремя, чтобы успеть развернуть эффективную предвыборную кампанию. Но и по прибытии в Стаффорд

он бездеятельно проводит время в гостинице, тогда как собравшиеся снаружи избиратели шумно требуют, чтобы он вышел к ним. В результате — поражение на выборах. Однако еще до отъезда Шеридана из города избиратели, похоже, уже в полном отчаянии оттого, что не отдали ему свой голоса, — такое обаяние исходит от этого человека.

После провала на выборах в Стаффорде у Шеридана остается одна надежда — на помощь принца-регента, чьим благорасположением он по-прежнему пользуется. Принц предлагает провести его в парламент в качестве представителя от Вутон-Бассетского избирательного округа и выделяет для этой цели три тысячи фунтов стерлингов. Шеридан отклоняет это предложение, боясь утратить свою политическую независимость. Но он хотел бы взять эти деньги у регента взаймы, с тем чтобы самостоятельно «купить» этот округ. Впредь до выяснения вопроса упомянутая сумма отдается на хранение стряпчему, некому мистеру Кокеру. Но когда Шеридан после долгих колебаний наконец принимает решение не баллотироваться в парламент, он забывает уведомить Кокера о назначении этих денег и о том, как надо ими распорядиться, и Кокер считает за благо взять их себе в порядке взыскания долга с Шеридана. Однако некоторое время спустя Георг в разговоре с Крокером жалуется на то, что Шеридан якобы надул его, присвоив деньги, предназначенные для выборов: приняв его, Георга, предложение, он затем незаконно воспользовался тремя тысячами фунтов для уплаты долга стряпчему, которому эта сумма была передана на хранение. Шеридан, дескать, разыграл сцену отъезда в Вутон-Бассет, но на самом деле остался в Лондоне, будучи подкуплен Уитбредом, который дал ему две тысячи фунтов в обмен на обещание больше не выставлять свою кандидатуру в парламент. По словам принца, взятые обвинения Шеридана и Кокера смахивали на пререкания Локкита и Пичума из «Оперы нищего»¹.

Возможно, принцу представили события в ложном свете, но, что бы ни произошло в действительности, теперь между ним и Шериданом происходит открытый и полный разрыв. Они никогда больше не встречаются и не разговаривают друг с другом, а обвинение принца тяжелым камнем ложится на душу Шеридана, у которого и без того достаточно огорчений.

Навсегда покидает Шеридана его сын Том, унаследовавший от матери слабое здоровье. В 1813 году Том получает назначение на должность казначея Капской колонии и отправляется из Англии на новое место службы, надеясь излечиться в ином климате; вернуть-

¹ «Опера нищего» (1728) — музыкальная комедия английского поэта и драматурга Джона Гея (1685—1732).

ся на родину ему не суждено. «У Вас бы сердце сжалось при встрече с ним — так он изменился! — пишет Шеридан перед прощанием с сыном. — Я провожу с ним все свое свободное время, потому что он, судя по всему, этого хочет; но он так напоминает свою большую мать, говорит таким слабым, задыхающимся голосом, что это убивает меня, отнимает у меня всякую надежду». Позже, когда из далекой Канской колонии приходит весть, что Том при смерти, Шеридан пишет: «Покуда в моем сердце сангвиника, всегда надеющегося на лучшее, могла теплиться надежда, я старался не отчаиваться и верить в выздоровление Тома. Но теперь, поверьте мне, никакой надежды не осталось. Если бы Вы были здоровы, я отправился бы к нему, хотя видеть его умирающим было бы губительно для моих вкопец расстроенных нервов».

Вынужденный жить на скудное жалованье, обеспокоенный болезнью жены и ухудшением собственного здоровья, Шеридан начинает вести все более уединенный образ жизни. Но и теперь, в пору бедности и невзгод, Шеридан не утрачивает своей славы. Байрон и Роджерс по-прежнему часто видятся с ним и восхищаются им как блестящим собеседником. Он затмевает своим остроумием новую плеяду острословов. «У меня на глазах он срезал Уитбрета, вышучивал мадам де Сталь, уничтожал Колмена и расправлялся с некоторыми другими знаменитостями, — писал Байрон. — Над прославленной Сталь, которая могла переговорить Уитбрета и совершенно подавляла его супругу, Шеридан иронизировал».

Мадам де Сталь — сенсационнейшая фигура тех лет. В свете ловят, повторяют и толкуют вкривь и вкось каждую оброненную ею фразу. Она бывает у лорда и леди Джерси, у лорда и леди Хардвик, у лорда Ливерпула, посещает литературные обеды у Холландов и у Роджерса. К числу ее знакомых принадлежат Кэнинг, Грей, Эрскин, Боулз, Крокер, Кольридж, Байрон, Уилберфорс, Макинтош и Кэмпбелл — все знаменитости эпохи. В Лондоне она вызывает такое любопытство, какое вызвал бы разве что сам Наполеон. Ее появление в обществе неизменно производит фурор. Люди влезают на стулья и столы, чтобы увидеть ее. Мадам де Сталь уподобляют «неудержимой лавине», называют «духовной амазонкой», самой яркой звездой на небе, которую славят все прочие звезды. Она говорит без умолку, везде и всюду проповедует, поучает, рассуждает, внушает, спорит. Она произносит длинные речи перед людьми, привыкшими слушать их только в палатах парламента. Самое говорливое существо на свете, она с одинаковой легкостью разглагольствует на четырех языках: немецком, английском, итальянском и французском. (В перерывах между словоизвержениями мадам де Сталь пишет.) Она сыпет латинскими цитатами. Она перебивает Уитбрета, ораторствует перед лордом Ливерпулом, разъясняет принципы английской поли-

тики виднейшим политикам-вигам на следующий день по прибытии в Англию, а день спустя читает политические проповеди политикам-тори. Она высоко отзывается обо всех английских поэтах, не читая их. Ее язык не знает ни минуты покоя. И вот, несмотря на все это, Шеридан, по словам Байрона, иронизирует над ней.

Хотя мадам де Сталь обладает пышно округленными формами, якобы говорящими о поэтическом складе натуры, она являет собой самое диковинное иностранное чудище, которое только доводилось видеть лондонцам. Желтая шляпа на черных кудрях, лавровая ветвь в руке, горящие глаза на лоснящемся грубом лице — все это выглядит весьма необычно. При всем своем безобразии она имеет манеры светской красавицы. Мадам де Сталь в беседе с Шериданом расхваливает его золотое сердце и высокие моральные принципы, а он в ответ превозносит ее женское очарование и изящество.

Сцена с мадам де Сталь — это, увы, блестящая интерлюдия. А вообще-то дела Шеридана становятся все хуже и хуже. Теперь, когда он больше не пользуется парламентской неприкосновенностью, ему угрожает арест за долги. Шеридан распродает свои книги, картины, столовое серебро, продает даже написанный Рейнольдсом портрет Элизабет в образе святой Цецилии, которым он очень дорожил. Из его дома выносят мебель. Миссис Шеридан обращается с мольбами о помощи к Пику, верному казначею старого и нового Друри-Лейна. Она просит то десять фунтов, чтобы расплатиться с прачкой, которой задолжала за год; то небольшую сумму для уплаты долга кредиторам, не желающему больше ждать; то, наконец, всего лишь несколько фунтов — «даже пара фунтов нас выручила бы». Но все ее усилия напрасны. В августе 1813 года Шеридана препровождают в долговую тюрьму за неуплату долга в 600 фунтов стерлингов. «Уитбред, Вы не имеете права держать меня здесь! Ведь это же Ваших рук дело. Боже ты мой, с какой слепой безрассудностью доверился я Вашему слову! Не благоденствия прошу я у Вас, я требую справедливости».

Три томительных дня проводит Шеридан в тюрьме, прежде чем является Уитбред и берет его на поруки. Выйдя на свободу, Шеридан перестает сдерживать себя и заливается слезами. Впрочем, после того как он, по своему обыкновению, выпивает за обедом две бутылки вина, его меланхолия улетучивается.

Похоже, только вино и поддерживает в нем жизнь. От прежнего Шеридана ничего не осталось. Его глаза, все еще блестящие и сияющие, делаются страшными, когда он защищает от нападков свое доброе имя. Улыбка, почти такая же неотразимо обаятельная, как смех миссис Джордан, все реже освещает его лицо. Все чаще по его лицу

текут слезы. Ничего не осталось от его былой сердечности. «Беседу с Вами, он производит впечатление человека себе на уме — сурового, саркастического и эгоистического». Его остроумие «всегда мрачно и порой жестоко; он никогда не смеялся, во всяком случае, при мне — ни разу, а уж я-то наблюдал за ним!» — свидетельствует Байрон. Тем не менее «и последние проблески его гения выше пышного первого расцвета других».

«Бедняга! Он напивается мертвецки и очень быстро». Время от времени поэту случается провозжать Шеридана домой — обязанность не из легких, потому что тот еле держится на ногах, и Байрону приходится поднимать с земли и водружать ему на голову треуголку. Треуголка, конечно, опять летит на землю, а Байрон и сам не настолько трезв, чтобы без конца нагибаться за нею.

Поэт встречается с Шериданом на вечерах и обедах в самых разных местах и в самых разных компаниях: в Уайтхолле вместе с Мелбурнами, у маркиза Тэвистока, у аукционистов Робинсов, у сэра Хамфри Сейви, у Сама Роджерса — короче говоря, в самом различном обществе, — и отмечает, что Шеридан всегда в центре веселой застольной беседы и, когда не пьян, совершенно восхитителен.

Однажды, после роскошного обеда у Робинсов, на котором блистали многочисленные знаменитости и царило всеобщее веселье, Байрон увидел Шеридана плачущим. Из равновесия его вывело что-то замечание о непреклонной стойкости вигов, которые отказывались от высоких должностей во имя верности своим принципам. Повернувшись к сидевшему рядом Байрону, Шеридан горячо произнес: «Ах, сударь, милорду Гренвиллу, графу Грею, маркизу Батскому или лорду Хертфорду с их многотысячными годовыми доходами, приобретенными благодаря синекурам да присвоению общественных денег или ими самими, или их предками, легко похвалиться своим патриотизмом и удерживаться от соблазна; но им не понять, какие искушения пришлось преодолевать тем, у кого были по крайней мере равные таланты, такая же гордость и не менее сильные страсти, но за всю свою жизнь не было за душой ни шиллинга». Говоря это, он содрогался от еле сдерживаемых рыданий.

Лорд Холланд, беседуя с другом, заметил: «За что бы Шеридан ни брался, он неизменно создавал нечто лучшее в своем роде. Так, он написал лучшую комедию («Школу злословия»), лучшую драму (намного превосходящую, на мой взгляд, «Оперу нищего», этот пасквиль на калек и убогих), лучший фарс («Критика», который, правда, слишком хорош для фарса), лучшую эпитафию («Слово о Гаррике») и в довершение всего произнес лучшую речь (знаменитую речь о бегумах), которая остается у нас в Англии непревзойденным шедевром ораторского искусства». Когда Шеридану передали это высказывание, он заплакал.

В октябре 1815 года мы застаем Шеридана за обедом в довольно большой компании: Байрон, Харрис — директор Ковент-Гардена, Даглас Киннард, Колмен и другие. Как это всегда бывает на подобных сборищах, участники поначалу молчат, потом говорят без умолку, потом шумно спорят, потом гомонят все вместе, потом несут околесицу, потом окончательно пьянеют. Байрону и Киннарду приходится сводить Шеридана «вниз по неосвященной винтовой лестнице, которая была сооружена явно до изобретения крепких напитков».

Как-то раз, рассказывает Байрон, на глаза Шеридану попадает его собственное «Слово о Гаррике». Просматривая его, он вдруг натывается на посвящение — эпитафия посвящена автором почтенной леди Спенсер. При виде этого посвящения он приходит в ярость, кричит, что тут явная подделка и что он никогда ничего не посвящал этой гнусной, лицемерной дряни и т. д. и т. п., и еще целых полчаса бранит свое собственное посвящение или, во всяком случае, его предмет.

«Это погибший, конченный человек! — восклицает Байрон. — И все потому, что он плыл по жизни без руля и без ветрил. А ведь ему, как никому другому, всегда благоприветствовал попутный ветер — правда, иной раз слишком уже шквальный. Бедняжка Шерри! Никогда не забуду тот день, который Роджерс, Мур и я провели вместе с ним, когда он говорил, а мы слушали, ни разу не зевнув, с шести часов до глубокой ночи».

Светлый день. В том же 1815 году лорд Эссекс берет с собой Шеридана в Друри-Лейн посмотреть Эдмунда Кина в «Отелло». Шеридан в восторге. В антракте он исчезает из ложи, и лорд Эссекс начинает опасаться, что его спутник неожиданно ушел домой. Но на самом деле Шеридан украдкой направляется в «зеленую комнату», где лорд Эссекс и обнаруживает его гордо восседающим в ореоле своей былой славы. Вокруг Шеридана толнятся актеры, приветствующие его «с поистине сыновней сердечностью», поднимающие в его честь за здравные кубки и уговаривающие его вернуться в театр. (Даже тут он объявляет в ответ, что они еще о нем услышат, после того как герцог Норфолкский поможет ему вернуться в парламент. Подобно Конгриву, он до конца жизни относится к своим театральным триумфам с явным пренебрежением.)

Через несколько дней Шеридан заболевает. Его сотрясают приступы мучительного кашля, которые длятся по восьми часов без перерыва и из-за которых он не смыкает глаз. У него набухают вены, в горле вздувается нарыв. Он не может ни есть, ни спать и медленно угасает. При всей своей бедности Шеридан заставляет врача взять две гинеи, когда тот попытался было отказаться от гонорара. Однако «хватит обо мне» — он хочет поговорить о Гекке. Они с женой помирились, снова дружны, и о ее слабом здоровье он беспокоится

больше, чем о своем собственном. «Никогда больше мы не услышим друг от друга ни единого резкого слова», — пишет он. Куда бы ни отправилась она лечиться — на остров Уайт, в тихий садик под Уиндзором, — он всегда и повсюду будет с нею. Ее письма для него — «праздник и отрада сердцу». Гекка и сама серьезно больна, но она тотчас же собирается домой — ухаживать за больным мужем.

Им по-прежнему не дают покоя кредиторы. Почти всю прислугу приходится рассчитать. Когда миссис Шеридан собирается отпустить свою горничную, выясняется, что у хозяйки не хватает денег — всего одной гинеи, — чтобы расплатиться с ней. Все комнаты стоят пустые, голые. В доме грязно и пахнет нуждой. Шеридан обещает быть 17 марта 1816 года на обеде, устраиваемом по случаю празднования дня святого Патрика¹, но потом оказывается вынужденным уведомить устроителей, что не сможет присутствовать по причине тяжелой болезни. Герцог Кентский, председательствовавший на обеде, пишет Шеридану сердечное письмо; он и не подозревает о его бедственном положении. Но постепенно в свете становится известно, что Шеридан если и не умирает голодной смертью, то близок к этому. Регент, расчувствовавшись (а скорее всего, боясь прослыть человеком бессердечным и невеликодушным), предлагает от щедрот своих двести фунтов, обещав дать впоследствии еще триста. Миссис Шеридан вежливо отклоняет эту подачку. (Узнав, что философ Анаксагор умирает с голоду, его ученик — великий государственный муж Перикл — послал ему денег. «Отнесите деньги обратно, — сказал Анаксагор. — Если он не хотел, чтобы светильник угас, нужно было заполнить его маслом заранее».) Лорд Холланд посылает Шеридану льду и смородинного настоя. Заботится о больном, как говорят, и Грей.

В полуночный час мирную беседу засидевшихся допозна Тома Мура и Роджерса прерывает резкий стук в дверь: посыльный принес записку от Шеридана.

«Сэвил-роу

Дела мои устраиваются таким образом, что 150 фунтов будет достаточно для устранения всех трудностей. Я совершенно разорен и убит горем... Судебные приставы собираются вывесить из окна ковры, ворваться в комнату миссис Шеридан и *забрать меня* — ради бога, приходите».

Наутро Мур с Роджерсом отправляются на Сэвил-роу. Слуга сообщает им, что в ближайшую ночь Шеридану ничего не грозит, но уже завтра на доме будут расклеены объявления о распродаже

¹ Святой Патрик считается покровителем Ирландии.

с молотка описанного имущества. Мур приносит деньги, и расправа отменяется. Заглянув затем к Шеридану, Мур находит, что тот бодр, приветлив, радушен и, как всегда, полон оптимизма: рассуждает о доходах, которые принесет последнее издание его драматических произведений, выражает уверенность, что легко устроил бы все свои дела, если бы мог подняться с постели.

Наступает июнь. Шеридану становится все хуже, и вновь ему грозят расправой судебные приставы. Помощник шерифа собирается арестовать его прямо в постели и доставить, завернутого в одеяла, в долговую тюрьму — только благодаря вмешательству доктора Бейна, старого друга Шеридана, эту возмутительную акцию удается предотвратить. Бейн предупреждает судебного пристава, что больной не перенесет дороги, и тогда он возбудит против пристава судебное дело о преднамеренном убийстве. Тем не менее помощник шерифа продолжает распорядиться в доме Шеридана. В конце концов газета «Морнинг пост» выступает со статьей в защиту Шеридана, написанной старым его противником: «Я за жизнь и помощь, против Вестминстерского аббатства и похорон». Этот призыв находит широкий отклик, и весь высший свет толпой устремляется на Сэвил-роу. Но подлинными друзьями Шеридана по-прежнему остаются в момент последнего кризиса Питер Мур и Сэмюэл Роджерс.

К середине июня состояние здоровья Шеридана становится угрожающим. Еще через неделю больной начинает бредить. Он почти не может есть. Лицо его конвульсивно дергается. Однако к концу месяца Шеридан опять приходит в сознание. Он посылает за сыном, беседует с женой. В один прекрасный день ему наносит визит леди Бессборо. Сидеть ей приходится на сундуке, в котором драматург хранит свои сочинения. Шеридан спрашивает, как, по ее мнению, он выглядит. Она отвечает, что глаза его блестят по-прежнему. Тогда он пугает ее, говоря, что они уже устремлены в вечность. Он берет ее руку, крепко стискивает ее в своих ладонях и говорит, что этим рукопожатием он подает ей тайный знак: теперь она может быть уверена в том, что, если это возможно, он придет к ней после смерти. Леди Бессборо испуганно лепечет, что он преследовал ее всю свою жизнь, а теперь хочет продолжать преследование и за гробом; зачем ему это? «Затем,— отвечает Шеридан,— что я хочу заставить вас помнить обо мне». Он продолжает запугивать свою гостью, пока она не уходит, объятая ужасом. Незадолго до смерти он просит передать ей, «что его глаза останутся такими же блестящими, когда будут смотреть в крышку гроба».

В четверг, 4 июля, Шеридану подкладывают под спину подушки, чтобы он смог полулежа протиснуться с женой. Их оставляют одних; выходит она от него с искаженным страданием лицом. На следующий день является епископ Лондонский, чтобы прочесть над умирающим

молитву. Каким-то светским дамам епископ говорит, будто Шеридан горячо молился вместе с ним, но лорду Холланду и Роджерсу он признается, что Шеридан был слишком слаб, чтобы молиться. Ночью больной спит спокойно и назавтра, в субботу, даже находит в себе силы коротко побеседовать с друзьями. Миссис Шеридан снова садится у его изголовья и разговаривает с ним. Расстаются они около полуночи.

В воскресенье Питер Мур дежурит на Сэвил-роу. Около одиннадцати часов, когда в церквах отзвонили колокола и последние звуки благовеста таяли в воздухе, он направляется по Сент-Джеймстрит к клубам Уайта и Брукса, чтобы сообщить их членам печальную новость: Шеридан умирает. «Прощайте», — шепчет больной, погружаясь в предсмертное забытие. В полдень, с боем часов на башне Сент-Джорджа, Шеридан засыпает вечным сном.

Похороны назначают на субботу. Погребение, как известно заранее, должно совершиться в Вестминстерском аббатстве. Близкие Шеридана надеются, что, согласно воле покойного, его положат среди государственных деятелей, бок о бок с Фоксом. По какой-то неизвестной причине сделать это не разрешают. Возможно, вмешались вигские лидеры, вознамерившиеся помешать «профанации». Принимается решение, что прах Шеридана будет покоиться рядом с могилой Гаррика, напротив памятника его старому другу и сотоварищу доктору Голдсмицу.

Церемония похорон обставляется с неслыханной пышностью. «Отдалившимся» друзьям покойного рассылают специальные приглашения, в которых миссис Шеридан просит их прийти. Гроб Шеридана несут герцог Бедфордский, Лодердейл, Малгрейв, лорд Холланд, лорд Спенсер. За гробом идут граф Тэнет, граф Бессборо, епископ Лондонский. Далее следуют Кэннинг, Сидмут, Ярмут, придворный — представитель принца, знатные друзья усопшего: Эрскин и Лайндоч, Бувери и Эгилл. Уэллесли и герцог Веллингтонский пишут вдове теплые, сочувственные письма, выражая ей свое участие и соболезнование. Подлинные же друзья Шеридана — Питер Мур, доктор Бейн и Сэмюэл Роджерс — скромно идут поодаль в конце похоронной процессии.

От дома Питера Мура, где гроб ставят на катафалк, траурный кортеж под июльским ливнем направляется сквозь толпы плачущих лондонцев к Вестминстерскому аббатству. Как только процессия достигает «Уголка поэтов»¹, гроб опускают в могилу. Погребальную

¹ Та часть Вестминстерского аббатства, где похоронены многие выдающиеся поэты и писатели Англии.

службу совершает помощник настоятеля, чей голос так слаб, что его едва слышно.

Рядом с могилой — большая мраморная плита, дар Питера Мура. На ней выбита надпись:

«Ричард Бринсли Шеридан
Родился в 1751 году
Умер 7 июля 1816 года
В память об умершем от преданного
друга
Питера Мура».

Поэты прославляют блистательного гения, моралисты печалются по поводу его прегрешений, аристократы спешат разделить с ним политические лавры. «Закатилось последнее светило... Ушел последний из гигантов... Угас могучий ум...».

ГЛАВА 19
ЗАНАВЕС
(ЭПИЛОГ)

Лорд Байрон — Томасу Муру¹,
1 июня 1818 года.
Венеция, Канале Гранде,
палаццо Мочениго.

«Мне не известна ни одна биография, которая могла бы послужить хорошим образцом для жизнеописания Шеридана, кроме биографии Севиджа. Помните, однако, о том, что жизнеописание такого человека, как Шеридан, можно сделать куда более занимательным, чем если бы он был Уилберфорсом — притом ни капельки не обижая живых и не оскорбляя памяти умерших. Виги обращались с ним из рук вон плохо, однако он так никогда и не порвал с ними, а подобные «недотепы» не удостоиваются ни похвалы, ни сострадания. Теперь о кредиторах; не забывайте, что у Шеридана не было за душой ни шиллинга и что он, человек громадных способностей и сильных страстей, выдвинулся в первые ряды общества и поднялся на вершину успеха без какой бы то ни было поддержки со стороны. Разве платил свои долги тот же Фокс? И разве это Шеридан принимал пожертвования, собранные по подписке? Неужели пьянство герцога Норфолкского более извинительно, чем пьянство Шеридана? Неужели любовные похождения Шеридана более одиозны, чем похождения

¹ В 1825 году Томас Мур опубликовал свое двухтомное «Жизнеописание Ричарда Бринсли Шеридана».

всех его современников? Справедливо ли это: чернить его память, а их — почтительно оберегать? Не идите на поводу у шумной молвы, но сопоставьте его как человека, верного своим принципам, с Фоксом, опустившимся до участия в коалиции, и Берком, променявшим независимость на пенсию; с богачами, которые могли позволить себе роскошь иметь свои личные взгляды и не имели ни на грош таланта; сравнение окажется в его пользу: он побивал их по всем статьям. Без средств, без связей, без положения (поначалу оно, возможно, было фальшивым, и впоследствии это бесило его и доводило до отчаяния) он побивал их всех, побивал во всем, за что бы ни брался. Но увы, увы, несчастные человеческие слабости!

Доброй ночи — вернее, доброго утра. Уже четыре часа; занимается заря, разгоняя ночные тени над Большим каналом и Риальто. Пора спать — не ложился всю ночь; впрочем, как говаривает Джордж Филлот, «жить так жить, черт поberi!».

Всегда Ваш,
Б.».

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Томас Шеридан, актер. Отец Ричарда Шеридана. Портрет работы Джона Льюиса

«Шеридан был исполнен честолюбивых замыслов. Себя он считал человеком, как нельзя лучше подготовленным для того, чтобы упорядочить царящий хаос и превратить театр из балагана в академию... Ораторское искусство, утверждал он, способно исправить любое зло на земле».



Фрэнсис Чемберлен, мать Ричарда Шеридана

«Темноволосая и черноокая юная леди двадцати одного года от роду... уже прославившая себя как писательница».



Эни Элизабет Хьюм Крофард, сестра
Ричарда Шеридана

Мать позволяла ей «читать только такие
произведения, которые совершенно без-
упречно нравственно».



Бат. Отель Льва, торговый зал и аббатство

«Люди едут в Бат лечиться от подагры, от ипохондрии, от всевозможных действительных или воображаемых болезней или же... чтобы не отстать от моды».



Бит. «На водах»

Пат — это поистине жемчужина среди курортов, рай земной для впечатлительных и восторженных барышень... Молодые люди приезжают сюда, чтобы пройти курс науки оболыщения.



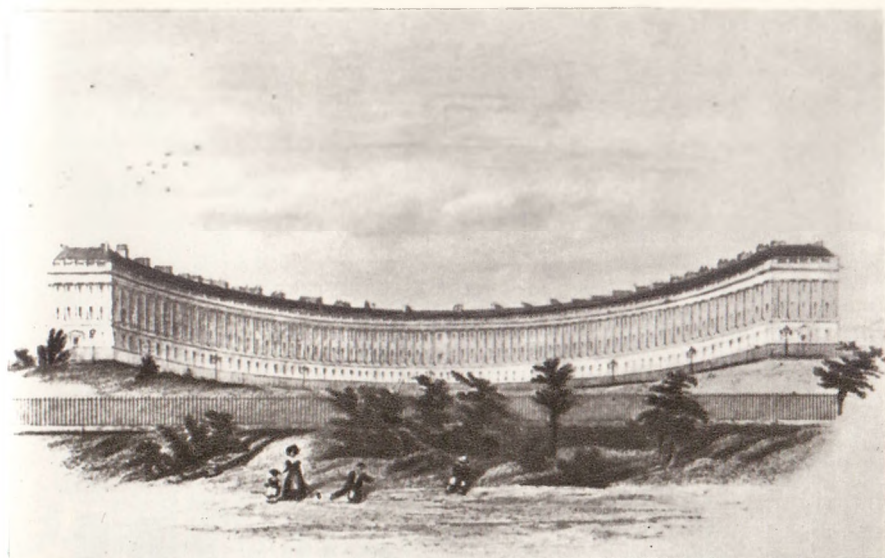
Бат. Дом собраний

«Бат — это одновременно и миниатюрное отражение Лондона и репетиция его светской жизни».



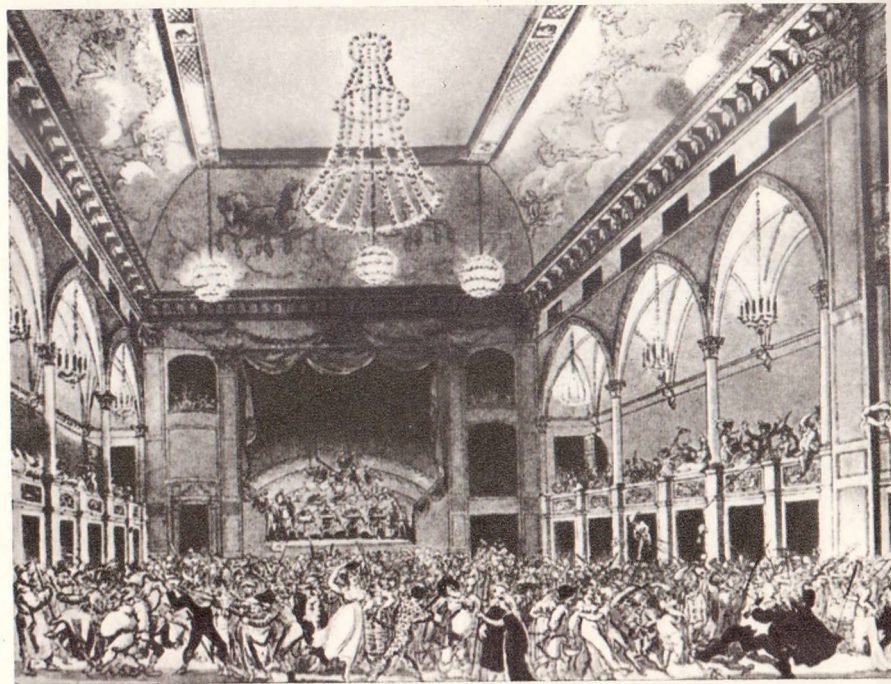
Ват. Королевский полумесяц

«Все персонажи его пьес несут на себе
печать Бата... На оживленных улицах...
будущие действующие лица комедий
Шеридана встречаются... на каждом ша-
гу».



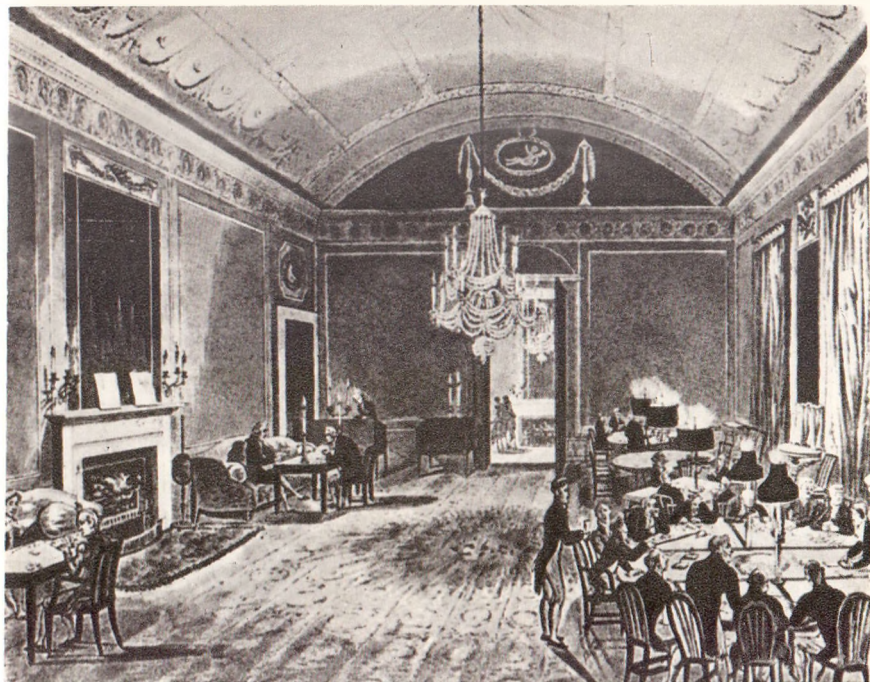
Раут в Пантеоне

«Когда горел театр Пантеон и Шеридан выразил тревогу, какой-то благожелательный ирландец решил, что Шеридан боится, как бы не уцелел этот конкурирующий с Друри-Лейном театр».



Большой зал в Бруксе

«Партийные страсти вигов разгорались в клубе Брукса... Лидеры вигов днём и ночью совещались... Шеридан, ставший к этому времени надёжной опорой своей партии, доводил себя этими ночными бдениями до полного изнеможения».



Элизабет Энн Линли в образе святой Цецилии. Портрет работы Рейнолдса

«Художник Джошуа Рейнолдс, которого никак нельзя было упрекнуть в излишней восторженности, запечатлел на своих полотнах глубокое восхищение ею... он дважды изобразил ее в образе святой Цецилии, он избрал ее в качестве модели для фигуры милосердия, украсившей окно Нового колледжа в Оксфорде, и для фигуры богоматери в своей картине «Рождение Христа».



Элизабет Энн Линли. Портрет работы
Гейнсборо

«Она шла тернистым путем, но ни капельки грязи не пристало к ней». «Гейнсборо... разве мог бы он, поклонник красоты и музыки, не плениться ими? Он пишет Линли-отца, Тома и Сама, портреты Элизабет... Он дважды лепит из глины головку Элизабет, раскрашивая затем ее красками».



Элизабет Энн Линли с братом Томом

«Все члены семейства Линли отмечены печатью необычайной привлекательности... Как певица мисс Линли достигает зенита своей славы... Моцарт, познакомившись с Томом во Флоренции, предсказал, что он станет великим музыкантом».



Миссис Шеридан и миссис Тикелл

«Две сестры, Элизабет Шеридан и Мэри Тикелл, особенно дружны и образуют вокруг себя кружок для избранных».



Капитан Мэтьюз. Портрет работы Гейнсборо

«Мэтьюз — известный сердцеед; в длинном списке его побед фигурируют дамы всякого сословия и звания, начиная от герцогини... он клянется отправить Шеридана на тот свет».



Шеридан. Портрет работы Рейнолдса

«...Самой природой предназначен для роли благородного странствующего рыцаря».

«Весь Бат взбудоражен, охвачен волнением... Кто же все-таки Шеридан — спаситель мисс Линли или низкий совратитель?»



Миссис Кру

«...Пишет стихи и дневники... Покоряет она и сердце Шеридана, которое на годы подпадает под власть ее чар».



Томас Кинг

«...Был слишком добродушен, чтобы преуспеть в должности режиссера».



Эстер Джейн Огл, вторая жена Шеридана

«Ей нравилось сознавать, что она пленяет прославленных людей».



Ричард Шеридан. Портрет работы Рей-нолдса

«Его речи создали ему славу, в лучах которой он купается... Поэты и поэтессы слагают гимны в его честь... Он стал национальной достопримечательностью... В начале 1775 года Шеридан был неизвестным начинающим литератором, а к концу этого же года стал крупнейшим драматургом своего времени».



Миссис Эбингтон

Актриса — «сварливейшая среди сварли-
вых».



Афиша первой постановки пьесы «Школа злословия». Театр Друри-Лейн, Лондон

NEVER PERFORMED.

At the Theatre Royal in Drury Lane,

This present THURSDAY, the 8th of May, 1777.

Will be presented a NEW COMEDY call'd THE

School for Scandal.

The PRINCIPAL CHARACTERS by

Mr. KING,

Mr. YATES,

Mr. DODD,

Mr. PALMER,

Mr. PARSONS,

Mr. BADDELEY, Mr. AICKIN,

Mr. PACKER, Mr. FARREN,

Mr. LAMASH, Mr. GAUDRY,

Mr. R. PALMER, Mr. NORRIS, Mr. CHAPLIN,

And Mr. SMITH.

Miss POPE,

Miss P. HOPKINS,

Miss SHERRY,

And Mrs. ABINGTON.

The Prologue to be spoken by Mr. KING.

And the Epilogue by Mrs. ABINGTON.

With NEW SCENES and DRESSES.

To which will be added

The MAYOR of GARRATT.

Major Sturgeon by Mr. BANNISTER,

Sir Jacob Jollup by Mr. WALDRON,

Mr. Bruin by Mr. WRIGHT,

Lint by Mr. WRIGHTEN. Heelp by Mr. BRANSBY,

Jerry Sneak by Mr. BAKER,

Mrs. Bruin by Miss PLATT,

Mrs. Sneak (first time) by Mrs. DAVIES,

The Doors will be opened at Half after Five, to begin exactly at Half after
[Six o'clock.

«Упала ваша ширма!» Сцена из спектакля «Школа злословия», театр Друри-Лейн

«Журналист... проходивший около девяти часов мимо театра, услышал у себя над головой чудовищный грохот и в панике бросился бежать, думая, что рушатся стены. Наутро он узнал, что упали не стены театра — упала ширма в четвертом действии, вызвав громоздкий смех и бурю аплодисментов».



Друри-Лейн в огне

«Шеридан с полнейшим самообладанием наблюдал, как пламя уничтожает его театр... Создаются проекты здания театра, безопасного в пожарном отношении...».



ПАРОДИЙНЫЕ КАРИКАТУРЫ

Шеридан и герцог Норфолк — «столпы конституции»

Принц-регент, миссис Фицджерберт и Шеридан

Принц «не знал, ни стыда, ни совести... С большой тактичностью скрывала миссис Фицджерберт от посторонних недостатки принца».



За игорным столом

«Шеридан распродает свои книги.. Из его дома выносят мебель... Шеридана препровождают в долговую тюрьму за неуплату долга...».

Поражение Шеридана

«В «правительстве всех талантов» для Шеридана не находится места». Из речи Шеридана в парламенте: «Политику восстановления справедливости... следовало бы начать с удовлетворения хижины, а не особняка, окруженного парком».



«Соперники». Сэр Люпиус О'Триггер — Л. Головкин. Люси — З. Александрова. Драматический театр Флота, Таллин, 1946.

«Дуэнья». Дон Фернандо — П. Зиньковский, дон Херонимо — Н. Сидоркин, донья Луиса — И. Прейс. Драматический театр имени К. С. Станиславского, Москва, 1943



**«Дуэнья». Дон Фернандо — А. Нирванов,
Исаак Мендоса — А. Смирнин. Театр
драмы имени А. С. Грибоедова, Тбилиси,
1952**



«Поездка в Скарборо». Сцена из спектакля. Театр комедии, Ленинград, 1952

«Поездка в Скарборо». Беринтия — Т. Чокой, Аманда — Е. Сергеева. Театр комедии, Ленинград, 1952



«Школа злословия». Леди Тизл — О. Андровская, сэр Питер Тизл — М. Яншин.
МХАТ имени А. М. Горького, 1940



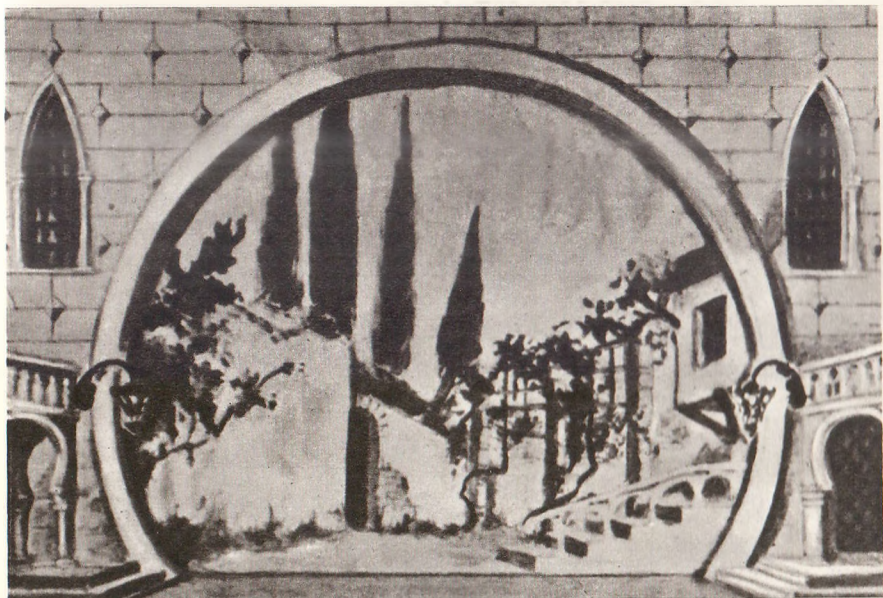
«Школа злословия». Сцена из спектакля. МХАТ имени А. М. Горького, 1954

«Школа злословия». Леди Свируал — О. Лейскалн, сэр Бенджамен Бэббайт — К. Себрис, миссис Кэндэр — А. Клинт. Театр драмы имени А. Упита, Рига, 1946



**«Дуэнья». Декорации к постановке
Театра драмы имени А. С. Грибоедова.
Тбилиси, 1952**

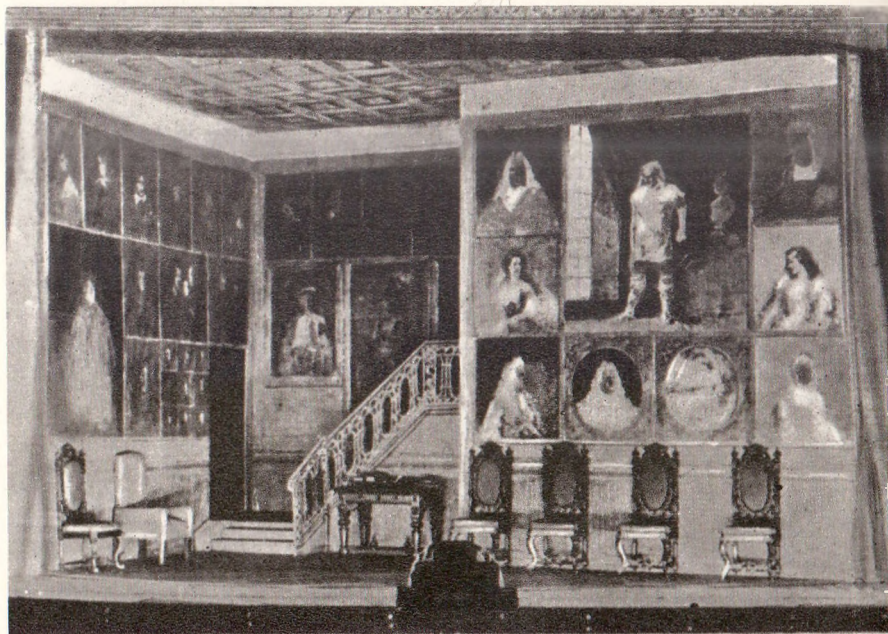
**«Песни, вкрапленные Шериданом в
ткань этой пьесы, были не чем иным,
как его собственными лирическими сти-
хотворениями, проникнутыми романти-
чной его любви».**



«Школа злословия». Декорации к постановке в Малом театре, 1902

«Школа злословия»? Полно! Неужели
Без школы мы злословить не умели?
Какие тут уроки могут быть?
Еще бы нас учили есть и пить!»

«...Злословие, клевета и интриги — это одна из специализированных функций класса бездельников...».



ФРОНТИСПИС — РИЧАРД ШЕРИДАН. ПОРТРЕТ РАБОТЫ ДЖОНА ХОШНЕРА

О Г Л А В Л Е Н И Е

КНИГА ПЕРВАЯ. ЭПОХА	4
КНИГА ВТОРАЯ. ШЕРИДАН-ДРАМАТУРГ	31
Глава 1. Портретная галерея	31
Глава 2. Детство	42
Глава 3. Школа злословия	46
Глава 4. Сильвио и Лаура	57
Действие первое. Побег	60
Глава 5. Действие второе. Дуэли	65
Глава 6. Действие третье. Размолвка	77
Глава 7. Действие четвертое. Женидьба	80
Глава 8. Питомцы Аполлона	84
Глава 9. Джорджиана	90
Глава 10. «Соперники»	96
Глава 11. Дэвид Гаррик покидает сцену	103
Глава 12. Гидры	107
Глава 13. Избрание в парламент	116
КНИГА ТРЕТЬЯ. ПОЛИТИКА	119
Глава 1. Литературные портреты: виги и торы	119
Глава 2. Флоризель и коалиция	135
Глава 3. Лиса, лев и осел	148
Глава 4. Карьера оратора	157
Глава 5. Гостеприимные пристанища	162
Глава 6. Дорогостоящий каприз Флоризеля: возлюбленная из Ричмонд-хилла	174
Глава 7. Я обвиняю	180
Глава 8. Суд	188
Глава 9. Умопомешательство короля	196
Глава 10. Разброд в стане вигов	205
Глава 11. Трагедии	210
Глава 12. Гекка	216
Глава 13. Друри-Лейн	225
Глава 14. Кориолан и архиепископ Кентербе- рийский	242
Глава 15. Сценки из жизни	247
Глава 16. Правительство всех талантов	260
Глава 17. Происки регентства	273
Глава 18. Сцена последняя	283
Глава 19. Занавес (Эпилог)	292

Шервин Оскар

Ш 49 Шеридан. М., «Искусство», 1978.

293 с.; 16 л. ил., портр. (Жизнь в искусстве).

Книга известного американского писателя Оскара Шервина посвящена жизни и творчеству Ричарда Шеридана. Произведения английского драматурга хорошо известны советскому читателю, его пьесы неоднократно издавались и ставились на сцене многих театров страны. Таковы: «Школа злословия», «Дуэнья» («День чудесных обманов»), «Поездка в Скарборо» и др. Книга представляет интерес для самых широких кругов читателей.

Ш 80105-002
025(01)-78 227-77

8И(Англ)

Оскар Шервин

ШЕРИДАН

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ»

Редактор Н. Р. Войткевич

Художественный редактор Л. И. Орлова

**Художники серии М. А. Аникст
и С. М. Бархин**

**Технические редакторы Н. И. Новожилова
и Е. Н. Сапожникова**

**Корректоры И. Н. Белозерцева
и Н. Г. Шаханова**

Сдано в набор 8/IV 1977 г. Подписано к печати 5/X 1977 г. Формат бумаги 60×84¹/₁₆. Бумага типографская № 1 и тифдручная. Усл. печ. л. 19,181. Уч.-изд. л. 20,466. Изд. № 12022. Тираж 50 000 экз. Заказ 1418. Цена 1 р. 80 к. Издательство «Искусство». 103009 Москва, Собиновский пер., 3. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28. Иллюстрации отпечатаны в Ордена Трудового Красного Знамени Московской типографии № 2 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли

